

ИГОРЬ

БУНИЧ

Д'Артаньян
ИЗ НКВД



СОВ. СЕКРЕТНО

ИГОРЬ
БУНИЧ

Д'АРТАНЬЯН

ИЗ
НОВЫХ

ОБЛИК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
1996

ББК 84.Р1

Б91

И.Л.Бунич.

Б91 Д'Артаньян из НКВД:— СПб. «ОБЛИК»,
1996.— 514 с.

ISBN 5-85976-018-3

Однажды товарища Сталина попросили указать, как освещать те или иные события. Вождь подумал и сказал: «Пишите правду. Но не всю правду. Это и есть социалистический реализм».

Новая книга Игоря Бунича, написана со слов ветерана ЧК, ГПУ, НКВД и КГБ — Василия Лукича, который и есть главный герой всех повествований. Сам герой считает, что книга «...является триумфом возрождающегося соцреализма. Там одна правда, хотя и слегка приукрашенная. Если бы я всю правду рассказал,— замечает Василий Лукич,— то никто бы и не поверил».

Книга написана в характерном для автора «Золота партии» и «Беспредела» лихом стиле и содержит массу актуальной для сегодняшнего читателя информации.

Набор: Н.Донская.

Корректурa: О.Иешина

Оригинал-макет: Г.Мачинцев.

© НПП «Облик». 1996.

Перепечатка, копирование и размножение любым другим способом как отдельных глав настоящего издания, так и всего издания, возможны только с разрешения НПП «Облик».

ПРЕДИСЛОВИЕ

Прежде чем предложить вниманию читателей воспоминания отставного полковника госбезопасности Василия Лукича Н***, мы считаем необходимым сделать несколько предварительных пояснений.

Первое и самое главное заключается в том, что никаких воспоминаний Василий Лукич никогда не писал, если не считать так и не увидевшей свет книги «С партией в сердце», которую политотдел Лубянки пытался выпустить под его фамилией, обещая повысить пенсию. Но даже и эту книгу цензура не пропустила.

Василий Лукич и не мог ничего написать, поскольку в недрах его ведомства лежит подписанное им обязательство никогда и ни при каких обстоятельствах не писать воспоминаний. Вот почему все, содержащееся в настоящей книге, представляет собой обработку устных рассказов ветерана, записанных мною, Игорем Буничем, несущим всю ответственность за их содержание и правдивость.

Поэтому в книге нигде не упоминается фамилия Василия Лукича, а звучит только имя, которое является подлинным.

У неискушенного читателя могут возникнуть сомнения по поводу достоверности некоторых рассказов Василия Лукича, а кое-что, возможно, вызовет и резкое неприятие. Например, я так и не понял до конца утверждения ветерана о том, что Ленин является «вечно живым», и принял эту формулировку как аксиому.

Но, тем не менее, я хочу предостеречь читателей: не торопитесь с критикой!

В рассказах Василия Лукича достоверности не меньше, а пожалуй, даже больше, чем у любого другого чекиста, ударившегося в воспоминания.

Достаточно обозреть их мемуары, опубликованные за последние 70 лет, чтобы в этом убедиться. Полистайте хотя бы последние из вышедших книг, написанные генералами Судоплатовым, Калугиным и Бобковым, чтобы в этом удостовериться.

Чего, например, стоит описанный Калугиным ядовитый зонтик, специально созданный для ликвидации диссидентов, особенно, если учесть, что никакого зонтика не было. Чего стоят тонны добытых службой Калугина секретных и совсекретных американских документов, вербовка разных там Эймсов и Липок, если в результате этой титанической деятельности рассыпались не Соединенные Штаты, а Советский Союз. Возникает ли сомнение в достоверности воспоминаний? Боюсь, что да.

Чего стоят утверждения генерала Бобкова, что он, придя в органы в 1946 году, «не застал того периода, когда тысячи людей подвергались незаконным арестам, а лучших представителей интеллигенции гноили в тюрьмах и лагерях».

Достоверно ли это? Кто же тогда были те сотни тысяч живых реабилитированных через десять лет Хрущевым политзаключенных?

В отличие от них Василий Лукич застал все периоды, все знал и не врет, как Судоплатов, что, служа в центральном аппарате МГБ, понятия не имел ни о «Ленинградском деле», ни о «Деле врачей». Так что еще вопрос, кто из них более правдив — все вышперечисленные или Василий Лукич?

Возможно, Василия Лукича можно упрекнуть лишь в том, что какую-то часть правды он еще утаивает. Утаивает сейчас — расскажет в будущем, ибо правду не утаить.

Начиная с 1917 года и по сей день власть отгорожена от страны непроницаемой стеной секретности. В архивы как никого не пускали, так никого и не пускают, и постепенно эти архивы потихоньку уничтожают.

До сих пор вместо ясных и четких ответов на ключевые вопросы нашей истории предлагаются либо домыслы, либо мифы, грубо сработанные в ЦК ВКПб и КПСС.

— Кто привел к власти большевиков и почему?

— Какова судьба царской семьи?

— Что случилось с Лениным в январе 1924 года?

— По чьему приказу был убит Киров?

— Как произошла катастрофа 22 июня 1941 года?

— Что произошло с самим Сталиным в феврале 1953 года?

— Что случилось с Лаврентием Берия год спустя?

— Сколько среди двух миллионов уничтоженных СМЕРШем «шпионов» было невинных жертв?

— Кто взорвал линкор «Новороссийск»?

— Кто издал за рубежом Солженицына и наводнил его книгами СССР?

— Кто спровоцировал резню в Вильнюсе? В Сумгаите? В Баку? В Тбилиси?

— Кто организовывал каналы утечки партийных денег за рубеж?

— Кто инициировал и развязал чеченскую войну?

— Кто финансирует «экономные» предвыборные кампании нынешних зюгановых?

Это всего лишь несколько из сотен тысяч вопросов, большинство из которых уже десятки лет тонут в водоворотах взаимоисключающих версий. А ответов нет как нет!

Несколько поколений историков продолжают строить свои гипотезы на вековой

предпосылке «А зачем козе баян?». Именно поэтому неизбежно должен был появиться Василий Лукич, который своими бесхитростными, простыми рассказами попытался ликвидировать — в меру своего понимания событий — несколько белых пятен в нашей, извращенной тремя поколениями коммунистических писунов, истории.

Судьба была благосклонна к Василию Лукичу. Придя в ВЧК еще при «железном» Феликсе Дзержинском, он прослужил в кадрах госбезопасности до 1955 года. Успел закончить высшую школу МГБ — «академию», как он ее называет, и защитить диссертацию. После «ухода» из органов, числится в «резерве».

Василий Лукич использовался хрущевскими, брежневскими, андроповскими и горбачевскими органами для выполнения так называемых «деликатных» операций и для параллельных расследований, хотя в 1964 году окончательно ушел в отставку, перейдя на преподавательскую работу в МГУ.

Последний документированный факт привлечения Василия Лукича в КГБ «для консультаций» датируется июлем 1991 года. В настоящее время живет в Москве, охотно принимает бывших сослуживцев и сегодняшних сотрудников нынешних органов.

Мы публикуем только часть его рассказов. Их гораздо больше, чем удалось поместить в небольшую по объему книгу.

Чрезвычайно трудно было разговаривать Василия Лукича, труднее — заставить прочесть рассказанное, и уж совсем невероятным казалось издать эту книгу, не рискуя быть обвиненными в клевете. Но нам удалось прорваться через все препоны.

Главное — услышать рассказы Василия Лукича, а верить им или нет — дело вкуса. Все зависит от взглядов и степени собственной информированности.

Василий Лукич с удовольствием готов принять участие в любой плодотворной дискуссии относительно правдивости его искренних воспоминаний.

ЗОНА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Мы идем, переступая через строительный мусор, среди обветшалых построек старинного монастыря. Основан он был чуть ли не в шестнадцатом веке. Позднее здесь была, наверное, самая мрачная в России монастырская тюрьма. После семнадцатого года крепкие стены и изолированное положение монастыря привлекли внимание НКВД. Сейчас вспомнили, что это исторический памятник Древней Руси — хороший источник получения валюты.

— Где-то было опубликовано, — говорю я, — что во время войны здесь был какой-то центр СМЕРШа и что-то вроде школы диверсантов.

— Это во время войны, — соглашается Василий Лукич (так зовут моего спутника). — СМЕРШ приехал сюда в сорок втором году, а объект ликвидировали вскоре после начала войны.

— Что значит ликвидировали? — интересуюсь я. — Эвакуировали куда-нибудь?

Василий Лукич немного помолчал.

— Темная история, — тяжело вздыхает он. — Точнее я вам ничего доложить не могу. Но встречаться с людьми, с которыми я служил на объекте, мне больше не приводилось. Как-то наткнулся на одну учетную карточку. Товарищ один у нас хозяйством ведал: пищевое, вещевое довольствие,

ну и прочее. Так в карточке отметка: погиб при выполнении боевого задания в октябре сорок первого года. Формулировка, вы сами понимаете. У нас под такую в пятьдесят третьем полугодии управления перестреляли.

— А как же вы? — не слишком тактично спрашиваю я.

— Повезло,— говорит Василий Лукич,— в сороковом на учебу откомандировали, а там война. Я почти всю войну на оккупированной территории работал. Ранен был, на Большую землю меня самолетом эвакуировали. Год в госпитале валялся. Забыли, в общем, обо мне, слава Богу.

— Так вы говорите, что в сорок первом здесь всех перестреляли. А Его? — я смотрю на Василия Лукича с явным выражением недоверия.

— Его? — переспрашивает Василий Лукич.— Если всех, то и его, конечно. А что вас удивляет? Кому он был нужен, если еще был жив. Хотя в сороковом вполне еще был живой и здоровый. Ему как раз всего семьдесят стукнуло. Я его лично поздравлял.— Видя выражение моего лица, он смеется.— Не верите? Ну, как хотите. Идемте дальше. Вот видите тот корпус? У нас он назывался «спецблок-2». Это официально. А между собой называли его «Кремль». Решеток не было. Армированное стекло. Они тут шикарно жили. Довольствие им было на четыре рубля в день. Унитаз в каждой камере. В баню по одному водили, У Александры Федоровны даже пианино стояло...

— У Александры Федоровны? — тупо переспрашиваю я.

— Ну да,— продолжает Василий Лукич,— у Александры Федоровны — жены последнего царя Николая. Она, правда, в тридцать первом году уже померла. Тех, кто умирал, мы тут неподалеку и закапывали.

— А царь здесь тоже сидел? — я с ухмылкой гляжу в серые глаза старого чекиста.

— Нет, царя не было. Врать не буду,— отвечает Василий Лукич,— царя, вроде, действительно шлепнули в Екатеринбурге. Хотя Александра Федоровна ему все время письма писала и мне передавала.

— Они что, имели право на переписку? — удивляюсь я.

— Нет, конечно,— Василий Лукич смотрит на меня, как на идиота,— но им этого не объявляли. Все письма в особом пакете пересылались на имя наркома раз в квартал.

— А он писал письма?

— Мало,— сказал Василий Лукич, как бы что-то припоминая.— Два или три письма написал за все время. Но он на особом у нас режиме сидел. Ему много бумаги не полагалось. Читать — пожалуйста, писать — нет. И так много написал в своей жизни. Все его книги у него в камере стояли: и первое, и второе издание.

— А когда его к вам доставили? — я решил выяснить все до конца.

— Доставили? — Василий Лукич на мгновение задумался.— Сейчас скажу. Значит так, я сам прибыл на объект в декабре двадцать четвертого. пятнадцатого декабря. А его, доставили, чтобы не соврать, в марте двадцать пятого. Точно. На

следующий день после женского дня, девятого марта. Эх, память еще ничего, работает!

— А где ж его с января двадцать четвертого держали? — недоумеваю я, стараясь вывести Василия Лукича на чистую воду.

— Даже дольше, — соглашается Василий Лукич. — Взяли его еще в мае двадцать третьего. Долго очень разные вопросы выясняли насчет заговора. Как же его...?

— Массонского? — подсказываю я.

— Нет, нет. Как-то иначе, — Василий Лукич морщит свой высокий лоб.

— Сионистского? — пытаюсь я помочь.

— Нет, — раздраженно отмахивается Василий Лукич. — Это сейчас напридумывали умники. Сейчас скажу. Что-то, связанное со всеобщей люмпенизацией человечества. Я, когда в академии учился, выяснил осторожно про этих самых люмпенов. Это вроде тунеядцев, которые много о себе полагают и ненавидят любого, кто хоть что-то производит. А где-то в середине двадцатых их стали выявлять, от пролетариев отколупливать и уничтожать. Тут, конечно, Сталина большая заслуга. Он первый понял, что здесь что-то не то. Что вождь мирового пролетариата оказался главарем международного заговора люмпенов. И пытался всю эту братию выявить и уничтожить. Другое дело, что у него ничего не вышло.

— Это вам все в академии разъяснили? — восхитился я.

— Да ну, какое там, — насупился Василий Лукич. — В академии разве такому учат? Это он сам мне все рассказывал.

— Сам?! — я в ужасе остановился.

Василий Лукич засмеялся.

— Я же был комендантом «Кремля». Единственный, кто имел право в любую камеру входить. Он мне много чего рассказывал.

— Это он, значит, так вам и рассказывал: я, мол, не вождь мирового пролетариата, а главарь международной банды люмпенов. И молодец Сталин, что меня разоблачил. Так что ли?

— Вы знаете,— вздохнул Василий Лукич,— вам все вынь и положь. Все гораздо сложнее. Они же к нам не в железных масках прибывали. Все как положено: с сопроводилками, с аттестатами, с выписками из дел, с индивидуальными инструкциями. Как вы думаете, где его взяли?

Я пожал плечами:

— Не знаю. Наверное, в Горках.

— В Горках! — Василий Лукич снисходительно похлопал меня по спине.— Не в Горках, дорогой товарищ, а в Претории. А сбежал он туда еще в двадцать первом после кронштадтского восстания, переведя на свой счет все достояние республики. Бывало,— продолжал Василий Лукич,— как зайдешь к нему в камеру, он голову вот так вскидывает от книги (обычно сам себя читал, что-то выписывал) и говорит: «Товарищ, вы член партии?» А у меня партстаж, сами понимаете, с семнадцати лет. «Тогда послушайте, товарищ,— говорит он,— как все-таки здорово написано». И читает: «Тысячи форм и способов практического учета и контроля за богатыми, жуликами и тунеядцами должны быть выработаны и испытаны на практике. В одном месте посадят

в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы. В другом — поставят их чистить сортиры. В третьем — снабдят их по отбытии карцера желтыми билетами, чтобы весь народ надзирал за ними, как за вредными людьми. В четвертом — расстреляют на месте одного из десяти, виновных в тунеядстве...» И смотрит на меня, прищурившись: мол, каково? Похваляю я или нет.

А я ему говорю обычно: «Вы бы, гражданин, чем нам эти избитые истины читать, которые и без вас нам на политзанятиях каждый день вдалбливают, лучше бы награбленное вернули народу. Может быть, вам бы и срок пересмотрели». Хотя никакого срока у него, конечно, не было. На деле было написано: «Хранить вечно». Это значит — без срока, пожизненно.

Тут он начинает бегать по камере, рукой жестикулирует. Потом остановится, большие пальцы — за жилетку, смотрит на меня снизу вверх и почти кричит: «Деньги, товарищ, народу не нужны. Деньги нужны мировой буржуазии, чтобы эксплуатировать народ. А народу нужна осознанная свобода. А потому ни копейки не отдам». И показывает мне дулю. Я ж его все успокоить пытался. «Не надо,— говорю,— так волноваться, гражданин. У вас же два инсульта уже было». Тут он вообще распаялся. «Клевета,— кричит,— злобная клевета, придуманная, чтобы меня в мавзолей упрятать!» Очень он мавзолея боялся... До того боялся, что я порой этим пользовался. «Не бузите, мол, гражданин, а то я вас в мавзолей отправлю». Пугал, как карцером, хотя в карцер

его сажать запрещалось инструкцией. Он аж вскидывался: «Мне,— говорит,— все товарищи из Политбюро торжественно обещали. Сам Феликс Эдмундович дал гарантию!» Ну, я подшучиваю: «Когда, мол, они вам такую гарантию давали?» А он: «Я вас уверяю, товарищ. Я за границей находился, когда они объявили, что у меня был инсульт. Я это документально подтвердил! А они в рамках партийной дисциплины собрали консилиум врачей, и те, представляете, объявляют: был инсульт, и все тут. А не отдашь денег — второй будет, и — в мавзолей. Куда деньги девал? Куда девал — на мировую революцию истратил, а не на ваш говняный НЭП, люмпены вонючие! Тут они стали что-то между собой шептаться, а Феликс Эдмундович потом и говорит: вам, мол, отдохнуть надо. Полежите немного в мавзолее, успокойтесь, а там и поговорим. Тут я не выдержал, дал им номер счета: задавитесь! Тогда дали гарантию и сюда привезли».

Помню в тридцать втором баню строили. Он все беспокоился, что строим. Не мавзолеей ли?

— А посещал кто-нибудь ваших питомцев? — спросил я.

— Посещали,— понизив голос, сообщил Василий Лукич.— Иосиф Виссарионович три раза приезжал. Но не к Нему.

— А к кому?

— Вам все так и расскажи.

— Значит,— не выдержал я,— когда было объявлено о Его первом инсульте, он уже сбежал за границу. Тогда кто же жил в Горках, кто появлялся на коминтерновских сходках и так далее?

— Наивное поколение,— хохочет Василий Лукич,— они верят во все, что им скажут. После 21-го года везде, где можно, совали Вольфа Гольштока. Был такой авантюрист. Он и по-русски толком говорить не умел.

— Вы меня совсем запутали,— признался я.— Но вам-то что не ясно в этой истории?

— Дело в том,— задумчиво произнес Василий Лукич,— что Вольфа Гольштока шлепнули в январе двадцать четвертого. Его брата Меира взяли в Претории в двадцать третьем и доставили к нам.

— Так,— согласился я.— А что же вам не ясно?

— А кто же лежит в мавзолее? — Василий Лукич крикнул и развел руками.

— Может быть, был третий брат? — предположил я.

— Я тоже так иногда думаю,— признался Василий Лукич.— Может быть, и был, но только его так и не поймали. Это я вам точно говорю.

— Потому в мавзолей и положили, что не могли поймать. В знак уважения,— догадался я.

— Тогда, как же он к нам попал?— не унимался Василий Лукич.— После мавзолея, что ли? Что-то у нас не клеится.

— Может быть, его после мавзолея к вам направили? — съехидничал я.

— Вам все шутки шутить,— обиделся Василий Лукич.— А я вам так скажу: он мне сам говорил, что когда умрет, хочет быть похороненным рядом с матерью на Волковом кладбище в Ленинграде. Но поскольку там уже похоронили Вольфа, то он как раз и боялся, что его засунут в мавзолей.

— Когда это он вам говорил? — плохо уже соображал я.

— Часто говорил. В тридцать восьмом говорил и позднее. Так уж важны даты?

— Но, Василий Лукич! — взмолился я.— Мавзолей существует с двадцать четвертого года!

— Можно подумать, что я этого не знаю! — огрызнулся чекист-ветеран.— Я поэтому и спрашиваю: КТО ТАМ ЛЕЖИТ?

— Ленин там лежит,— заорал я.— Ленин Владимир Ильич!

На лице Василия Лукича появилось выражение долготерпения учителя в беседе с придурком-школьником.

— Ну, как он мог туда попасть,— мягко спросил он,— если в сороковом году Ильич был еще жив, а тот, которого вы, видимо, имеете в виду, был убит при переходе границы в двадцать первом?

И тут я понял все.

— Вы говорите, что он сбежал и найти его не удалось? — спросил я, трепеща от открывшейся мне истины.

— Да, да,— подтвердил Василий Лукич.— Его не поймали, это я точно знаю.

— Так он сбежал к вам. Неужели трудно было догадаться? Это было единственное место, где у него были шансы не быть убитым и написать еще десять томов своих произведений, которые были изданы в прошлом году. Сопроводилровку ему написал Феликс, после чего его самого и ликвидировали. Конечно, его не могли найти.

— Да, видимо, так,— задумался Василий Лукич.— Выходит, у нас настоящего шлепнули. Я

так и подозревал, если говорить откровенно. Настоящую фамилию в таких формулярах не пишут.

— А что было написано у него в формуляре? — догадался я спросить.

— Как что? — даже остановился Василий Лукич.— Так и было написано: «Ленин (Ульянов) Владимир Ильич». Только никто не поверил — все знали, что Ленин лежит в мавзолее. Хитро, конечно, придумали. Ничего не скажешь! Но кого же они все-таки упрятали в мавзолей?

— А может, все было наоборот?

— Может, и было,— устало согласился Лукич.— Так засрали мозги всем, что ничего и не понять. Третьего брата не было. Их было двое всего. Никак не пойму, почему этих в мавзолей положили, а настоящего здесь хлопнули?

— Брось, Лукич! — не выдержал я.— Никого из них в мавзолей не клали. Кукла там лежит восковая. Сейчас это каждому школьнику известно.

— А ты знаешь,— после некоторого раздумья произнес Василий Лукич,— если ты не врешь, то все тогда становится на свои места. И главное, что прав я был — не было третьего брата!

— Был третий брат,— открыл я ему очередную тайну,— но он убился, упав с броневика.

— Ты все ерничаешь,— устало вздохнул Лукич,— а мы-то в него верили!

— Как же ты мог в него верить, если он у тебя сидел? — разозлился я.

— Я не в того верил, что у меня сидел,— прошептал Лукич.— Я верил в того, кто в мавзолее лежит. А ты говоришь: кукла!

БРАЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Однажды я задал Василию Лукичу вопрос, который давно вертелся у меня на языке, но поскольку он касался, так сказать, личной жизни ветерана, мне, казалось, неудобным его задавать.

Наконец, я решился.

— Василий Лукич,— спросил я,— а вы женаты были? Семья, дети у вас есть?

— Почему был? — несколько смущенно ответил Василий Лукич,— я вроде и сейчас женат.

Он покопался в ящике стола и извлек из него старое брачное свидетельство. Посмотрел в него, вздохнул и протянул мне.

Я взял свидетельство, раскрыл его и прочел, что отдел Записи гражданского состояния Краснопресненского района Москвы 18 августа 1930 года зарегистрировал брак Василия Лукича с гражданкой Браун Евой Францевной 1912 года рождения.

Поначалу у меня не возникло никаких ассоциаций.

Я только спросил:

— А она жива сейчас?

— Вроде жива,— пожал плечами Лукич,— только уехала куда-то за границу. Ей в 1948 году срок дали за двоемужество. Она второй раз умудрилась замуж выскочить, не разведясь со мной.

Я понял, что и в личной жизни старого чекиста не меньше тайн, чем в его служебной деятельности.

— А как вы с ней встретились? — спросил я, — она тоже в НКВД работала?

— Это еще во времена ОГПУ было, — покачал головой Лукич, — а встретились мы с ней...

Он замолчал, как-то странно улыбнулся, прокашлялся и произнес:

— Да и не встречались мы с ней вовсе.

— Как это не встречались? — не поверил я, — как же вы поженились?

— А поженились мы вот как, — продолжая улыбаться, ответил Василий Лукич. — Как-то в августе 1930-го года вызывает меня к себе лично Вячеслав Рудольфович...

— Кто это такой Вячеслав Рудольфович? — блеснул я своей серостью.

— Историк! — воскликнул Лукич, — книги пишет, а не знаешь кто такой Вячеслав Рудольфович! Вячеслав Рудольфович — это товарищ Менжинский.

— А-а, — протянул я, — значит тебя, Лукич, вызвал к себе лично Менжинский?

— Представляешь? — Лукич указал пальцем в потолок, — сам председатель ОГПУ! Я два часа сапоги надраивал, потом вхожу к нему не жив — не мертв.

А Вячеслав Рудольфович улыбается, за руку со мной поздоровался. «Садитесь, говорит, Василий Лукич. Как служба идет? Как ваши подопечные в зоне? Есть ли какие-нибудь проблемы?»

Я отвечаю, что все нормально, подопечные

сидят тихо, а проблемы, если и возникают, то мелкие. Решаем их сами. Начальство за зря не беспокоим.

Говорю я ему все это, а сам чувю, что не для того товарищ Менжинский меня вызвал, чтобы узнать, какие у меня проблемы в моей спецзоне с подопечными. Для чего-то другого я ему понадобился. Слушает меня Вячеслав Рудольфович как-то рассеянно.

— Знаю, что ты молодец, Василий Лукич,— говорит он,— службу нашу знаешь и понимаешь. Даже сам товарищ Ягода тобой не нахвалится. Один только у тебя недостаток есть, дорогой товарищ. Холостяк ты. А ведь парень хоть куда! Почему так случилось?

Никак я такого поворота в нашей беседе не ожидал, но отвечаю:

— Потому как дал обет, товарищ Менжинский, не обзаводиться семьей до окончательной победы труда над капиталом.

— Это хорошо,— соглашается товарищ Менжинский,— это наша общая цель, к которой нужно стремиться. Но на данном историческом этапе наша партия ставит перед страной и народом более конкретную задачу: построение социализма в отдельно взятой зоне, то есть, я хотел сказать, конечно, в отдельно взятой стране. Я оговорился, потому что, как ты хорошо понимаешь, Лукич, за образец будут приняты методы, которые ты вместе со своими товарищами разработал в экспериментальных зонах. Но для достижения нашей главной, а не промежуточной цели, тебе бы надо жениться, браток.

— Да никого у меня,— отвечаю,— даже на примете нет, Вячеслав Рудольфович. Была одна девка в деревне, да и та уже два года, как с голоду померла.

— Замечательно,— потирает радостно руки товарищ Менжинский,— это просто превосходно, что у тебя никого нет, Василий Лукич. Потому что партия подобрала тебе невесту, и лично я буду твоим свидетелем при заключении, так сказать, законного брака.

Тут уж я совсем оторопел.

— Невесту мне подобрали,— спрашиваю,— а зачем?

— Не задавай вопросов, Лукич,— строго отвечает товарищ Менжинский,— надо для пользы нашего дела.

— Так, а где она, невеста эта? — интересуюсь я, хотя понимаю, что спорить и возражать бесполезно.

— Сейчас покажу тебе ее,— говорит товарищ Менжинский и достает папку с надписью «Совершенно секретная информация особой важности». Открывает он эту папочку и вынимает из нее фотографию размером с почтовую открытку.

— Вот,— говорит,— полюбуйся. Это есть твоя невеста.

Беру я карточку, гляжу — на ней деваха лет восемнадцати. Копна светлых волос, улыбка во весь рот. Так ничего себе. Очень даже хорошенькая. Мне даже показалось, что я ее где-то в журнале видел среди наших героических летчиц.

— Не летчица она? — спрашиваю.

— К счастью, нет,— отвечает товарищ

Менжинский.— Я бы сказал, что скорее даже наоборот. Ну, понравилась она тебе, Лукич?

— Ничего,— говорю,— симпатичная.

— Жениться согласен? — спрашивает он.

— Ну, раз надо,— отвечаю я,— что же поделаешь. Согласен.

— Умница,— хвалит меня Вячеслав Рудольфович. Забирает у меня фотографию и кладет обратно в папку.

— Извини,— говорит,— не могу я тебе даже ее фото оставить, потому как все это дело абсолютно секретное. Руководство не хотело тебе даже фотографию эту показывать, но я настоял. Я люблю, чтобы все было по-человечески. Так ведь, Лукич?

— Так точно,— соглашаюсь я,— так когда я невесту-то свою увижу, Вячеслав Рудольфович?

— Экий ты, право! — удивляется товарищ Менжинский,— мне казалось, что ты меня понял. Никогда, Лукич, ты ее не увидишь. Потому как товарищ Ева, так зовут твою будущую жену, выполняет правительственное задание особой важности. Ты даже забудь, что фотографию ее видел. По большому счету тебе и видеть ее было не положено.

— Воля ваша,— говорю,— Вячеслав Рудольфович. Но никак не пойму для чего все это понадобилось.

Помолчав, товарищ Менжинский потер подбородок рукой и тихо так, почти шепотом, отвечает:

— Молодой ты еще, Лукич. Многих вопросов не понимаешь. Другому бы объяснять не стал, но

тебе объясню. Товарищ важное задание выполняет вдали от родины. Но товарищ этот — женщина, как ты мог убедиться. Комплексуется она, как и всякая женщина, что не замужем. Потому как в шлюхах ходить не хочет. И руководство решило ее желание удовлетворить, поскольку в ее положении любые неконтролируемые комплексы смертельно опасны как для нее самой, так и для нашего общего дела.

Выбрали мы тебя, Лукич, как наиболее доверенного и проверенного работника среди холостяков и послали ей твое фото. Ты товарищу Еве понравился, и она дала согласие сочетаться с тобой браком. Теперь ты дал согласие, и проблему можно считать решенной. Понял?

— Понял,— отвечаю,— только как мы с ней поженемся в таких условиях?

— Уж об этом-то мы позаботились,— улыбается товарищ Менжинский, открывает сейф, вынимает вот это самое брачное свидетельство и подает мне.

— Потом руку мне пожимает и говорит: — Поздравляю тебя, Василий Лукич, с законным браком. Мои мама и папа католиками были и уверяли, что браки заключаются на небесах. А мой кабинет ныне — это такие небеса, что выше и не придумаешь. Так что, Василий Лукич, как говорили в старину — «любовь да совет».

— Спасибо, Вячеслав Рудольфович,— отвечаю я и отдаю ему брачное свидетельство обратно.

— Что такое, Василий Лукич? — спрашивает меня Председатель и заглядывает в бумагу.

— Посмотрел я уже,— отвечаю,— все в порядке.

— Нет,— говорит товарищ Менжинский,— свидетельство можешь оставить себе. Храни на память.

— Разрешите вопрос,— говорю,— Вячеслав Рудольфович.

— Спрашивай,— улыбается Председатель.

— А разве оно не секретное? Если кто увидит?

— Секретное? — переспрашивает товарищ Менжинский.— Нет оно не секретное. Конечно, ты им особо не хвастайся и на стенку не вешай. А так — держи у себя. Мало ли возникнут какие вопросы с жилплощадью или еще с чем. Да и вообще по закону брачное свидетельство должно храниться в семье. Зачем же мы с тобой будем совзаконность нарушать?

Через неделю я, можно сказать, об этом случае уже почти и забыл. Жизнь идет дальше, но человек-то я живой. Присмотрел девушку, давай с ней шуры-муры всякие разводить. Переехала она ко мне. Любовь такая, что только голуби воркуют.

Тут меня вызывают в политотдел. «Что же вы,— говорят,— дорогой товарищ себе позволяете? Что же вы тут аморалку разводите? При живой жене сожительницу в доме поселили? Кто же вам позволил «Кодекс чекиста», составленный самим Феликсом Эдмундовичем, нарушать? Можно сказать даже — откровенно над ним глумиться?»

«Конечно,— думаю я,— Феликсу Эдмундовичу, который еще на царской каторге стал импотентом, легко было там всякие моральные кодексы

сочинять. А ежели ты здоровый мужик, то куда деваться?»

Так я думаю, но вслух-то мне сказать вроде и нечего.

— Виноват,— говорю,— исправлюсь.

— То-то,— отвечают,— на первый раз прощаем. Но чтобы и духу ее на твоей жилплощади не было!

Что же мне делать? Дай, думаю, жениться попробую. Товарища Менжинского давно на свете уже нету. А кто еще доказать может, женат я или нет?

В политотделе, правда, об этом знали, поскольку я в учетной карточке сам сдуру написал, что женат. Не дойдет, думаю, до политотдела!

Ан нет! Только мы подали в ЗАГС заявление, вызывает меня начальник и в ужасе орет: «Ты что, Василий, сдурел? Ты что же это такое вытворяешь? Ты срок хочешь получить за двоеженство? Если тебе уж так приспичило, я тебя комендантом в женскую зону пошлю. Развлекайся там сколько хочешь, если тебя лесбиянки не зарежут!»

Тут уж понял я, что некуда мне деваться. Все вокруг схвачено!

Смирился я со своей печальной судьбой. Случайные женщины, конечно, были, но чтобы с кем-то постоянно — Боже упаси. От стукачей из Политотдела укрыться было совершенно невозможно.

А тут и война началась.

Я во время войны в одном таком хитром месте находился, которое и немецким тылом назвать можно, а можно — и нашим. Другими словами, находился я в глубоком тылу обеих враждующих сторон. И, разумеется, на таком нелегальном положении, что и Штирлицу не снилось.

— Где же это такое место находилось, — прерываю я Лукича, — которое можно было считать глубоким тылом и наших, и немцев?

— Было такое, — смеется ветеран, — я тебе о нем как-нибудь потом расскажу. Сейчас не об этом речь.

Война уже кончается. Вдруг меня вызывают в Москву. Оттуда, я тебе скажу, добраться в Москву, как с Южного полюса. Я спрашиваю: «Что за срочность такая? Ставите все задания под угрозу срыва. И меня засвечиваете!»

«Преукратить разговоры, — Москва приказывает, — выполняйте!»

Выполняйте, так выполняйте. Прибыл я в Москву на американской летающей лодке «Каталина». Сели на пруду в Химках, на берегу меня машина ждет, и в родную контору на Лубянскую площадь отвезли.

Я иду прямо в приемную к товарищу Кабулову. В приемной человек двадцать сидит генералов, ждут. Но адъютант, как меня увидел, вскочил и кричит: «Ну, наконец-то! Проходите, Василий Лукич. Товарищи, извините. Важнейшее дело, контролируемое Ставкой Верховного главнокомандующего».

И таким тоном он это сказал, что все находящиеся в приемной встали, а меня пот прошиб:

«Что же это за дело такое,— думаю,— причем тут Ставка Верховного?»

Мы тогда совсем не на Ставку замыкались, а на отдел спецзон ГУЛАГа, который к Ставке никакого отношения не имел.

Вхожу я в кабинет к товарищу Кабулову. Он из-за стола выходит и тащит меня в боковую комнату, где, согласно их кавказских обычаев, сервирован стол с вином и фруктами. Не очень то я был любителем ихнего сухача с хурмой, но оказываемую мне честь оценил. Особенно со стороны товарища Кабулова. Он — человек восточный, хитрый.

Наливает он мне вина в бокал и говорит:

— Очень рад видеть тебя, Василий Лукич, живым и здоровым. Многие завистники твои говорили, что на своем новом поприще ты наверняка шею себе свернешь. Но ты, как всегда, на высоте остался. И рад тебе сообщить, что руководство, представило тебя к правительственной награде. Не помню только к какой. Но весит награда не меньше девяти грамм. Это точно.

И засмеялся. Веселый человек был товарищ Кабулов, царство ему небесное! Рассказывали, что когда его расстреливать вели, он тоже посмеивался.

Ему вся наша работа какой-то большой шуткой представлялась. Чем-то вроде анекдота. Когда же его в подвал привели, он только и спросил: «Вы что — серьезно? Да?».

Ну, посмеялись мы с ним вместе над моей наградой правительственной, что весила не менее девяти грамм, потом выпили еще по бокалу вина,

закусили виноградом, и товарищ Кабулов мне говорит:

— Извини, Лукич, что так бесцеремонно мы тебя от дела оторвали. Но сам понимаешь, что без веской причины мы бы такое себе не позволили. Ты, наверное, удивлен?

Я всем своим видом показываю, что удивлен безмерно.

— Речь вот о чем,— продолжает товарищ Кабулов,— ты ведь женатый человек, Лукич? Или нет?

— Да, женат. Уже пятнадцать лет,— отвечаю я.

— Это хорошо, что ты не отпираешься,— говорит товарищ Кабулов,— я думал ты отпираться станешь, отказываться, как враги народа всегда делают. Но ты молодец — признался. Уважаю и хочу еще раз выпить за твое здоровье.

Выпили.

Товарищ Кабулов вздохнул, глаза полуприкрыл. Лицо печальное стало, он и говорит:

— Даже не знаю, как тебе это все рассказать, Василий Лукич...

— Так в чем дело-то? — спрашиваю я.

— Дело в том,— отвечает товарищ Кабулов,— что жена твоя, Лукич, просит у тебя развода.

— То есть, как это? — удивляюсь я.

— Да вот так,— свирепеет товарищ Кабулов,— просит развода и все. Встретила какого-то человека, полюбила и хочет замуж. А ты ей, Лукич, значит чем-то не подходишь. Перестал устраивать. Может, мало внимания ей уделяешь, не понимаю? Дело-то обычное. Почитай «Вечернюю

Москву». Там ежедневно по двести объявлений о разводе печатают. Я сам, если хочешь знать, пятый раз женат. И ничего. Жив пока.

— Пятнадцать лет я ее, значит, устраивал,— спрашиваю я,— а теперь плох стал? Ничего не выйдет. Не дам развода.

Товарищ Кабулов в кресле откинулся, посмотрел на меня как-то странно, губами почмокал и говорит:

— Значит не дашь развода?

— Не дам,— отвечаю.

— Что значит «не дам», — заорал вдруг товарищ Кабулов,— если я приказываю?!

— Товарищ генерал,— говорю я, вставая,— если вы лично на ней жениться хотите, то из уважения к вам...

Кабулов покраснел, как помидор, и продолжал, срываясь на визг:

— Поважнее меня товарищ жениться хочет! А ты поперек стоишь. Не дашь развода — мы ее вдовой сделаем. Сейчас прикажу оформить тебя по первой категории!

По первой категории — это значит в подвал и пломбу в затылок с последующим оформлением гибели при исполнении служебных обязанностей.

Тут я, конечно, оробел. «Ладно, задавитесь!» — думаю. И хотел уж было дать согласие на развод, как неожиданно зазвонил телефон. Кабулов взял трубку. Сразу стало ясно, что говорит он с начальством. Мне показалось, что с самим Лаврентием Павловичем, хотя называл его Кабулов «товарищ седьмой». И речь явно шла обо мне.

— Да, товарищ седьмой,— доложил Кабулов,— он у меня... Нет, не дает, товарищ седьмой... Что? И не надо. Слушаюсь, товарищ седьмой. Пусть на объект возвращается? Слушаюсь, товарищ седьмой!

Повесил Кабулов трубку. Вижу — губами шевелит, о чем-то размышляет.

— Ладно,— уже спокойно говорит,— возвращайся, Василий Лукич, обратно на объект. Заставляешь ты нас соцзаконность нарушать. Не ожидал я от тебя...

Возвращаюсь я обратно и все думаю, что же это за важность такая с моим разводом произошла, что им занимались столь важные начальники? Что же там моя женушка вытворяет? То ей в тридцатом году замуж приспичило, то сейчас наоборот...

Василий Лукич задумался, охваченный воспоминаниями, а меня неожиданно осенило.

— Василий Лукич! — воскликнул я.— Уж не на той ли ты Еве Браун был женат, которая потом стала любовницей, а под конец и женой Гитлера?

— Умный ты больно! — недовольно буркнул в ответ Василий Лукич.— Сейчас все умные стали. А тогда кто чего знал. Браунов в Германии, Англии и Америке столько, сколько у нас Петровых.

— Значит это была она? — у меня аж дыхание перехватило.

— Верись, — искренне сказал Василий Лукич,— сам не знаю. Я ж тебе рассказывал, что

Гитлера с Евой Браун мы еще в 1944 году из Германии вывезли и на подмосковной даче содержали. А поженились-то в бункере совсем другие. Правда, к этому времени весь этот комплекс правительственных бункеров был уже нами захвачен. И вся церемония бракосочетания проводилась в присутствии генерала Серова и его уполномоченных с одновременной съемкой на пленку для истории.

Тут уж я не знаю: то ли новых каких-то туда подсунули, то ли старых самолетом доставили. В таких делах никто после войны разобраться не мог.

Но я думаю, что старых доставили, поскольку иначе не попала бы моя женушка в тюрьму за нарушение закона РСФСР «О браке и семье».

Как-то уж после войны дело было — вызвал меня начальник и говорит:

— Лукич, тебе по вечерам все равно делать нечего. Человек ты холостой. Хочешь в Большой театр сходить? Билет пропадает.

«Очень интересно,— думаю.— То все они мне талдычили: “Ты, Лукич, женатый человек, а ведешь себя...”, а как я отказался дать разрешение на развод, так все в один голос стали петь: “Ты, Василий Лукич, холостяк, тебе жить легко: никаких забот”».

— С чего это вы решили, что я холостяк? — интересуюсь я у начальника,— я, к вашему сведению, уже пятнадцать лет женат.

— Ты был женат,— поясняет мне начальник,— а теперь ты холостяк. Потому что брак твой признан недействительным. На это был

даже специальный секретный указ Президиума Верховного Совета. К сожалению, указ секретный и показать его тебе я не могу, хотя ты и обязан был на нем расписаться.

— Как так мой брак оказался недействительным,— возражаю я,— когда сам товарищ Менжинский его зарегистрировал.

— У товарища Менжинского были свои странности,— отвечает начальник,— да к тому же те годы можно считать эпохой революционной целесообразности. А мы с тобой, Василий Лукич, живем в эпоху социалистической законности. Так вот, нет в нашем советском законодательстве правовой основы для заключения заочных браков без наличия двух брачующихся. А, значит, на лицо нарушение закона, делающее твой брак недействительным. Поэтому бери, Лукич, билет в Большой театр и отдыхай.

— Ну ежели я холостой,— говорю я,— то дайте мне два билета. Приглашу даму какую-нибудь.

— Двух билетов у меня нет,— разводит руками начальник,— один только. Так что, извини.

Пошел я вечером в театр. Давали оперу Вагнера «Валькирия», если не ошибаюсь. Там было специальное правительственное фойе с отдельным входом. Из фойе можно было пройти в правительственную ложу, куда сам Сталин похаживал, и в разные кабинки попроще для мелкой публики вроде меня. В фойе пусто. Только сталинский телохранитель майор Рыбкин похаживает взад-вперед. Увидел меня заулыбался.

— Здорово,— говорит Лукич,— в театр потянуло от холостяцкой жизни?

— Привет, Трофимыч,— отвечаю,— а ты чего здесь делаешь. Хозяин что ли в ложе сидит?

— Не-е,— тянет он,— если б хозяин в ложе был, я бы тебя, Лукич, обязан был пристрелить за проникновение в особую зону, в которую автоматически превратился бы этот предбанник. Да и не пропустили бы тебя сюда. А здесь я потому, что прикомандирован к одному товарищу, о котором тебе, Лукич, знать необязательно. Так что иди на свое место, Лукич, и смотри на все, что на сцене происходит. Мне, например, это совсем неинтересно.

А у главной ложи стоят подчиненные Рыбкина: два амбала и одна амбалиха в форме. Значит, в ложе, помимо мужчин, есть и женщины.

Только я успел сделать столь глубокомысленный вывод, как слышу за дверями ложи истерический женский голос, визжащий что-то не на нашем языке. И столь же визгливый мужской голос. И тоже не на нашем языке.

Вдруг двери ложи с треском распахиваются. Амбалы только успели в сторону шарахнуть.

Выскакивает накрашенная блондинка, крича уже по-русски: «Мерзавец! Ничтожество! Не смей ко мне прикасаться!» Увидела Рыбкина и к нему. «Дядя Леша,— кричит,— Трофимыч! Помоги! Опять пристаёт! Товарищ Сталин ведь обещал...»

Майор Рыбкин побагровел: «Тихо, дура! Я тебе сейчас дам “товарищ Сталин обещал”!».

А тут из ложи появляется товарищ какой-то в мешковатом костюмчике и мятом галстук.

Череп наголо выбрит, как в зоне строгого режима, лицо бледное, дергающееся. И что-то говорит по-ненашенски. А к Рыбкину один из амбалов подбегает и на ухо ему переводит сказанное. Рыбкин и того пуще взбеленился. Выхватывает из бокового кармана телефонную трубку со шнуром, сует шнур в какое-то гнездо в стене и орет:

«А ну, по местам все. Сейчас Самому об этих безобразиях доложу!»

Этот, с лысым черепом, как телефонную трубку увидел, так сразу обратно в ложу шархнулся. Рыбкин перед своими амбалами пальцем трясет: «Кому было сказано, чтобы из ложи не выходил?! Вы тут службу несете или что? Третий срок захотели?!»

А блондинка, улыбаясь, подходит ко мне и говорит:

— Товарищ, мне ваше лицо кажется знакомым. Где я могла видеть вас?

Тут я ее и узнал.

— Здравствуйте,— говорю,— Ева Францевна. Наконец-то сподобилось увидеться.

А она совсем не радуется и отвечает:

— Что же вы, Василий Лукич, не дали мне тогда разрешения на развод. Из-за вас у меня сейчас большие неприятности. Посадить грозятся за двоемужество. А что я могла сделать? Не хотел он в Союз ехать, не записавшись со мной. Боялся.

Я, как дурак, спрашиваю:

— Кто этот «он»?

— Какое это имеет значение,— говорит она,— только из-за вас обоих не хочется мне снова в зону идти. И плачет.

— Не плачьте, гражданка,— жалею я ее,— и не волнуйтесь. Наш с вами брак признан недействительным, поскольку заключен был в нарушение советских законов о «Браке и семье», не предусматривающих заочного бракосочетания. Так следователю и скажите.

— Знаешь, Василий Лукич,— сквозь слезы улыбаясь, говорит она,— никого я на свете не любила, как тебя.

Пока я соображал, что на это ответить, подходит ко мне сбоку майор Рыбкин и говорит: «Извини, Лукич. Свидание окончено». А Еву уже в ложу повели.

Я тоже решил на свое место пройти, согласно билета, но Рыбкин мне путь загородил и на выход указывает: «Езжай домой, Лукич. Нечего тебе, брат, здесь больше делать. Опера идет на немецком языке. В зрительном зале никого нет. Только в ложе — спецпублика».

Пошел я на выход и тихонько так Трофимыча спрашиваю: «А они что? Как “зеки” числятся?»

А он мне также тихонько отвечает: «Они никак не числятся. Их и вовсе не существует. Формальности одни существуют, а они — нет».

Вот такие, брат, дела с моей женитьбой произошли...

Василий Лукич замолчал, а я, как всегда, не поняв и половины из рассказа ветерана, начал задавать идиотские вопросы:

— Лукич, так она русский что ли знала?

— Кто она? — уточняет Василий Лукич.

— Ну, эта... — не совсем уверенно говорю я, — как ее? Ева Браун.

— А шут ее знает, — отвечает Василий Лукич, — никогда не интересовался. Какое это имеет значение?

— А вы так больше и не встречались? — спрашиваю я, надеясь, что эта история имеет какое-нибудь романтическое продолжение.

— Встречались, — странно улыбаясь, говорит Василий Лукич, — хотела она у меня квартиру отсудить. Да только ничего у нее не вышло.

— Из-за того, что брак был признан недействительным? — интересуюсь я, хотя сам не понимаю, зачем мне знать все эти юридические тонкости.

— Нет, — отвечает Лукич, — а потому что я ветеран войны, а она — нет. Всю войну в тылу припухала и на льготы права не имеет.

— Так она не в нашем же тылу «припухала», а в немецком, — удивляюсь я.

— Какая разница, — пожимает плечами ветеран, — тыл есть тыл, а чей он — неважно. Кстати, я тут недавно в какой-то газете прочел, что немецкий суд признал ее брак с фюрером тоже недействительным. И правильно сделал. Поскольку, когда в бункере свадьбу играли, их уже там давно не было.

РУХНУВШИЙ ПЛАН

Когда Василий Лукич в плохом настроении, разговаривать с ним трудно. Бывало попросишь: «Василий Лукич, ты столько знаешь, расскажи что-нибудь интересное». Василий Лукич ворчит: «Мало ли чего я знаю. Я много чего знаю. А вам это знать не положено. В старые времена за это языки вырывали и правильно делали...»

Мы с Василием Лукичем познакомились в редакции «Политиздата», где он искал «негра» для записи своих мемуаров. Эти мемуары, озаглавленные «С партией в сердце», в основном были написаны к 1982 году, но так и не были изданы. Хотя мемуары касались, в основном, периода войны, когда Василий Лукич координировал действия сразу трех партизанских отрядов в Белоруссии, цензура безжалостно их выпотрошила, оставив, фактически, только цитаты из классиков марксизма. Василий Лукич страшно ругался, но его куда-то вызывали, побеседовали, после чего он официально заявил, что с мемуаристикой покончено.

— Переходим на фольклор,— предложил я.— Вы, Василий Лукич, будете, как Гомер, петь свою Одиссею следующему поколению, то есть мне. Я буду петь следующему, а лет через пятьсот, гляди, нас и опубликуют.

— Тебе-то вот точно ничего не расскажу,— злился ветеран-чекист,— болтлив ты не в меру. Раньше таких шлепали десятками. Мне на старости лет еще не хватает искать на свою ж... приключений. Меня вот в обком вызывали. Сопляк там какой-то взысканием грозился за нарушение партийной этики. Нет, ничего рассказывать тебе больше не буду.

Но иногда рассказывает...

Как-то я пришел к Василию Лукичу, тот смотрел по телевизору какую-то очередную серию «Семнадцать мгновений весны». На экране шеф гестапо Мюллер, в прекрасном исполнении талантливого актера Броневого, безуспешно пытался разоблачить советского агента Штирлица. Василий Лукич, помешивая ложечкой остывший чай, не отрывая глаз от телевизора, задумчиво произнес:

— Совсем на себя не похож.

— Кто не похож? — не понял я.— Штирлиц?

— Какой там Штирлиц,— буркнул Василий Лукич.— Штирлиц — это выдумка сплошная. Я о Мюллере говорю. Могли бы и получше подобрать артиста.

— А вы что, его фотографию видели? — удивился я.— Везде пишут, что Мюллер исчез после войны, и даже фотографии его не удалось обнаружить.

— Фотографию! — хохотнул Василий Лукич.— Да я его видел, как тебя. Он у нас в академии на ФПК лекции читал по оперативному розыску и еще спецкурс вел по всемирному

сионистскому заговору. Немцы за время войны очень много материалов собрали против сионистов. Мюллер и занимался обобщением этих материалов. Мы его Генрихом Ивановичем звали. Хороший мужик, простой такой. Все объяснит доходчиво, поговорит с любым запросто. Я-то тогда всего подполковником был. А он — сам понимаешь!

— Он что, переводчика за собой таскал? — недоверчиво спросил я. — Вы же, Василий Лукич, сами говорили, что иностранных языков не знаете.

— Да он лучше нас с тобой по-русски шпарил,— удивляется моему непониманию Василий Лукич.— Он же профессором у нас числился на двадцать седьмой кафедре. Кафедра оперативно-го розыска. Там знание языков обязательно для профессоров. Иначе не утвердят. Вот Борман, тот, говорят, вообще по-русски не умел. Но я врать не буду. Видел его только раз мельком на одном совещании. Он, вообще, не по нашему ведомству числился, а в номенклатуре ЦК. Там свои порядки.

— Борман был членом ЦК? — изумился я.

— Он в номенклатуре ЦК был,— уверенно поясняет Лукич,— а не членом ЦК. Это не одно и то же. А членом ЦК он не был. Даже кандидатом не был. Хотели рекомендовать его в кандидаты, но выяснили, что у него членские взносы не уплачены лет за пятнадцать, если не больше. Ну, все, конечно, понимали: война. Поэтому взыскание ему не объявили, но и в кандидаты не провели. Вообще-то, мог и побеспокоиться об этом. Тем более, столько лет зарплату в инвалюте получал.

Василий Лукич помолчал, что-то, видимо, припоминая.

— Я вообще этих из ЦК не очень любил,— сознается Василий Лукич.— Чванливые, хитрые и жадные. Вертеться умели, как угри. Не ухватишь. Вот и Борман этот — он заместителем начальника экономического отдела работал — выбил себе персональную пенсию союзного значения. Хотя права имел только на республиканскую. И жил себе — не тужил. Умер в 1967 году, так его чуть в кремлевскую стену не засунули...

— Ну, это уж ты, Лукич, загибаешь,— не выдержал я.

— Насчет стены? — переспрашивает Василий Лукич.— Нет, конечно, на стену он не потянул. Его на Новодевичьем схоронили. Можешь сам сходить, могилу посмотреть. Так и написано: «Франц Бергер — персональный пенсионер союзного значения». Франц Бергер — это, вроде, его настоящее имя, хотя не уверен. В те годы как раз было указание на памятниках настоящие имена не писать. Поэтому генерала нашего, который Троцкого шлепнул... Как его?

— Маркадер,— подсказываю я.

— Во-во, Маркадер. Так его похоронили под именем Гомеса. Так и на памятнике выбили. И звездочку героя рядом.

— А Борман был героем? — выясняю я.

— Представляли,— вздыхает Василий Лукич,— но не дали. Какая-то у него там история вышла с казенными деньгами. Никак отчитаться не мог. А суммы, сам понимаешь, какие. Но выкрутился. И пенсию пробил, и дачу, и ни дня не

сидел. А Мюллера как посадили, так и пропал...

— Посадили все-таки? — удивился я.

— По-глупому все вышло,— снова вздыхает Василий Лукич.— Как началась эта компания по борьбе с космополитизмом, так все будто ошале-ли. Его в эту компанию взяли. Какая-то комиссия из ЦКК конспекты его лекций проверила, нашла их космополитическими и не отвечающими политике партии по национальному вопросу. И пропал человек...

— Шлепнули? — спросил я.

— Точно не знаю.— Василий Лукич отхлебнул остывшего чаю и продолжал.— Не знаю. Я-то ребят из ГУЛАГа, которые на спецточках сидели, всех знал. До войны сам, почитай, лет двадцать на этих спецточках служил. Там и не такие, как этот Мюллер, сидели. Я с ними тихонечко говорил, больно уж он мне нравился. Много я, конечно, сделать не мог, но по мелочам-то помогал. Ну, скажем, чтобы крыс в камеру не запускали или клопов не сыпали. А если режим другой — чтобы сметану давали, даже если не положено. Но ребята все, как один, в отказ: не слышали, не поступал такой. Если бы прямо у нас в подвале шлепнули, то я это в тот же бы день узнал. Но хочешь верь, хочешь нет — ничего так и не знаю,— он понижает голос.— Параша была, что его израильской разведке передали. Уж очень они хотели знать, что он насчет сионистов в своем гестапо накопал. А тут как раз борьба с космополитами — они и влезли.

— Что-то не верится! — я с сомнением покачиваю головой.— Вот так вот взяли просто и передали?

— Просто ничего не бывает,— отвечает Лукич.— Не просто, а в обмен на что-нибудь. Вы нам Мюллера, а мы вам «Дело врачей».

— «Дело врачей»?! — в ужасе кричу я.— При чем здесь «дело врачей»?

— Ну, если ты таких простых вещей не понимаешь,— смеется Лукич,—то мне тебе и не объяснить. Ты знаешь, что Сталин два раза в Тель-Авив лично летал? — Лукич наслаждается моей растерянностью, специально делает паузу, глядя на меня с ухмылкой, а затем поясняет.— Подлечиться ему надо было. Хозяин-то у нас был совсем плох. О том мало кто знает. В сорок третьем, после Тегерана, думали, что все уже — концы отдаст. Спасибо, Гитлер своего врача прислал, еврея. Моррель его фамилия или что-то в этом роде. Уже не помню. Так тот его вытащил. А после войны этот Моррель в Израиль уехал...

— Вместе с Гитлером? — ехидно спрашиваю я.

— При чем тут Гитлер? — отмахивается Василий Лукич.— Гитлер у нас на Кунцево-4 жил, дай Бог памяти, чуть ли не с июля сорок четвертого. Это уж ты мне поверь. Не со слов говорю, а сам все видел. Мы во время войны под Смоленском специальный аэродром держали. Так самолеты Москва—Берлин летали, как по расписанию. Кто летал, зачем летал — не нашего ума дело. А вот принять самолет, заправить и дальше отправить — этим как раз мои люди и занимались. Немцы все свои трехмоторные «хенкели» гоняли, а мы на американских «дугласах». Я не особенно любопытствовал. Сам знаешь, разговор тогда был короткий — пломба в затылок, за ноги оттащат в

канаву, и никто не вспомнит. Но Молотова пару раз в этих самолетах видел... Так о чем я говорил? Перебил ты мне мысль. Я тебе говорю: на Сталина страшно смотреть было. Когда он понял, что его план рухнул, черт знает, что с ним произошло. Волосы стали выпадать, зубы тоже. Ну, заживо человек гниет и все. Он ведь уже в Потсдам сам не ездил, «куклу» послал. Его только в Израиле на ноги и ставили. А уж какую цену они с него за это брали, я не знаю. Но немалую, наверно, если учесть, в какой мы заднице сегодня сидим. Но латали они его прилично. В пятьдесят втором уже совсем был, как огурчик...

— Ничего себе, как огурчик,— вмешиваюсь я,— если в пятьдесят третьем загнулся.

— Любой бы загнулся,— посмеивается Лукич,— если бы в него всю обойму из маузера всадили... Да сиди ты, не дергайся. Я тебе адрес дам. На Таганке полковник живет, отставник. Он тебе все подробности расскажет. Сам за этот маузер держался!

Лукич берет со столика заварной чайник, наливает себе полстакана, добавляет сахарного песку, размешивает и с удовольствием отхлебывает глоток.

— Но это другая история,— продолжает Василий Лукич.— А что касается Мюллера, то вот так он и пропал бесследно. А Борман выкрутился. Партаппаратчики — они где хошь выкрутятся. Вот такие дела...

— А с Гитлером-то чего стало? Вы говорили, что он в Кунцево-4 сидел,— открыв рот, я ждал ответа.

— Да не сидел он там, а просто жил,— поправляет меня Василий Лукич.— Машина у него была, в Москву ездил, когда хотел. Ну, наблюдали за ним, конечно. Чтобы, скажем, митинг где-нибудь не собрал. Или с мавзолея что-нибудь оратор не начал. Но он тихий был. Больше на даче сидел, пейзажики рисовал. Природа-то там — роскошь. Подмосковье! — Василий Лукич зажмуривается от удовольствия (его дача тоже недалеко от Кунцева).— Рисовал очень даже неплохо, я тебе скажу. С бабой своей — блондинка такая, не помню, как звали,— в театры ездили. В Большой чаще всего. Оперы любил очень. С ним вся его команда была: и Кепка-шофер, и Гюнше-адъютант, и Монк-телохранитель. Хорошие ребята, верные. Они до самой его смерти при нем сидели. Он умер в пятьдесят шестом от инфаркта. Сколько ему было? Лет шестьдесят семь-шестьдесят восемь. Но переживал сильно. Когда план рухнул, Сталин его ни разу после войны не принял. Хотя слухи были, что в сорок девятом, на семидесятилетие, Сталин с ним встречался. И, говорят, беседовали спокойно. Ну, не вышло — ничего не поделаешь. Сам-то Гитлер ни в чем виноват не был. Свою часть плана выполнил. Кто мог подумать, что так все дело обернется.

— Что за дело у них было? — спросил я, как обычно, уже не в силах уследить за ходом мыслей Василия Лукича и ничего толком не понимая.— Какой план у них рухнул? Что это за план?

— О-о! — Василий Лукич даже закрыл глаза от нахлынувших воспоминаний.— План был

грандиозный! Во имя этого плана все наше поколение трудилось и костями легло. Мы в этот план сто миллионов человеческих жизней вложили. И получилось бы, если бы японцы-говнюки нам все не испортили...

У Василия Лукича даже желваки на скулах заходили при воспоминании о «говнюках-японцах».

— Японцы-то тут при чем, Василий Лукич? — почти завопил я, приходя в отчаяние от сознания собственной тупости.

— А при том,— жестко ответил Василий Лукич,— что сами они толком ничего не могут делать полезного, а напакостить другим — это всегда пожалуйста! Ну, кто их просил на американцев нападать? Зачем это им понадобилось? Умирать буду — не пойму. Или кто-нибудь заплатил? Но кто тогда?

Не знаю, ко мне ли обращался с вопросами Василий Лукич, но я молчал.

— Понимаешь,— все более распаляясь, говорил Василий Лукич,— план вчерне был составлен еще в конце тридцать девятого, а доработан детально в начале сорок первого. Японцы, конечно, в него посвящены не были, но считалось, что они будут в Китае и в Индии своими делами заниматься и никак помешать не смогут. А они, здрасьте пожалуйста, на Соединенные Штаты напали! Мы-то вначале тоже не поняли всего значения этого события, а когда дошло— уже поздно было. У них в сорок первом, когда японцы их, а скорее они японцев, в Пирл-Харборе подловили, и армии-то, считай, не было. Так, смехота

одна — в ковбойских шляпах, с винчестерами. А в сорок пятом? Как чудо какое! Пятнадцать миллионов с лучшими в мире авиацией и флотом, да еще с атомной бомбой. Они нас на Эльбе остановили и не дали осуществить все задуманное. У Сталина припадок был. Он даже Гитлера стал подозревать — не он ли специально своих физиков в Америку заслал, чтобы те бомбу сделали и сорвали Великий план. У Гитлера в Кунцево целая комиссия работала. Эксперты. Все проверяли, перепроверяли, но выводы были однозначные: всю войну он честно себя вел. Генералов своих в узде держал крепко. Гудериана вовремя остановил, Паулюса под Сталинградом подставил, Манштейна — под Харьковом, Курскую дугу организовал. Но Америку проморгал, как и мы. А не напади эти придурки на американцев тогда в сорок первом, все бы получилось, я тебя уверяю. Все бы, как в песне: «И от Японии до Англии сияла б Родина моя».

А потом бы и с Америкой разобрались. Сталин, правда, не успокоился. Когда мы у них бомбу украли, стал их прощупывать. Начал с Кореи, а потом такое стал готовить, что пришлось его в пятьдесят третьем пристрелить от греха подальше. Знаешь, эти фанатики какой-нибудь идеи, как бы прекрасна она ни была, никогда успокоиться не могут. Хороший был план, ничего не скажешь. Ну не получилось — успокойся. Так нет же. Ах, не получилось, так вот я вам сделаю! Ленин еще обещал, помнишь, «дверью хлопнуть при уходе так, что весь мир вздрогнет». А Сталин собирался так хлопнуть, что мир бы не

вздрогнул, а просто на кусочки бы разлетелся. Но тут уж мы все увидели, что человек совсем не в себе, вот и пришлось... Я понимаю, что обидно было и ему, и Гитлеру. Получилось, что они столько средств, жертв и энергии потратили, свои страны и всю Европу в руины превратили только для того, чтобы сделать Америку владыкой всего мира. Вон ихний президент в Москву, как хозяин в свою деревню приезжает, а все только спины гнут. А ведь и ошибки-то никакой в плане не было. Все было предусмотрено. Но кто же мог подумать, что слабую, разобщенную, раздираемую противоречиями Америку японцы превратят в монстра, который сожрет весь мир. Вот так всегда. Никогда я во всем до конца разобраться не могу. Как могло случиться, что японцы, не имея за душой даже гвоздя железного, могли напасть на Америку? Иногда ночи не сплю, ворочаюсь и все об этом думаю...

— Может, у них свой план был? — предположил я. — У вас свой, а у них свой, основанный на знании вашего плана. То-то они сейчас процветают, а мы в дыре сидим и на пропитание у них копейки вымаливаем.

— Да, — вздыхает Лукич, — я вот тоже иногда так думаю. Перехитрили они нас. Смотри, мы ведь уже все, что во время войны удалось забрать, отдали ни за понюх табаку. За жратву отдали, чтобы с голоду не помереть. А дальше что будет?

— Не унывай, Лукич, — утешаю я его. — Мы какой-нибудь новый план придумаем. Да такой, что весь мир снова задрожит.

— Да нет уж, все,— безнадежно машет рукой Василий Лукич.— Некому сейчас придумывать. Да и народ уже не тот. Тогда действительно был шанс, да говнюки-японцы все испортили...

Я взглянул на экран телевизора. Мюллер и Штирлиц жестикулировали руками. Кто-то из нас выключил у телевизора звук, но не заметил этого.

ПОДАРОК ПРЕЗИДЕНТУ

При общении с Василием Лукичем я всегда испытывал какое-то странное чувство, весьма похожее на зависть. И дело не только в том, что мне бы очень хотелось, доживи я до восьмидесяти пяти лет, выглядеть столь же молодо и подтянуто, как он, с той же ясностью мысли и чувством юмора, столь не свойственными многим другим представителям его героической профессии, которые сподобились дожить до наших дней.

Дело именно в ясности ума Василия Лукича, знавшего и помнившего столько из темной нашей «византийской» истории, что только на его воспоминаниях можно было создать параллельную Публичную библиотеку, так и назвав ее «Публичная библиотека имени Василия Лукича».

Василий Лукич — это ходячий архив. Впрочем, это сравнение не совсем правомочно. Ни в одном архиве вы не обнаружите и намека на те сведения, которые хранит память этого человека. Потому я умираю от зависти, глядя в серые с хитринкой глаза чекиста-ветерана, и хочу превратиться в кого угодно, чтобы проникнуть в его мозг.

Увы, Василий Лукич говорит мало. Все применяемые мною приемы разговорить его, как правило, заканчиваются неудачей, выбивая из

него стереотипные реплики: «А зачем тебе все это знать?», «На кого работаешь?», «Лучше тебе подобных вещей не знать, а то в дурдом попадешь». Последняя реплика уже наших дней. Раньше Василий Лукич говаривал: «Лучше тебе этого не знать, а то быстро в ящик сыграешь».

Я надеялся, что после августа девяносто первого года он разговорится, а то и мемуары настрочит, взяв меня в качестве литературного работчика. Ничуть не бывало.

— Василий Лукич,— пристаю я к нему,— напишите мемуары. А я издам. Смотрите, все ваши ветераны уже затопили книжный рынок своими мемуарами. А вы столько знаете и молчите.

— Ветераны! — смеется Василий Лукич.— Кого ты называешь ветеранами? Их в девяносто первом из КГБ турнули, так они себя ветеранами возомнили. Разве это ветераны? Настоящих ветеранов, скажу тебе, ныне раз-два и обчелся...

Есть у Василия Лукича одна слабость. Любит он кинохронику тех героических лет. И губы у него всегда складываются в какую-то ехидную ухмылку. Иногда кратко прокомментирует увиденное вроде: «Да не хроника это вовсе. В специальном павильоне МГБ снимали под хронику еще, дай Бог памяти, году в сорок втором». Или вообще ничего не скажет, а только головой покачает...

Как-то по телевизору показывали какую-то старую демонстрацию трудящихся на Красной площади. Сталин в форме генералиссимуса руками с мавзолея машет, приветствуя восторженный

народ, и улыбается беззубым ртом. Василий Лукич аж в кресле подскочил. Глаза стали узкими и злыми, как у пантеры, которой кто-то осмелился наступить на хвост.

— Видишь,— обернулся он ко мне,— вот он... беззубый...

— Кто? — не понял я.— Это же товарищ Сталин.

Хроника кончилась. На экране появился президент Ельцин со стаканом в руке, провозглашающий тост за ветеранов. Василий Лукич вздохнул.

— Товарищ Сталин, говоришь?.. Это здорово, что ваше поколение его так хорошо в лицо запомнило. Правильно вас воспитали...

Тут уж я разозлился.

— Ладно,— говорю,— Василий Лукич, на наше поколение все сваливать. Это вы ему тридцать лет задницу лизали, да на брюхе ползали.

— Что бы вы понимали,— оборвал меня Василий Лукич,— я тебе расскажу сейчас одну историю. Было это в разгар «Дела врачей». Мы-то все понимали, что это дело затеяли, чтобы нас, старые кадры чекистов, всех перерезать. Я тогда немного в сторонке оказался, потому как в адъюнктуре учился, диссертацию писал...

— На какую тему? — встречаю я.

— Не помню уж,— отмахнулся Василий Лукич.— Думал, пересажу всю эту смуту в адъюнктуре. Ан нет. Вызывает меня неожиданно один большой начальник...

— Кто именно? — пытаюсь я уточнить.

— Фамилия его тебе ничего не даст,— улыбается старый чекист.— По правде говоря, не было

у него никакой фамилии. Если в нашем ведомстве человек был известен по фамилии, значит сидел он для представительства, ровным счетом ничего не решал и ничего толком не знал. А те, кто по-настоящему делами заправляли, тех никто не знал не только по фамилиям, но иногда и в лицо. «Товарищ пятый», скажем, или «восемьдесят первый». И все. Представится он тебе Иваном Ивановичем, а то и просто: «Называйте меня товарищ генерал».

— Так вот, вызывает меня большой начальник. Мы с ним в войну вместе работали, и вроде я ему приглянулся. Все мне разные интересные дела потом поручал. Аж дух захватывало. Не от сложности дел, а от мысли, что после такого дела меня, наверняка, самого шлепнут. Но проносило. А я ведь уже тогда в нашей системе динозавром считался. Шутишь, я еще при Менжинском работать начинал. Ягоду и Ежова пережил. Ильича в зоне охранял. И всякое такое. Сам понимал, что уже лет десять минимум лишних живу. И удивлялся.

— Принял он меня на своей вилле в Подмосковье. Начальник-то он был большой, а по возрасту лет на семь меня младше. В гору пошел после Ежова. Вижу, чем-то он смущен. Коньячком угостил. Традиционно выпили «за дружбу и секретную службу». Чувствую, мучается он, не знает, как начать. Потом подсел ко мне поближе и говорит:

— Дело одно поганенькое хочу тебе поручить, Лукич. Извини, что от учебы тебя оторвал.

Да только посмотрел я вокруг — кроме тебя, некому дело такое распутать. Дело-то очень деликатное.

И снова замолчал. С мыслями собирается. Я ему помочь решил.

— Излагайте,— говорю,— факты, товарищ генерал армии. Не впервой нам разные деликатные дела раскалывать.

— Знаю,— отвечает он,— что ты, Лукич, не подведешь. Но такого дела, брат, ты еще не вел. Уж больно оно с душком. За партию обидно.

Снова замолчал, плеснул еще коньячку немного и, значит, говорит.

— Перед ялтинской конференцией товарищ Сталин принял решение преподнести президенту Америки Франклину Рузвельту как нашему доблестному союзнику ценный подарок. Товарищи в Политбюро посовещались и высказали мнение, что американскому президенту следует подарить золотые часы, принадлежавшие когда-то душеителю свободы царю Александру III. Часы эти были выполнены из золота и платины, усыпаны бриллиантами и рубинами, имели бой, мелодии там разные и вообще. Изготовила их какая-то знаменитая французская фирма, и стоили они на тогдашние деньги двести пятьдесят тысяч рублей золотом. Почти как тяжелый крейсер. На нынешние деньги их вообще не пересчитать — госбюджета не хватит. Такие часы не стыдно было президенту Рузвельту подарить, потому как и на ихние деньги они стоили тогда миллионов десять долларов. Часы эти товарищ Сталин должен был лично вручить президенту в Ливадии.

Замолчал начальник, подогрел себя коньяком и продолжил.

— Наша агентурная разведка, что в самом логове мирового империализма сейчас работает, совсем недавно выяснила, что Рузвельт на ялтинской конференции часов этих не получал. Потом он вскоре помер, и дело как-бы забылось. Руководство как узнало об этом, такой скандал закатило, что Спасская башня зашаталась. Найти часы и все! А не найдете — лучше бы вам и на свет не рождаться. Вот такие дела, Лукич. Выручай, брат, а то всем кранты...

— Так,— говорю я,— интересно. А где эти часы хранились?

— Хранились,— отвечает начальник,— они, как и положено в Гохране. Выданы были под расписку товарищу Поскребышеву...

— Так, может, он и спер? — предположил я.— Он в молодости карманником был, в Алма-Ате, кажется. Сыграли старые инстинкты, когда такая дорогая вещь в руки попала.

— Нет-нет,— говорит начальник.— Товарищ Сталин, правда, когда об этом узнал, страшно рассердился и приказал Поскребышева посадить. Мы с ним в тюрьме побеседовали и выяснили, что он не виноват, поскольку есть у него оправдательные документы.

Генерал вытащил из папки листочек и протянул мне. Это была расписка, говорящая о том, что товарищ Поскребышев А.Н. передал изъятые из Гохрана старинные часы под расписку гражданину Кураганяну Рустаму Азировичу для вручения в г.Ялта Крымской АССР господину

Франклину Делано Рузвельту, работающему президентом Соединенных Штатов Америки, проживающему в г. Вашингтоне, округ Колумбия, США.

Тут у меня, вообще, голова поплыла. Как сейчас говорят, крыша поехала, вместе с черепицей.

— Кто такой этот Кураганян Рустам Азиревич? — спрашиваю. — И почему он «гражданин», а не «товарищ»? Почему часы Поскребышев ему передал? Он что, в личном аппарате товарища Сталина работает? В управлении «Зет»?

— Погоди, погоди, — прерывает меня генерал. — Я постараюсь на твои вопросы ответить. Только ты учти, что я тоже не все знаю. Ну, во-первых, этот Кураганян не «товарищ», а «гражданин» потому, что он заключенный. В свое время получил «десять лет без права переписки», но расстрел ему заменили содержанием в зоне до особого распоряжения.

Я этак тяжело сглотнул слюну. Голос даже у меня просел. Хрипло переспрашиваю:

— Заключенный? По какой статье?

— Без статьи, — поясняет генерал. — По указу, в силу государственной необходимости.

— А кто он вообще такой? — не унимаюсь я. — Как вообще могло случиться, что часы, которые товарищ Сталин должен был лично передать в качестве подарка президенту Рузвельту, Поскребышев отдал какому-то Кураганяну? Что все это значит?

Вижу, у начальника моего тоска смертная в глазах. Схватил он «казбечину» из пачки, нервно прикурил, собрался с мыслями и говорит:

— Видишь ли, Лукич, ты не головой, а сердцем все понять должен. Сердцем-то ты наш, а если бы не так было, то, по крайней мере, уже лет двадцать назад тебя... Гм, смекаешь? Так вот, товарищ Сталин — великий вождь и учитель нашего народа, который уже более тридцати лет ведет нас всех от одной победы к другой; отец всех народов, он, как ты сам понимаешь, Лукич, личность слишком драгоценная, чтобы подвергать его хоть малейшему риску — в Тегеран ездить, в Ялту, с мавзолея перед войсками выступать, ну и так далее. Чего только может произойти! Разве люди, отвечающие за безопасность вождя, способны все предусмотреть? Нет, конечно. И ты это сам отлично понимаешь. Болт, скажем, где-то прогнул, не заметили — вот тебе и катастрофа. Паровоз с рельсов слетит, самолет упадет, молния в него в небе ударит, псих какой-нибудь на параде патрон в заднице спрячет и стрельнет по мавзолею, колесо в машине лопнет на дороге, скажем, в Кунцево, и машина врежется в столб, и двигатель у нее взорвется... А потому, понимая это, мы подготовили ряд граждан, внешне напоминающих товарища Сталина, которые во время подобных мероприятий должны были его заменять, как каскадеры киноартиста во время рискованных трюков. Ну, сам понимаешь, что такую группу надо держать в изоляции от общества, чтобы они, упаси Бог, много о себе не возомнили, на статусе заключенных с расстрельным приговором, исполнение которого каждые полгода откладывается еще на полгода по решению Президиума Верховного Совета СССР.

— Та-ак,— протянул я,— теперь понятно. Значит, в Ялту тоже ездил один из них. Так надо допросить его, этого... как его, заключенного Кураганяна, и дело с концом.

— Умница ты, Лукич,— просиял начальник,— что все понимаешь. Это правильно, что нужно допросить. Это я и без тебя знаю. Только кто допрашивать-то будет? Мне самому нельзя. Мне на каждый контакт разрешение в Президиуме ЦК надо спрашивать. Дружка твоего послали, с которым вы из Берлина в сорок четвертом известную тебе важную персону вывозили. Так он на первом же допросе умом тронулся. Сейчас в госпитале лежит. Врачи говорят: не выживет.

— Ладно,— согласился я,— попробую. Где они все содержатся?

— В зоне,— ответил начальник, покраснев.— Все в одну зону собраны для порядка.

— Так где же? — допытывался я.

Генералу страшно не хотелось отвечать прямо. Он начал что-то крутить, вертеть и мямлить.

— Я тебя, Лукич, сам туда отвезу. Недалече тут. На машине быстро доедем. Я за шофера сидеть буду.

— В Кунцево, что ли? — догадался я, и потому, как начальник опустил глаза и смутился, понял, что попал в точку.

— А охрана-то об этом знает? — поинтересовался я.

— Внешняя ничего, конечно, не знает,— вздохнул начальник.— А внутренняя — в курсе. Не до конца, конечно, тоже.

Подмывало меня тогда спросить: а кто же внутреннюю охрану несет; но строжайше в нас забито было не задавать начальству вопросов, не относящихся к делу. Словом, поехали в тот же вечер.

Едем в Кунцево. Первый раз, признаться, волнуясь. Охрану проезжаем, заграждения, блокпосты, засеки.

— Чтоб не сбежали,— поясняет начальник.— Сбегут, беды не оберешься.

Приехали. Как въехали на территорию дачи, так у меня в глазах потемнело. Сам товарищ Сталин цветочную грядку окучивает.

— Спокойно,— говорит начальник,— не держайся. Выходи из машины, иди вон в ту дверь. Там тебя встретят, а я в машине подожду.

Вышел я из машины. Сама-то дача чуть поодаль, а тут пристройка каменная двухэтажная. Видно, комендатура внутренней охраны. Только я вошел — навстречу мне тетка, дородная такая, в белом халате.

— Здравствуйте,— говорит,— товарищ полковник (а я в штатском был). Проходите ко мне в кабинет, располагайтесь.

Ведет меня в кабинет с табличкой «Заведующая профилакторием», а сама смеется.

— Уверяю вас, товарищ полковник, что не мои это набедокурили. Они люди ответственные, пожилые. Это, скорее, «Молотовы» наделали.

«Значит, и “Молотовы” такие есть»,— думаю про себя, но молчу, поскольку понятия не имею, что это за тетка в белом халате и кто она такая.

Заходим в кабинет к ней. Там чистенько.

Портрет Ленина. Стол канцелярский, шкаф. Сейфа нет. На стене график висит с надписью: «Очередность доставки на спецобъекты спецконтингента профилактория». А тетка, вся улыбочивая такая, говорит мне:

— Вот за этот столик садитесь, товарищ полковник. И работайте. Вам Рустама первым прислать?

— Кураганяна,— киваю я головой.— Приведите или пришлите. Не знаю уж ваших порядков.

Через минут десяток входит этот самый Кураганян. В кителе генералиссимуса и фуражке. Сердце у меня чуть из левого уха не выскочило. Хотел вскочить и вытянуться по стойке «мирно». С огромным трудом себя пересилил, в глазах темно, и, чтобы успокоиться немного, протягиваю ему пачку «Казбека».

— Присаживайтесь,— говорю,— гражданин Кураганян. Курите, если хотите.

— Спасибо, гражданин начальник,— отвечает он.— Трубку предпочитаю.

Вынимает трубку из кармана кителя, а из другого пачку «Герцеговины Флор». Разломал две папиросы, набил трубку табаком, закурил.

— Папиросы-то эти самые покупаете,— спрашиваю я,— или выдают?

— Все выдают, гражданин начальник. Не обижаемся,— говорит он, выпуская кольца дыма.— Все у нас казенное. Денег-то ни копейки на руки не получаем.

— А сидите-то давно? — интересуюсь я, чувствуя, что сердечко-то мое немного успокаивается.

— Первый срок еще в тридцать четвертом

получил. На Казанском вокзале взяли, считай, ни за что. А потом добавили еще два срока,— печально улыбнулся «генералиссимус».

— А за что добавили? — я тоже закурил папироску и дрожь в руках унимаю.

— Сперва,— отвечает он,— за XVIII съезд, хотя вовсе и не я на нем выступал; а второй — за 22 июня сорок первого года. Жуков отвертелся, а мне на полную катушку влупили четвертной.

— Так,— говорю я,— хочу вас честно предупредить, гражданин Кураганян, что висит над вами и третий срок, если не вернете часы, которые вам под расписку вручил товарищ Поскребышев перед отъездом в Ялту на конференцию.

— Нечего мне отдавать, начальник,— пожимает он плечами.— Не я в Ялту ездил.

— Не вы? — удивляюсь я.— А кто же?

— Абашидзе,— отвечает он.— Меня, правда назначили. Врать не буду. И Александр Николаевич те часы мне под расписку передал. А потом говорит, мол, ты не поедешь. Абашидзе решили послать. И те рыжие часики отобрал. Можете у него проверить.

— А расписку он вам вернул?

— Смеетесь, начальник? — улыбается Кураганян.— Кто же в зоне позволит такую записку держать? У Поскребышева она осталась.

— Ладно,— говорю я,— пока идите. Если понадобится, я вас еще вызову. А пока пришлите мне этого Абашидзе.

— Нам по зоне самостоятельно передвигаться не положено,— отвечает Кураганян с испугом в глазах.— Матрену Ивановну позовите.

Я понял, что Матрена Ивановна — это та тетка в белом халате. Дверь кабинета приоткрыл, а она на стульчике в коридоре сидит.

— Матрена Ивановна,— говорю,— отведите заключенного на место, а мне приведите Абашидзе.

Абашидзе был в простом довоенном кителе с отложным воротничком. Он вошел, мягко ступая в кавказских сапогах, держа во рту потухшую трубку.

— Сообщите ваше имя, отчество и фамилию, а также срок, начало и конец срока,— начал я допрос.

— Абашидзе Автандил Эдуардович,— отвечает он,— 1879 года рождения, грузин, беспартийный. Осужден в 1935 году за теракт.

Я было хотел записать все это в протокол, а потом думаю: как бы мне за такой протокол потом голову не открутили. Изложил я ему суть дела.

— Все правильно, начальник,— говорит он.— Поскребышев мне эти часики передал и сказал, что в Ялту поеду я. Меня уже из зоны на вокзал повезли, но с полдороги вернули. А поехал вместо меня Ямпольский Иосиф Наумович. Я ему те часики и передал в присутствии Матрены Ивановны.

— А Матрена Ивановна — это ваш комендант? — спрашиваю я, хотя прекрасно понимаю, что не имею никакого права задавать подобных вопросов.

— Она у нас все,— вздыхает Абашидзе,— дай ей Бог здоровья. Мы же все люди уже пожилые.

Она нас и покормит, и укол, когда надо, сделает. В последние годы разрешение выхлопотала для нас по садику гулять, цветы сажать и все такое прочее. Раньше-то все по отдельным помещениям сидели и даже кормили через намордник. А работать-то очень много приходилось. Речи учить, всякие книги писать, выступать.

— А кто же вам все эти книги и речи писал, чтобы вы учили? — меня занесло, но сам Абашидзе, молодец, поставил меня на место.

— Нельзя, гражданин начальник, нам эти вопросы обсуждать. За это «вышак» выскочить может.

«И не только ему, но и мне тоже».

— Ладно,— говорю,— идите отдыхайте, гражданин Абашидзе.

А Матрене Ивановне приказываю Ямпольского привести.

— Нет на месте,— улыбается она.

— Как это, нет не месте? — подскакиваю я.— А где же он?

— В Кремле,— отвечает,— на Пленуме выступает.

И «Правду» мне сегодняшнюю показывает. А там черным по белому: «Сегодня в Москве проходит внеочередной Пленум ЦК ВКП(б)... Главным вопросом Пленума являются “Дальнейшие меры по беспощадной борьбе нашей партии с безродным космополитизмом”. С докладом на Пленуме выступит генеральный секретарь ЦК ВКП(б), Председатель Совета Министров СССР, Генералиссимус Советского Союза товарищ Сталин...»

— А когда его доставят,— интересуюсь я.

— Конвой заказан на час ночи,— улыбается Матрена Ивановна.— Где-нибудь к двум часам ночи привезут. Вы можете пока отдохнуть, товарищ полковник. Я вас ужином покормлю.

Дождался я. Привели Ямпольского. В мундире генералиссимуса, но без усов.

— Я накладными пользуюсь,— признался он,— терпеть не могу настоящих. И не курю. Только трубку посасываю. Разрешили по состоянию здоровья.

И улыбается. Вижу, у него передних зубов нет. Только два желтых клыка. А у остальных передние зубы были. Хотя, может, съемные. А я как-то обратил внимание, что однажды на мавзолее Сталин беззубый стоял, а в другой раз — с зубами. Ладно, думаю, не буду лезть во все эти детали. Завожу разговор о часах.

— Точно,— соглашается Ямпольский,— вручили мне эти часы и повезли в Ялту. Конвой огромный был — человек сто. Все боялись, что сбегу я на этапе.

«Да,— подумал я,— а какая, в сущности, разница между личной охраной и конвоем? Если вдуматься, то никакой. Вон те за оградой гордые ходят, что им доверено дачу самого товарища Сталина охранять, не подозревая, что просто стерегут спецзону».

— Привезли меня уже в Ялту,— продолжает Ямпольский.— Вдруг поднялся шухер. Мне приказали усы снять, часы сдать, затолкали в самолет — и обратно в зону. Параша была, что настоящий в Ялту прибыл.

Доложил я начальнику по пути в Москву, что выяснить удалось.

— Поди теперь разберись,— мрачно сказал генерал,— кого они в последний момент в Ялту привезли.

— Это нигде не зафиксировано? — спрашиваю я.

— Может и зафиксировано,— пожимает плечами генерал,— да только с тех пор уже троих в этой зоне расстреляли.

— А может, правда,— осмелился я предположить,— что тогда в Ялту сам товарищ Сталин прибыл?

— Может, и правда,— как-то нервно сказал генерал.— Что это нам даст? Нам часы приказано разыскать.

— Так надо доложить товарищу Сталину, что нам удалось выяснить,— предложил я.— Я могу вам рапорт представить к шести утра.

— Ты что, дурак? — неожиданно заорал генерал.— Как я доложу товарищу Сталину? Как мне к нему на прием пробиться? Ты в уме, Лукич? Ты что считаешь, что сам товарищ Сталин часики эти и прибрал?

Я молчу, конечно. Самого пот прошиб. На дорогу смотрю. Обратно я машину вел.

— Ладно,— смягчился генерал,— разберемся. Спасибо, Лукич, за содействие. Пиши свою диссертацию дальше. Ни о чем не думай.

А вскоре мы узнали, что товарищ Сталин «неожиданно умер».

Василий Лукич замолчал, налил себе заварки из чайника и с удовольствием выпил.

— Что-то я не понял,— ошалело спросил я.— Выходит, настоящий Сталин часы эти... того?

— Ты думаешь,— засмеялся Василий Лукич,— что настоящий товарищ Сталин существовал? Тот генерал — он сейчас в Израиле живет — недавно в Россию приезжал к родственникам. Встречались мы. Он мне по пьянке рассказал, что настоящего в тридцать четвертом убили вместе с Кировым. Не было настоящего, да и не нужен он никому был. Я это сейчас хорошо понимаю.

— А с теми, в зоне, что потом стало? — спрашиваю я, затаив дыхание.

— Их Матрена Ивановна всех в одну ночь усыпила. Тот, что в Колонном зале лежал, это Ямпольский. А в мавзолее — Абашидзе. А Кураганяна, говорят, в Гори втихаря отправили.

— А с самой Матреной Ивановной что стало?

— Это тебе еще знать не положено,— ухмыляется Василий Лукич.— Любопытный ты больно!

ИМЕННОЙ БРАУНИНГ

1

На старости лет Василий Лукич пристрастился к телевизору. Сериалы там разные, заморские, он, конечно, не смотрит и даже плюется. Но все изыскания многочисленных постперестроечных историков и фильмы из серии «Наше новое кино» и «Кино не для всех» смотрит с большим удовольствием и посмеивается.

— Что смеешься, Лукич? — всякий раз спрашиваю я его, когда застаю за этим занятием.

— Да все не так было, — бурчит старый чекист, — голову только людям морочат!

— А как было на самом деле? — начинаю выпытывать я, но успеха достигаю далеко не всегда.

Но все-таки иногда мне везет.

Как-то мы вместе с Василием Лукичем смотрели по телевизору фильм «Мой друг генерал Василий Сталин». Фильм художественный, где в сущности очень трагическая история сталинского сына подается от лица выдающегося спортсмена того времени Всеволода Боброва.

Мне лично фильм понравился. Очень хорошо было показано, как сын диктатора меценатствовал

в советском спорте и даже имел столкновения с самим Лаврентием Павловичем Берия, пытаюсь защитить от притязаний Василия Иосифовича свой любимый ведомственный клуб «Динамо».

Мне, повторяю, фильм понравился. А Василию Лукичу — нет.

— Что опять не так? — спрашиваю я.

— Да все так,— вздыхает Василий Лукич,— у нас, как водится, все вроде и так, да — не так.

— Так что вам здесь не нравится? — продолжаю настаивать я, по опыту чувствуя, что нахожусь на пороге очередной невероятной истории.

— Да все нравится,— отвечает Василий Лукич,— и Бобров на себя похож, да и сын Сталина, если не по внешности, то по поведению — вылитый.

— А вам его видеть приходилось? — осторожно направляю я Лукича на незарастающую тропу устного народного творчества, именуемого фольклором.

— Приходилось,— кивает головой Лукич,— при жизни Сталина и после. После, правда, всего один раз. Я тебе уже рассказывал, что, когда Никита Сергеевич нашу систему топором кромсал, я в академии, в адъюнктуре учился. Параллельно лекции на младшем курсе читал о социалистической законности. Начальника сняли и послали ректором в какой-то провинциальный университет. В Омский, кажется. Но он до места не доехал, помер от инфаркта. Никак с увольнением из органов примириться не мог. А вот его зама по науке — того посадили на полную десятку. Он в молодости какого-то маршала сапогами

обхаживал на допросе. Думал, все позабылось. Ан нет. Народец у нас злопамятный. Я тоже сижу — жду своей очереди. Я никого за свою службу не убивал и не бил. У меня своя методика была — сами раскалывались и что мне нужно подписывали. Без криков и мордобоя, без шума и пыли. Но меня все-таки из органов вытурили — лектором в общество «Знание». Ладно, думаю, еще хорошо отделался. Пошел удостоверение сдавать и все такое прочее. В кадрах мне говорят:

— Удостоверение оставьте при себе, поскольку вы из органов не увольняетесь, а переводитесь в действующий резерв.

— Это как? — спрашиваю я.

— А так, отвечают, что будешь получку сразу в двух местах получать три раза в месяц. Два в обществе «Знание» и один раз у нас. В приемной на Кузнечном мосту, в окошечке «7», вместе со стукачами.

— Дожил,— говорю я.

— Ничего,— утешают,— перетерпишь,— тебе, Василий Лукич, дорогой, по нынешним временам «вышак» полагается. Скажи спасибо, что в адъюнктах числишься. По адъюнктам специальное указание было: сохранить всех для будущей борьбы за народное счастье. А отдел твой старый весь уже, почитай, через трубу крематория улетел. Усек?

— Ладно,— думаю,— перебьемся как-нибудь. Хотел было о пенсии заикнуться, выслуга у меня уже была к тому времени тридцать пять лет. Но жизнь, как говорится, дороже.

И пошел я в общество «Знание» лекции читать. Главным образом, по домоуправлениям читал для пенсионеров. Тема одна — «Великая Октябрьская революция и ее всемирно-историческое значение». В неделю две-три лекции отбарабанишь и свободен — делай что хочешь. С двух получек, сам понимаешь, растолстел, разжирел и чуть марки не стал коллекционировать.

Проходит, значит, какое-то там время. Вызывает меня мое новое начальство: «Как вам, Василий Лукич, у нас, нравится? Есть ли претензии или пожелания?»

— Нормально все,— говорю,— только нельзя ли сменить контингент, то есть аудиторию? А то одни пенсионеры, да и те в основном старушки. Хочется чего-нибудь помасштабней.

— Вот мы вас для того и пригласили,— отвечает начальник,— поскольку общество у нас всесоюзное, не желаете ли, Василий Лукич, применить свои широкие знания, как принято говорить, далеко от Москвы?

— В Магадане? — спрашиваю я.

— Экий вы шутник,— смеется начальник,— нет, не в Магадане. А, скажем, в Казани. Плохо у них с кадрами по линии нашего всесоюзного общества. Командировочные опять же, квартирные. Ну как?

— Ладно,— думаю,— отчего бы и не съездить. Я, как с этой адьюнктурой связался, вообще из Москвы никуда не уезжал. Так что, даже не плохо слегка проветриться.

Прихожу домой, начинаю собираться. Полотенце там, щетка, мыльница, как в песне поется.

В справочном узнаю, когда поезд на Казань, и готовлюсь отойти ко сну. Вдруг телефонный звонок.

Слышу: — Василий Лукич! Здравствуй, дорогой! Как здоровьице?

Узнаю: засранец один, в моей бригаде работал. Невесть откуда его к нам перевели младшим лейтенантом. Все дела, которые ему тогда можно было доверить — это мне шинель подавать и по телефону отвечать: «Товарищ полковник на совещании».

Я, когда в академию ушел, слышал, что он в гору пошел при Рюмине и лично участвовал в аресте Абакумова. Так что решил, что ему точно крышка. Оказалось ошибался. Совсем даже наоборот. Все начальство — прямое и непосредственное — к стенке поставил, а сам вынырнул на белый свет уже с двухпросветными погонами.

— Узнал,— бурчу я,— что случилось?

— Да ничего не случилось,— отвечает он,— зашел бы к нам завтра часиков так в одиннадцать... На седьмой подъезд. Я пропуск спущу. Договорились?

— Завтра не могу,— говорю я,— в командировку уезжаю...

— Знаем, знаем,— смеется он,— послезавтра поедете. Ничего страшного.

Прихожу назавтра я, как мне было сказано, к седьмому подъезду. Встречает меня, улыбается:

— Давно не виделись, Василий Лукич. Пополнили вы что-то. А так молодцом!

Раньше он меня только «товарищ полковник» осмеливался называть, а тут фамильярничает дальше некуда!

— Ладно на комплименты исходить,— раздражительно сказал я,— зачем вызывали?

— Упаси Бог,— говорит он,— чтобы я такого человека, как вы, осмелился побеспокоить. Человек я еще маленький. А вызывает вас лично Иван Александрович, у которого я сейчас порученцем состою.

Иван Александрович — это генерал армии Серов, который в те годы «конторой» нашей заведовал. Я его еще с довоенных лет помню. Переведен был в органы из артиллерии, поскольку не хватало расстрельных команд в тридцать седьмом году. Одной такой командой он еще лейтенантом три года командовал и начальству приглянулся. Маршал Жуков в нем души не чаял и сделал его представителем органов сперва при своем штабе, а затем и половины Германии. Вдвоем они половину Германии к себе на дачные участки вывезли. Абакумов хотел их тогда разоблачить, да не успел. А когда хозяина не стало, Жуков взял себе министерство обороны, а Серов — нашу контору, а заодно и ГРУ.

Сам понимаешь, когда такой человек вызывает, всегда озноб по коже. Власть у них такая невероятная, что может прямо в своем кабинете шлепнуть — и ничего. За ноги оттащат в подвал и кремируют. А надо — и живым в печку сунут, чтобы вину успел осознать.

Впрочем, утешало то, что для такой процедуры меня вовсе не обязательно было на самый верх вызывать. Тот же «шестерик», что мне по телефону звонил, мог меня прямо дома оприко-довать. Тем более, что я один живу.

Ну, ладно. Заводит он меня в приемную: «Подожди здесь!»

Сам шаст за дверь. Через минуту примерно голову высовывает и показывает кивком — проходи мол.

Вхожу.

Генерал Серов в старом абакумовском кабинете сидел. Только у Виктора Семеновича портрет Сталина был во весь рост, а у нового — портрет и бюст Никиты Сергеевича.

Я, конечно, по всей форме рапортую:

— Товарищ генерал армии, прибыл по вашему приказанию!

А он из-за стола выходит и навстречу мне с протянутой рукой.

— Очень рад видеть вас, полковник! — говорит, — много наслышан о ваших делах. Будь моя воля, никогда бы вас в резерв не отпустил...

«А шлепнуть бы приказал», — думаю я.

— Садитесь, садитесь, полковник, — продолжает генерал, — курите, если хотите. Расскажите про свое житье-бытье. Не скучаете ли? Потерпите немного. Скоро вернем вас в строй. Мы золотыми кадрами разбрасываться не должны. Как вы считаете?

Я, конечно, помалкиваю. Уж коли я — «золотой кадр», то и говорить мне нечего. Незачем. Золото — оно всегда золото.

Усадил меня Серов за столик, а сам напротив присаживается. Вздыхнул я, вспомнив, как за этим же самым столиком Абакумов покойный со мной последний раз откровенничал перед арестом.

Понял генерал мое настроение и говорит:

— Знаю, бывал ты уже не раз в этом кабинете, Василий Лукич. Я специально ничего здесь не меняю, хоть и не дружили мы с Виктором Сергеевичем, царство ему Небесное, но это был человек. Дело знал. Помянем его, Василий Лукич!

И наливает две рюмки какого-то зеленого ликера.

Кабы не этот тост, никогда бы пить не стал. Отказался бы. Но память Виктора Семеновича решил почтить. В старые бы времена мучеником бы его прославили, а может, канонизировали как святого. При Сталине ведь его арестовали, а при Хрущеве — шлепнули.

— Не знал? — обратился Лукич ко мне, прервав рассказ,— ты многое еще не знаешь...

Василий Лукич помолчал немного. Я ему чаю его любимого холодного налил, сахарок ложечкой размешал, чтобы не отвлекался он, и жду, не дышу.

— Значит, помянули мы Абакумова,— продолжал Василий Лукич,— убрал генерал Серов бутылку, снова ко мне подсаживается и говорит:

— Слышал, ты, Василий Лукич, в Казань собрался?

— Да,— кивнул я,— в командировку меня туда посылают от общества «Знание». Лекции читать.

— Хорошее дело,— соглашается генерал,— я бы тоже с удовольствием лекции народу читал, коль было время. Но нет времени, Лукич. В этом кабинете и работаю, и живу. Сплю на старом диване, что от Игнатьева остался. Понимаешь?

Как тут не понять. Ясное дело, что времени нет.

— А потому,— продолжает генерал,— уж, коль ты в Казань собрался, то не мог бы заодно маленькую нашу просьбу выполнить? Дело-то совсем пустяковское, но ты сам поймешь, что кроме тебя его по нынешним временам и поручить некому. Из-за деликатности самого дела. Ты, Василий Лукич, уже столько всякого знаешь, что если еще немного чего узнаешь, не страшно. А новые допуска открывать — сам знаешь какая морока! Да и людей подходящих где возьмешь? Вы, Василий Лукич, смену себе не подготовили, а если кого и успели чему научить, то этих товарищей пришлось, к сожалению... Сам понимаешь.

— Да, пожалуй, вы правы, товарищ генерал,— говорю я, совсем освоившись,— по деликатным делам никого более и не сыскать. Всю службу я только деликатными делами и занимался: то Ленина в зоне стерег, то Гитлера в Москву возил, то сразу трех Сталиных допрашивал по золотым часам...

— Тихо, тихо,— подскочил Серов и рукой на стены показывает,— что это тебя, Лукич, понесло? О твоих делах никто права не имеет знать. Даже я такого допуска не имею, а если имею, то только по должности. Так вот: нынешнее дело, конечно, не такое масштабное, как твои прежние дела, ибо все мельчает и деградирует в этом мире. И не очень даже, скажу тебе честно, интересное. Заключается дело в следующем. В Казани сейчас проживает после отбытия срока и реабилитации сын Сталина Василий. После известных

тебе, Лукич, событий пятьдесят третьего года, Василия Иосифовича пришлось посадить за очень странное поведение. Речь идет не о том, что он повсюду орал об убийстве своего отца, а о том, что он по непонятным причинам почему-то считал себя наследником чуть ли не престола, претендуя быть вождем советского народа, а также партии и правительства. Если бы товарищ Сталин принял решение сделать свою власть наследственной, он бы оставил необходимые документы, проведя их либо через съезд, либо через партконференцию, либо хотя бы через Президиум ЦК. Но, поскольку товарищ Сталин никаких подобных документов не оставил и даже этого вопроса не поднимал, то все претензии Василия Иосифовича были найдены необоснованными и провокационными. А потому было принято решение изолировать его от общества под предлогом ложного доноса на маршала авиации Новикова. Когда же Василий Иосифович несколько успокоился («и окончательно спился», — добавил я про себя), было высказано мнение о возможности его освобождения и даже возвращения воинского звания на предмет выплаты соответствующей пенсии. Так и поступили, избрав ему для проживания город Казань.

Пока генерал не сказал мне ничего нового. Все это я и без него знал и даже больше.

Между тем генерал Серов придвинулся ко мне ближе и, понизив голос, продолжал:

— Нам удалось выяснить, что после окончания Василием летного училища, товарищ Сталин подарил ему именную пистолет системы «браунинг»

номер два. Есть версия, что на небольшой серебряной дощечке, вделанной в рукоятку пистолета, говорится, что подарок — в честь окончания училища.

Генерал перешел на шепот:

— Но есть версия, что именно из этого пистолета товарищ Сталин... это... того... свою жену Надежду Алилуеву. Понимаешь? И сыну подарил этот пистолет вовсе не в честь окончания училища, а в назидание после какого-то очередного пьяного безобразия. Мол, как с твоей мамашей поступил, так и с тобой поступлю, если не образумишься. И даже на именной пластинке якобы написано: «Помни о маме!» Так вот, Лукич, этот пистолет надо у него отобрать.

— А почему этот браунинг у него не отобрали, когда он срок получил? — спрашиваю я, удивляясь.

— Прохлопали товарищи,— генерал только руками развел,— все что могу сказать. Преступная халатность — других слов нет. Понесли уже заслуженное наказание.

Генерал провел рукой по горлу.

— Мы до недавнего времени вообще об этом пистолете не знали ничего,—признался он,— и не узнали бы, наверное, если бы Василий Иосифович не стал этим браунингом в кабаках казанских размахивать в пьяном безобразии, произнося в адрес вождей партии и правительства угрозы.

— Неужели? — изумился я.

— Представьте себе,— скорбно подтвердил свои слова генерал Серов,— вы как товарищ проверенный имеете право знать, что гражданин

Джугашвили не постеснялся сказать, что этой самой рукой, из этого самого пистолета он лично застрелит нашего дорогого Никиту Сергеевича! Согласись, Лукич, что на подобные заявления мы не можем закрывать глаза.

— А почему изъятие пистолета нельзя поручить местным товарищам? — поинтересовался я.

— Ну, Лукич,— протянул генерал,— ты меня удивляешь. Это же сын Сталина все-таки. Никто не имеет право с ним на подобные темы беседовать. Это что же получится, если у наших детей любой милиционер сможет отобрать что угодно,— только специально отобранные люди и то в исключительных случаях. Так что, когда будешь изъятие проводить, все должно быть в рамках созаконности...

— С понятыми? — спрашиваю я.

— Все, кто с тобой работал,— засмеялся генерал,— всегда отмечали в тебе здоровое чувство юмора. Без юмора в нашей работе нельзя. Но сделай все вежливо, по-хорошему. Понимаешь?

— А если по-хорошему не получится,— интересуюсь я,— тогда как действовать прикажете?

Серов широко улыбнулся: «Ну, что мне тебя учить, Василий Лукич? Действуй по обстановке, но без пистолета не возвращайся».

2

В общем, приехал я в Казань. Иду в общество «Знание» командировку отметить. Там удивляются: «Мы вас,— говорят,— не вызывали. У нас для своих плановой нагрузки не хватает».

«Ну, не вызывали, так не вызывали, отвечаю, командировку отметьте завтрашним числом. Хочу по городу погулять. Никогда не был раньше».

И иду по указанному адресу.

Еще издали заметил милиционера в парадной и понял, что иду правильно. Не знаю, что там с моим лицом произошло за годы службы, но, хотя я был, конечно, в штатском, милиционер, как меня увидел, вытянулся, руку под козырек, представился и спрашивает: «Какие будут приказания?»

— Вольно! — говорю я, — дома?

— Так точно, — отвечает постовой, — отдыхают они.

Я этого постового позднее, лет через семь, случайно повстречал в одной из наших контор в полковничьих погонах. Значит, тогда был не ниже майора. Это так, к слову.

Звоню я в квартиру. Открывает сам Василий Иосифович. В армейском френче без погон, в галифе и тапочках.

— Чего надо? — говорит. — Кто разрешил?

— Поговорить надо, — отвечаю, — постовой внизу разрешил.

Он на меня так внимательно посмотрел и заулыбался.

— А тезка! — память у него на лица была потрясающая, — все за «Динамо» выступаешь? В чине-то каком?

— Полковник, — отвечаю, — скоро уже пятнадцать лет, как в полковниках хожу.

— Потому что сам дурак, — бормочет Василий Иосифович и ведет меня в комнату, — послушался

бы тогда меня, перешел бы в ВВС, был бы уже генералом, как я...

В который раз Василий Лукич вводит меня в сильнейшее изумление, и я прерываю его вопросом:

— Какое «Динамо», Василий Лукич? Вы что, спортом занимались?

— В шахматы играл на первенство Москвы,— улыбается Лукич,— под псевдонимом. Правда, все знали кто я такой, и выигрывать у меня не осмеливались. Особенно евреи, которых было процентов девяносто пять. Но я и по-честному в силу мастера тянул.

— Так где же вы при вашей профессии научились так в шахматы играть, Василий Лукич? — спрашиваю я.

— А что тебя это удивляет? — смеется он,— не похож я на мастера спорта по шахматам?

Я смущаюсь и бормочу что-то невразумительное, что, мол, всегда представлял себе шахматных мастеров несколько иначе. И вообще, по моим расчетам Василию Лукичу просто некогда было научиться играть в шахматы. Ведь биография такая... Малограмотный крестьянин по рождению, с шестнадцати лет в ГПУ, до войны в ГУЛАГе комендантом проработал, а там война, академия, адъютанта и все сопутствующие события совсем не стимулировали штудирование шахматных учебников.

— Вот дурак,— немного обиженным тоном говорит Василий Лукич,— ты знаешь у кого я шахматным премудростям учился? У самого

Ильича, когда тот у меня в зоне сидел. Мы с ним бывало все вечера сидели за доской. Это, я тебе доложу, был игрок. Если бы политика его не сгубила, точно стал бы чемпионом мира. Он разработал тактику так называемой «пролетарской защиты» и меня научил. Как сейчас вижу: он пальцы за жилетку засунет, ходит по камере, рукой на шахматную доску показывает и говорит: «Пешки, батенька, представляют из себя передовой авангард мирового пролетариата, а потому подлежат поголовному истреблению. Нынешние правила игры весьма несовершенны, поскольку каждому игроку надо дать право истреблять не только фигуры противника, но и свои собственные. Вот тогда и наступит мировая революция!.. Гениальный был человек!

У меня голова идет кругом, я перестаю что-либо соображать и прошу Лукича не рассказывать мне больше о теории шахмат, а продолжить про свой визит к сыну Сталина в Казани.

3

Василий Лукич замолчал, прикрыл глаза и откинулся в кресле, погрузившись в воспоминания.

— Лукич,— заикаясь от волнения, спросил я,— скажи честно: это ты Василия Сталина замочил?

Глаза старого чекиста широко открылись.

— Ты совсем ошалел,— возмущенно ответил он,— с какой радости мне было его убивать. Пистолет он мне сдал. Да и полномочий у меня таких не было...

— Но ведь генерал Серов, отправив тебя в Казань, сказал, что...— пытаюсь напомнить я.

— Таковую чушь нести может только такой сопляк, как ты, ничего не понимающий в структуре и методах нашей конторы,— прерывает меня Василий Лукич.— Ежели его нужно было убрать, то со мной бы послали специального товарища-ликвидатора. В те времена на Лубянке целый отдел ликвидаторов от безделья пух. Это были, я тебе скажу, специалисты. Как фокусники. По ладошке тебе пальчиком проведет — и ты уже покойник. А мне бы такого дела никто и поручать не стал бы. Все знали, что я в таких делах ничего не смыслю. За всю службу, включая войну, никого не убивал. В молодости, когда глупым был совсем, помнится, у самого Менжинского просился в расстрельную команду, чтобы собственной рукой врагов трудового народа пускать в расход. Да он, спасибо, не разрешил. «Мы тебя, Вася, для другого готовим. А убивать начнешь, мигом чутье потеряешь!»

— Какое чутье? — ошалело спрашиваю я.

— Не знаю,— бурчит Василий Лукич,— неудобно было тогда спрашивать. Классовое чутье, наверно... А у ликвидаторов зато служба шла легко. Сегодня он сержант — командир расстрельного отделения, а завтра, глядишь, уже и генерал, заправляет целым управлением. Того же Серова возьми. Я вообще не заметил, как он из командиров расстрельного взвода в генералы армии вышел. Как в сказке...

— Так за что все-таки сына Сталина ликвидировали? — допытываюсь я.— Чего они испугались? Он же прав на власть никаких не имел. Он, по-моему, даже членом партии не был. Или

Иосиф Виссарионович, не убери вы его вовремя, хотел себя лет через пять императором провозгласить, а Василия объявить кронпринцем?

— Не думаю,— покачал головой Василий Лукич,— зачем Сталину было объявлять себя императором, если он уже был генералиссимусом. Кто такой генералиссимус? Это военный диктатор страны. А выше генералиссимуса уже только Всевышний. Больше никого нет. Нет, я думаю, что Сталин другое в мыслях держал. Яша мне кое-что после смерти хозяина рассказывал. Да и сам я кое-что знал.

— Что за Яша? — интересуюсь я.

— Яша,— переспрашивает Лукич,— это повар Сталина. Самый близкий ему человек. Сталин, даже прежде чем себя каким-нибудь орденом наградит, Яшу сначала награждал. У Яши четыре ордена Победы было. Сталин, бывало, Жукову говаривал: «Вот у нас с тобой по два ордена Победы, а у Якова — четыре. Учись!». А уж разных орденов помельче у Яши было ящика два, поскольку, как Сталин какого маршала награждал, так обязательно и Яше такой же орден. Чтобы маршалы о себе много не подумали.

— А где Яша сейчас? — еле дыша, спрашиваю я.

— Помер уже,— отвечает Василий Лукич,— а большой человек был. Только Матрене Ивановне, что в Кунцево двойниками занималась, может и уступал. Так вот, он мне рассказывал, что была у Сталина мысль, как и у генералиссимуса Франко. Даром, что оба были генералиссимусы, мыслили одинаково. А может, кто у кого и украл. Не

знаю. Мысль эта заключалась в том, чтобы поправить страной при жизни, а после смерти восстановить законное правление.

— Не понимаю,— сглотнул я слюну, икнув,— какое такое законное правление? Когда оно в нашей стране законным было?

— Экий ты дурак,— усмехнулся Василий Лукич,— а еще историком себя полагаешь! Вот смотри на примере Франко, чтобы тебе понятнее было. Происходящее у других нам всегда понятнее, чем то, что творится под собственным носом. В 1931 году, как тебе, наверное, известно, там свергли монархию, устроили революционные игры, которые затем, пропуская многие общеизвестные события, привели к диктатуре и многолетней власти генералиссимуса Франко. Но Франко, свергнувший коммунистическую диктатуру, о своей собственной диктатуре тоже был не очень высокого мнения. Понимал, что так жить нельзя. То есть, можно, конечно, но долго не проживешь. Одни сидят, одни висят, остальные — трясутся, на такой основе современное государство существовать не может. Сначала обнищает, потом в долги залезет, незаметно станет колонией. Поэтому Франко завещал вернуться к тому, с чего весь этот бардак начался,— к конституционной монархии. Ну, потеряли в развитии пять—десять лет. С кем не бывает. Но пути вперед нет — глухой тупик. Или ложись и помирай, либо возвращайся на то место, где ты на этот тупиковый путь свернул. Выбора нет. Возвращайся и иди дальше, пытаясь догнать остальные страны, которые за то время, пока ты

бился башкой об этот самый тупик, ушли уже далеко вперед. А потому генералиссимус решил восстановить власть, которая худо-бедно, но вела Испанию по пути мирового прогресса без кровавых гражданских войн и произвола политической полиции. Для этой цели покойный Франко пригрел около себя одного из принцев свергнутого королевского дома — Хуана-Карлоса. Сначала все это делалось в обстановке абсолютной секретности, затем по этому вопросу дали несколько продуманных «утечек» для проверки реакции внутри страны и в мире, а потом стали действовать совершенно открыто. В результате: Франко помер, на престоле Испании восседает Хуан-Карлос, расцвет демократии, экономический прогресс, всенародное счастье и обожаемый монарх. В Вашингтоне рыдают от счастья, и даже Москва устанавливает с Испанией дипломатические отношения.

Гитлер ведь тоже на этот счет размышлял и выдавал принцам Гогенцоллерам золотые партийные значки. Но не успел, поскольку был неукротимым романтиком и, как всякий романтик, быстро был выгнан за кулисы суровыми практиками. Ну, толково я тебе все объяснил?

— Может и толково, — пожал плечами я, — но только я все равно ничего не понял. О Франко это я и без вас знал, Василий Лукич. Все газеты об этом писали. Но Сталин и его сын причем тут?

— А притом, — пояснил Василий Лукич, — что товарищ Сталин, кто бы его для нас не избражал, тоже дураком не был и понимал, что жить так, как они с Лениным придумали, тоже

долго нельзя, но и рвать когти некуда. До смерти придется потерпеть. А на потом наш великий генералиссимус удумал то же самое, что и его испанский коллега — Франко. То есть восстановить в стране монархию в том виде, в каком она у нас последние годы существовала: конституционная монархия при самодержавном монархе. У нас, в России, ты же сам знаешь, все немного через задницу.

— Ну, ты даешь, Лукич! — невольно вырывается у меня.— Ты что — вообще?!

— Не таракти! — смеется ветеран,— смотри, что сейчас в стране происходит? Прошедших семидесяти лет как бы и не было. Все оборванные ниточки: общественно-политические, экономические, военные, духовные и так далее пытаются связать с тем, что существовали до 1917-го года. Потому что семьдесят советских лет ничего не дали, кроме гор дерьма и океанов крови. Значит, хочешь не хочешь, а надо возвращаться к тому месту, где мы свернули в марксистско-ленинский тупик...

— Это все понятно,— соглашаюсь я,— я даже готов предположить, что товарищ Сталин все это, как его друг генералиссимус Франко, хорошо понимал, страдая за судьбу отчизны, хотя это и очень сомнительно. Но у нас же положение было совсем другое, чем в Испании. Там король Альфонс XIII вместе со всем августейшим семейством удрал за границу и преспокойно проживал. Франко выбрал принца потолковее, сам его воспитал в лучших традициях европейско-американской демократии...

— Добавь к этому,— продолжил Василий Лукич,— что принц Хуан-Карлос тоже закончил летное училище, прежде чем...

— Летное училище? — бестолково переспрашиваю я.— Причем тут летное училище? Я вообще ничего не понимаю. У Франко было кого опекать для восстановления монархии. Вся королевская семья жила за границей. А у нас? Каждому школьнику известно, что последнего царя и всю его семью уничтожили в Ипатьевском доме.

— То, что известно каждому школьнику,— глубокомысленно заметил Лукич,— всегда на поверку оказывается полной чепухой. Никто их и не думал уничтожать. Жили они себе преспокойно под Москвой. Под арестом, правда, но не так уж плохо. Царица только умом тронулась позднее, так ее в мою зону перевели. С правом переписки. Я же тебе об этом рассказывал. А у тебя в одно ухо влетает, из другого вылетает, а в голове ничего не задерживается.

— Да, нет,— оправдываюсь я,— помню я, как вы мне об этом рассказывали, когда мы по монастырю гуляли. Только думал я, Василий Лукич, что вы шутили...

— Хороши шуточки! — заворчал старый чекист,— такими вещами, братец ты мой, не шутят. Я тебе больше скажу: моя зона и место, где царскую семью держали, в сущности тоже зона, структурно считались одним подразделением с общим командиром. Так я там на партучете состоял и ездил туда на все партсобрания, взносы там сдавал, ну и многое другое. Так что я их всех видел, как тебя сейчас.

Я молчу, совершенно раздавленный информацией, обрушившейся на меня глыбами разваливающегося сознания.

— Как-то,— продолжает, не глядя на меня, Василий Лукич,— приехал я туда, дай Бог памяти, кажется году в двадцать четвертом. Или позднее? Точно позднее, потому что Владимир Ильич уже у меня сидел. Как раз по его делу и приехал, ходатайствовать, чтобы ему разрешили иметь в камере полное собрание собственных произведений. Мы у себя на партактиве обсудили и решили, что следует удовлетворить. А теперь должны были провести решение первичной партячейки через закрытое партсобрание подразделения.

Приехал я, значит, гляжу какой-то пацаненок по зоне бегает. Лет пяти. Я тамошнего опера спрашиваю: «Это еще кто такой у вас прижился?» Зона-то сверхсекретной числилась. А опер мне отвечает: «Тебе по секрету скажу, Лукич. Это сын царевича». У меня глаза на лоб полезли от удивления. «Как так, спрашиваю, царевича? Он же сам еще пацан». «Хорош пацан! — говорит опер.— Скоро двадцать один год будет. Плох он, правда, сейчас. Не встает. Врачи говорят, что скоро помрет». Мне бы заткнуться, а я спрашиваю: «Так сын-то как образовался?». Опер вздохнул и отвечает: «Не спрашивай ни о чем, Василий. Здесь такое творилось при старом коменданте, что и не поверишь! Не знаю, как все это вообще расхлебать удастся. А ты больше не любопытствуй, поскольку у меня есть приказ всех любопытствующих собственной рукой

пускать на распыл!» И хлопает себя по крышке маузера.

Ладно, думаю. Своих тайн хватает, чтобы еще в другие залезать. Провели мы партсобрание. Приняли решение: просьбу заключенного удовлетворить. Я немного в штабе задержался, ожидал, пока протоколы собрания мне отпечатают в двух экземплярах, как положено. Собираю потом свои монатки и готовлюсь покинуть объект.

Сам объект на острове находится посреди озера в каком-то бывшем старорежимном особняке. На тот берег, где внешняя охрана стояла и коней наших стерегла, лодка ходила, обычная, весельная. Я, значит, из штаба выхожу и иду к берегу. Вдруг мне на встречу этот пацан бежит. Ко мне подбегает, головушку задирает и спрашивает:

— Тебя как зовут?

— Вася,— отвечаю.

— И меня,— говорит он,— Васей зовут.

— Значит, тезки мы,— улыбаюсь я,— а ты чей будешь?

Вечно у меня так. Ведь знаю, что нельзя спрашивать, а все равно спрашиваю.

— Я,— важно сообщает малыш,— сын товарища Сталина.

«Ничего себе,— думаю,— влип. Еще сейчас папаша появится, стой потом, моргай глазами».

— Ну, вот и познакомились,— говорю я ребенку, а сам хочу его обойти и исчезнуть.

Вдруг появляется женщина, молодая лет двадцати пяти не больше. Мне показалась красавицей.

«Вася, кричит,— куда ты опять убежал. Иди сюда, мы скоро домой поедem».

Увидела меня, головой кивнула приветливо и говорит: «Извините, пожалуйста. Вечно бегают, людей от дела отвлекает». И берет малыша на руки. А он ей лопочет: «Мама, мама...»

Тут я ее и узнал. Ну, конечно же, это жена Сталина — товарищ Надежда Аллилуева! Я понаслышан был, что товарищ Сталин этот объект посещает, но не знал, что и членов семьи сюда привозит.

Ладно, думаю, не мое это дело? Руку к козырьку приложил и к лодке. Чтобы ей в голову не пришло фамилией моей поинтересоваться. А у самого в мыслях: «Если это сын товарища Сталина, то почему опер сказал, что это сын царевича. Как это понимать?».

Может, у Ленина спросить вечером за шахматами? Тем более, что мы просьбу его — иметь в камере собственные сочинения — удовлетворили.

И отом решил этого не делать. Еще настучит, потом неприятностей не оберешься. В итоге плюнул я на это дело. Зачем, думаю, мне все это выяснять? Что мне положено знать, я итак узнаю.

А потом столько всякого понакатило, что я вообще об этом думать забыл. Правда, снова как-то на объекте спросил у опера, не удержался: «А пацан-то этот где, что в тот раз по зоне бегал?». Опер на меня своими холодными глазами смотрит, как перед приведением в исполнение, но улыбается: «Не было никакого пацана, Лукич. Померещилось тебе. Понял?».

«Понял»,— отвечаю.

Что же тут непонятного? Все понятно. «Доведет, думаю, тебя Лукич, твой язык до высшей меры». Но снова обошлось.

Много лет прошло. Как-то, когда я уже в академии учился, а параллельно выполнял разные деликатные поручения командования, пришлось мне Яшу-повара сталинского допрашивать. Как-то после одного обеда схватило у Сталина живот, и он тут же приказал Яшу арестовать, чтобы выяснить по чьему приказу тот хотел его отравить.

Начальник мне говорит: «Его по высшей мере оформить хотят. Но ты поработай с ним немного, до “вышака” не доводи. Может, хозяин о нем и забудет. Яша — человек хороший. Я и сам знал, что Яша не только хороший человек, но главное — наш человек. Тем более, что к нам он попадал уже не первый раз. При Яшином положении при Сталине, можешь себе представить, сколько у него было завистников и врагов, которые постоянно нашептывали вождю, что Яша хочет его отравить или извести с помощью колдовства.

Нам даже однажды было приказано проверить Яшу на предмет «не колдун ли он». Методик на этот счет никаких не существовало, а из старых книг было известно, что иначе, как на дыбе с огнем, колдуна не распознать. Конечно, в те времена электричества не было. Мы запросили Лаврентия Павловича, можно ли с помощью тока распознать колдуна, но пока запрос ходил по инстанциям, Сталин сам к нам позвонил и поинтересовался: «Вы там Яшу моего, часом, не

расстреляли?». «Нет, нет,— говорим,— не волнуйтесь, Иосиф Виссарионович. Жив и здоров Яша ваш... Что прикажете?». «Чтобы завтра в Кремле был и к обязанностям приступил». Видимо, пока Яша у нас сидел, сам вождь сидел на сухомятке, так как Яше замену никак найти не могли. Никто в мире такие харчо, чанахи или сациви, как наш Яша, делать не умел.

На этот раз приводят Яшу ко мне. Он статный такой был, из себя важный, в кителе и погонах генерал-лейтенанта. Сталин все обещал сделать Яшу генерал-полковником, но не успел.

— Ну что,— говорю,— Яша, опять ты вождя отравить хотел? Сознаться! На кого работал?

Обычно мы после такого вопроса вместе посмеивались, но Яша тут смеяться не стал, вздохнул и говорит:

— Скоро всем нам, Лукич, конец. Совсем плох стал Иосиф Виссарионович. Завещание пишет. Поскребышева посадил, диктовать некому, а сам долго писать устает. Вызвал меня. Говорит: «Яков, пиши, я тебе диктовать буду». А я-то порусски совсем плохо пишу. И спрашиваю: «Погрузински можно, Иосиф Виссарионович?». «Нет,— отвечает он,— нельзя по-грузински. Потому как буду диктовать тебе, Яков, свое завещание». «Да что же вы,— говорю,— Иосиф Виссарионович, помирать никак собрались? Завещание-то зачем?». «Помирать — не помирать,— нахмурился Иосиф Виссарионович,— а нужно подумать о переходе власти в новое русло. А то получится, как с Ильичем. Пропал и никаких указаний дать не успел. Хорошо, что я на месте

оказался. А если бы меня не было?». И диктует мне: «Пиши: страница 4. Написал? Пиши дальше: таким образом, является законным наследником правящей династии и моей семьи, а потому должен короноваться, согласно традиции и соответствующего решения ЦК ВКП(б) в Успенском соборе Кремля, становясь одновременно Императором Всероссийским и Генеральным секретарем партии. С новой строки». Я на него удивленные глаза поднимаю, и, черт меня дернул спросить: «Кого это вы, Иосиф Виссарионович, императором хотите назначить? Не Кагановича ли часом?». Он трубку потухшую пососал и спокойно так говорит: «Не русский ты, Яша, человек. И нас, русских, тебе, нацмену, не понять... Иди вон. Я сам буду писать». А среди ночи за мной пришли и на Лубянку отправили. Меня аж пот прошиб.

— Нет,— говорю я,— Яков, не буду я твой бред протоколировать... А то потом беды не оберешься. Сейчас машину вызову и отправлю тебя на дачу Лаврентия Павловича. Живи там, пока хозяину снова не захочется харчо покушать.

Иду к своему начальнику, тому что меня из академии вызвал Яшу допрашивать, а он кабинет из угла в угол нервным шагом измеряет.

— Ну, что он тебе сказал? — спрашивает,— про коронацию говорил?

Я ему докладываю, что от Яши узнал.

— Я так понимаю,— мрачно говорит начальник,— что хочет товарищ Сталин стать на старости лет императором. Потому и затеял эту кампанию по борьбе с безродным космополитизмом.

Задумка хорошая: соединить русский национализм с учением Маркса и Христа. А до этого всех членов Политбюро расстрелять от греха подальше.

— Зачем? — удивляюсь я, — они и не пикнут. Что прикажут, то и сделают.

— Ты в академии, Лукич, — усмехнулся начальник, — от жизни отстал. Так могут пикнуть, что всю Москву придется танками перепахать. Иди, Лукич, пиши свою диссертацию дальше. Сиди тихо.

Ушел я и думаю: «Убьют же они старика, как пить дать, а завещание в сортир выкинут». Тогда снова и вспомнил ту сцену, что наблюдал я на спецобъекте в молодости. Но окончательного вывода еще сделать не мог. А вот, как увидел надпись на рукоятке того игрушечного браунинга, так все мне сразу ясно стало.

— Не знаю, что тебе ясно стало, — говорю я, — но из того, что ты мне рассказал, Василий Лукич, я ровным счетом ничего не понял.

— Ну, уж, извини, — развел руками Василий Лукич, — коли ты такой тупой, то чем я тебе могу помочь?

Я действительно был слишком тупым для восприятия невероятных рассказов старого чекиста. Голова у меня гудела, пытаюсь соединить те обрывки нитей, которые Лукич выдернул из запутанного клубка нашей новейшей истории. Царская семья, Надежда Аллилуева, продолжение династии, сын товарища Сталина, сам товарищ Сталин, стремительно впадающий в безумие на

старости лет, Василий Лукич и его начальство игрушечный браунинг с именной пластинкой и профилакторий особого назначения, именуемый крематорием...

А Василий Лукич, немного помолчав, задумчиво произнес:

— Можно понять товарища Сталина. Он сделал все, что мог. Он пытался дать Василию такое же воспитание и образование, какое всегда получали принцы в Европе: летное училище, академия Генерального штаба, университет. Но во всех этих учебных заведениях его удалось научить лишь пить водку и руководить хоккейной командой. Хоккейную команду Василий Иосифович погубил, а водка, в свою очередь, погубила его и династию. Так что напрасно товарищ Сталин пожертвовал своей женой.

ЗАВЕЩАНИЕ СТАЛИНА

Я так и не научился понимать, когда Василий Лукич говорит правду, когда — нет, а когда просто меня дурачит, пользуясь моей легковерностью и полным отсутствием информации. Частенько меня раздражает моя беспомощность, когда я, открыв рот от удивления, выслушиваю рассказы о событиях, которые по всем меркам здравого смысла, должны были бы считаться за предельными.

Нутром я понимаю, что в нашем уродливом и сверхзакрытом обществе могло произойти все, что угодно,— даже самое невероятное. Приснилось же солдату Чонкину, что Сталин был женщиной.

— Нет,— смеется Лукич,— это уже перебор. Женщиной он, конечно, не был. Но был ли мужчиной — тоже неизвестно. Когда-нибудь расскажу тебе занятную интимную историю, которую поведала мне одна красавица. Пришлось ей пересечься на своем жизненном пути с Лаврентием Берией. А тот спьяну наговорил ей такого, что бедняге от избытка знаний пришлось менять не только свои анкетные данные, но и внешность. Хотя она и говорила, что самого товарища Сталина никогда не видела.

— Василий Лукич,— спрашиваю я,— а ты сам-то Сталина когда-нибудь видел?

— Нет,— признается Лукич,— живым не видел. Двойников его видел. Всех троих. Я тебе, помнится, рассказывал. А самого, если он, конечно, существовал,— не приходилось. Да и никто толком сказать не мог — видел он его самого или нет. Даже Виктор Семенович Абакумов этого не знал. Он раз в месяц с личными докладами к нему ездил. Но ездил — в Кунцево. А там настоящего Сталина никогда не было. Двойники были там всегда, а сам Сталин — не бывал. Значит, докладывал министр госбезопасности какому-нибудь из двойников, кто в тот вечер дежурил на объекте.

Рассказывает вот такие вещи Лукич да еще и подсмеивается. И не понять — над кем смеется,— над министром ли, надо мной ли, над всей ли объективной реальностью, не данной нам, вопреки утверждениям Ильича, в ощущениях.

— А Поскребышев? — злюсь я то ли на Лукича, то ли на нашу страшную историю,— Поскребышев при ком состоял?

— Поскребышев,— хохочет ветеран,— он при ком прикажут, при том и состоял. Тоже нашел пример! Поскребышев умом тронулся еще до войны, когда однажды сразу двух Сталиных в кабинете застал. Пересменка у двойников была. Упал на колени Поскребышев, да так на коленках из кабинета и выполз. Хотели его в тот же день расстрелять, но он ухитрился больничным взять. Выполз за дверь — и сразу в телефонную трубку: «Егоров, твою так! Больничным на три

семидневки. Как кому, твою так? Мне! И себе! Да! Да!». А когда человек на больничном, его расстреливать нельзя. Это во времена Ленина всякие перегибы случались, а в сталинские времена было строго. Нарушать соцзаконность никто права не имел. А пока Поскребышев на больничном сидел, об этом деле и забыли. В те годы главное было — не попасть кому-нибудь под горячую руку. Народ у нас отходчивый, сам знаешь. А начальство — все из народа.

Помню, пожаловал как-то к нам сам товарищ Шкирятов из ЦК. Идет по лестнице — в лифте ехать не захотел — видит: пыль на перилах. Как заорет вдруг: «Кто здесь убирает? Что за безобразие такое? Почему пыль?». Генерал ему докладывает, что убирает лестницу тетя Даша — ветеран революции и гражданской войны. «Арестовать! — кричит товарищ Шкирятов. — И немедленно расстрелять! Издать приказ по Управлению. Расстрелять перед строем начальствующего состава!» Где это, в какой стране было видано, чтобы уборщиц перед строем офицеров расстреливали? Видишь — почет какой тете Даше хотел устроить!

Но тут товарищ Шкирятов на площадку поднялся, где начальственные кабинеты находились. Там зеркало большое было в стену вделано. А справа и слева стояли бюсты товарища Сталина. Одинаковые. Раньше-то там стояли бюсты Ленина и Дзержинского, но после войны решили их заменить на бюсты Сталина. От греха подальше.

Легенда у нас такая ходила. Мол, у Ежова на столе два бюстика стояли: Ленина и Сталина. А

он как-то распсиховался, разоблачая какого-то врага народа, и бюстиком Сталина запустил подследственному в голову. Того унесли на носилках в камеру. Но и бюст вождя при этом вдребезги разлетелся. Подследственный, не будь дурак, тут же на Ежова донос написал, что бьет бюсты вождя. Товарищ Сталин сначала не поверил, что его железный нарком на такое способен. Но тут с другой стороны подоспел донос, что в кабинете Ежова бюст Ленина есть, а бюста Сталина нет. А их полагалось иметь в комплекте. Тут товарищ Сталин сразу понял, что у него наркомом внутренних дел псих сидит, и приказал Ежова расстрелять.

Товарищ Шкирятов, значит, как два бюста Сталина увидел, сразу заулыбался и подобрел. Генерал тут ему и говорит: «Может, не будем тетю Дашу расстреливать? Старенькая она уже». Шкирятов голову вскинул: «Что еще за тетя Даша? О чем вы, генерал?». Генерал тоже удивленно смотрит на Шкирятова: «Это та, которая пыль с перил не вытерла,— напоминает он,— вы ее расстрелять приказали». Товарищ Шкирятов махнул рукой: «Ладно. Вы только лично проследите, чтобы подобного не повторялось. Каждый день буду приезжать, проверять».

Вот так. Недаром он контрольную комиссию ЦК возглавлял. Видишь, дела какие серьезные решал,— ухмыльнулся Лукич и замолчал.

— Сказки ты мне рассказываешь, Лукич,— обижаюсь я,— а я, как дурак уши развесил и слушаю небылицы.

— Ну, это ты, как хочешь,— развел руками

ветеран, — хочешь верь, хочешь — не верь. А я тебе все, как есть, рассказываю. Я эту сцену у зеркала сам наблюдал. Стоял я там и причесывался. Меня как раз в этот день на Лубянку вызвали. Товарищ Шкирятов меня тоже увидел и еще шире заулыбался: «Здравствуй, Василий Лукич! Давненько мы с тобой не виделись». Он у нас в ГУЛАГе до войны начинал, а потом на партработу перешел и быстро пошел в гору. Приглянулся товарищу Сталину. Нравилась вождю его способности точно угадывать курс линии партии на конкретном этапе и точно высматривать тех, кто от этого курса отклоняется хоть на полградуса. Поэтому и возглавил он не что-нибудь иное, а комиссию партийного контроля при ЦК.

Грустные начались времена. Лубянку он просто затерроризировал. Проверка за проверкой. То личные дела ворошат — не обнаружится ли у кого прабабушка еврейка или поповна. Такая кутерьма в те годы была, что просто евреем или попом быть лучше, чем прабабок еврейками или поповнами иметь. Или, не дай Бог, где-то во тьме веков немку или немца среди предков обнаружат.

То по кабинетам ходят — не расходует ли кто зря электроэнергию. То туалеты проверяют — слито ли всё? — и требуют, чтобы сотрудники взяли коллективное шефство над сортирами на своих этажах. Комендант озверел и вообще приказал все сортиры закрыть для ремонта выявленных комиссией недостатков. У кого личные туалеты были, те обходились, а остальные в «Детский мир» бегали нужду справлять. В общем эпоха

борьбы с безродным космополитизмом нервной была, а линия партии металась, как стрелка взбесившегося компаса. Я, хвала аллаху, в адьюнктуре учился и в контору вызывался, как ты знаешь, для некоторых, так сказать, деликатных дел.

Под завесой борьбы с этим самым «безродным космополитизмом» перетряхивался весь парт-аппарат, и чудно было смотреть, как самые важные персоны, которых и «товарищами» страшно было называть, в один момент превращались в ЗК, а то и просто испарялись — как и не было.

Товарищ Сталин просто рвал и метал. Поведился кто-то у него прямо со стола воровать секретные документы. Поскребышева он за это уже в тюрьму отправил, Власика — начальника своей охраны — разжаловал и посадил, всю канцелярию свою по зонам разогнал. Одна осталась при нем Матрена Ивановна, да и та только потому, что неграмотной была.

Тут товарищ Сталин и понял, что никакого партийного контроля в стране нет. Одно жулье. Он, правда, об этом начинал подозревать, еще когда в 1946 году умер академик Богомолец, обещавший вождю бессмертие. Поэтому вождь решил разобраться с товарищем Шкирятовым, который, как я уже говорил, возглавлял комиссию партийного контроля.

В те годы со столь высокими особами разбирались, как правило, двумя способами. Или их посылали в Кремлевскую больницу, или к нам — на Лубянку. И то и другое делалось просто. В первом случае при обычном еженедельном медосмотре врач, замеряя, скажем, давление у пациента,

делал губки «бантиком» и глубокомысленно говорил: «Что-то вы мне сегодня не нравитесь. Вам бы в больницу лечь на обследование». Тут же вызывалась спецмашина, больного везли в «кремлевку», где он под угрозой спецukoла во всем сознавался, после чего получал этот самый укол и отправлялся в крематорий. Преимуществом этого способа было то, что в газетах появлялись некрологи, начинающие словами: «После тяжелой продолжительной болезни...», и урну хоронили у Кремлевской стены. Если же в некрологах говорилось: «Скоропостижно скончался», значит особу отправляли к нам, а урну — в партархив на спецхранение.

Для отправки к нам тоже существовала своя процедура. Если бы его взяли сами, то об этом на следующий день знала бы вся Москва, а значит и весь мир, если миру было это интересно. Поэтому, чтобы подобного не происходило, разработали оригинальную методику. Сановному лицу предлагалось прибыть на Лубянку с целью инспекции нашего ведомства. Или курирования, как нынче любят выражаться. И кто только нас не курировал! И ВЦСПС, и Союз писателей, и Идеологическая комиссия при ЦК. Словом, кому не лень. И уж, конечно, комиссия партийного контроля, возглавляемая товарищем Шкирятовым.

Вот он и прибыл с утра на Лубянку. Ему сигнал был, что там развелась уйма крыс, которые не дают житья всему району. Три забрались даже на памятник Дзержинскому, что посреди площади, и, чтобы прогнать их с железного постамента,

потребовался целый взвод милиционеров. Все это указывалось в сигнале, происходит из-зи страшной антисанитарии, царящей в здании министерства госбезопасности, поскольку там имело место не санкционированное ЦК, а следовательно, вредительское сокращение уборщиц и сантехников. Важнейшее мероприятие по поддержанию здания в чистоте передоверено подследственным внутренней тюрьмы, которые тем самым получили допуск во все режимные помещения. Поэтому товарищ Шкирятов так и разнервничался, увидев пыль на лестничных перилах. И успокоился, только увидев меня около зекрала на площадке третьего этажа.

И напрасно успокоился.

Меня накануне высвистало начальство прямо из академической библиотеки, где я готовился к сдаче кандидатского минимума по марксистско-ленинской философии, выписывая цитаты классиков из краткого курса.

Накануне замначальника Академии по науке собрал, помню, всех адъюнктов и сказал, что тех, кто покидает библиотеку раньше десяти часов вечера, он к защите не допустит. Потому что настоящий ученый должен в библиотеке не только жить, но и умереть. И поставил у выхода часового со специальным журналом, где все мы должны были расписываться.

Так вот, подходит ко мне дама с абонементом и говорит: «Василий Лукич, вас к телефону». Подхожу, беру трубку и слышу голос генерала: «Лукич! Дело очень важное. Приходи завтра в контору к началу работы». Ну, думаю, стряслось

что-нибудь. «А что опять случилось?», — спрашиваю. «Совсем беда, — отвечает начальник, — завтра будем девятнадцатого профилактить по второму варианту». Отсчитываю девятнадцать номеров — получается Мехлис. Но Мехлиса уже брали, правда, не помню, по какому варианту. Решил из кода выйти. Спросил: «Товарищ Мехлис, да?». Слышу — начальник зашипел. «Нет, говорит. Убери девятнадцатого и пересчитай снова. Только не сейчас, вводные получишь завтра». Снова я посчитал. Получился у меня Шкирятов. Спрашиваю: «Товарищ Шкирятов?». Начальник посопел и подтвердил, что сосчитал я правильно. «Ничего себе, — думаю, — времена. Недавно совсем Мехлиса брали, теперь — Шкирятова. Обостряется классовая борьба по мере нашего движения к коммунизму». А вслух спрашиваю: «А чего он натворил?».

Помолчал генерал и неохотно отвечает: «Сам толком не знаю. Что-то украл со стола у товарища Первого. Понял? Не перепутай, правильно сосчитай, у кого!».

Приехал я, значит, утром в контору, как было приказано. Стою, причесываюсь у зеркала. Слышу снизу крики Шкирятова про бардак в управлении и пыль на перилах. Тут и он сам появляется в сопровождении двух генералов и старшины Шевчука. Старшина Шевчук братом милосердия у нас числился и всегда сопровождал высоких особ, когда они к нам приезжали. Ежели, например, особе плохо становилось, то старшина должен был быстро привести ее — особу эту — в чувство с помощью народной интенсивной терапии.

От интенсивности этой терапии очень много зависело, особенно гладкость прохождения будущего следственного процесса.

Так вот, увидел меня товарищ Шкирятов, подобрел и, как я уже тебе говорил, поприветствовал меня: «Здравствуй, Лукич! Давненько мы не виделись, дорогой ты мой!».

«Здравствуй,— отвечаю,— Матвей Федорович! Я и пришел специально тебя повидать, как узнал, что ты сегодня к нам пожалуешь».

«А какое у тебя ко мне дело?»,— насторожился товарищ Шкирятов.

«Дело,— говорю,— еще не открыто. А может, и открыто не будет, коль ты мне, дорогой Матвей Федорович, во всем признаешься. Как говорится в народе — придешь с повинной и разоришься перед партией».

Оторопел, вижу, он от этих моих слов. Что-то сказать силится, а слова-то не лезут наружу. Оба генерала встали при этом по стойке смирно, как и положено при взятии под стражу члена ЦК ВКПб, а старшина Шевчук открывает свой саквояж и уже хотел было приступить к интенсивной терапии прямо на лестничной площадке.

«Погоди, Шевчук,— говорю я ему,— товарищ еще в хорошей форме. В терапии пока не нуждается. Жди за дверью».

«Так ведь положено, товарищ полковник,— говорит Шевчук,— положено еще до первого приступа проводить терапию». И тянет из саквояжа кислородную кишку. «Положено,— злюсь я,— приказы выполнять, товарищ Шевчук, а не умничать!» Сам беру товарища Шкирятова под

руку и увлекаю за собой по коридору. Шевчук с раскрытым саквояжем и кислородной кишкой в руке идет следом и бормочет что-то типа «положено — не положено». Генералы, разумеется, по кабинетам разбежались и рапортуют наверх, что операция проведена успешно.

Взять такого человека, как товарищ Шкирятов, без шума и скандала,— это, что ни говори, успех несомненный. Тем более, что он и сам не знает, взяли его или еще нет. Но поскольку был он человеком очень смышленным, то спрашивает меня тихонько: «Я что — арестован?»

Тут, надо заметить, существовала одна заковыка. Еще товарищ Куйбышев как-то до войны нам на курсах политического ликбеза разъяснял, что советского человека могут арестовать только враги мира и социализма. Не может быть советский человек арестован родной рабоче-крестьянской властью. А может лишь, ежели окажется врагом народа, быть изолированным от общества на какой-то срок. Скажем, лет на десять или двадцать пять с правом переписки и без такого права. Конечно, если он не потянет на высшую меру. Но и тут должен ощущать себя свободным до самого конца.

Вот в этом-то самом заковыка и была! Не существовало у нас разных глупостей вроде: «Именем закона вы арестованы» или того пуще: «Объявляю вам, что именем короля вы арестованы». А существовала короткая, полная истинного демократизма фраза: «Одевайтесь! Следуйте за нами!». Или просто: «следуйте за нами». И в приговорах судебных не свободы лишали, а изолировали

от общества. А высшая мера? Ты помнишь, как она формулировалась: «Суд приговаривает вас к высшей мере социальной защиты». «Высшая мера социальной защиты!» Как-будто тебе персональную пенсию присудили. И трибуналу приятно, и тебе тоже, поскольку ощущаешь себя социально защищенным по высшей мере. Ты скажешь — это, мол, пустые слова! Нет, дорогой. На этих словах все и держалось. Именно благодаря им, словам этим, все в 1938-м году, когда чуть ли не треть страны по зонам распахали, по ту и другую сторону колючей проволоки с одинаковым удовольствием и искренностью горланили: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!».

Каково? А когда перестали этими словами пользоваться, все и пошло колесом с горы. Существует магия слов. Ильича в зону за то и согласились отпустить, что он умел магические слова придумывать, вроде «соцсоревнования».

Конечно, в то время, о котором я тебе рассказываю, многое уже переменялось, но все-таки задавать такие вопросы: «арестован ли я?» — было в высшей степени нетактично. Если ты и арестован, то жди, когда тебе об этом скажут, а с вопросами не лезь.

«Эх, Матвей Федорович! — говорю я, обнимая его за плечи, — помнишь, как ты в тридцатых годах комиссию возглавлял по проверке и чистке партийных рядов, как сам товарищ Калинин тебе хлопал, когда ты с отчетным докладом на Пленуме выступал. И не стыдно тебе такие вопросы задавать? Да какое я имею право таких

людей, как ты, арестовывать. Я имею право лишь с тобой побеседовать как рядовой член нашей партии и обратить внимание на некоторые проблемы, связанные с партийным контролем. Ради этого я пожертвовал целым академическим днем, который мне никто не зачтет».

С этими словами ввожу я его в свой маленький кабинет, который мне для подобных деликатных дел начальство зарезервировало. На стене у меня висела очень редкая картина художника Герасимова «Товарищ Шверник вручает Золотую звезду Героя Социалистического Труда товарищу Сталину» размером два на два метра. Ни у кого я больше во всей конторе подобной картины не видел. И вообще нигде не видел. Ходил специально в Третьяковку. Там по каталогу посмотрели и сообщили, что эту картину приобрел товарищ Микоян и на тридцатилетие Органов преподнес ее в дар Лубянке. По сведениям руководства Третьяковской галереи второй экземпляр картины Герасимов не писал.

Товарищ Шкирятов, как эту картину увидел, аж подскочил, обо всем забыл и восклицает так радостно: «Вот она где! Все органы партийного контроля ее ищут уже несколько лет, чтобы сдать в партийный архив на специальное хранение. Дело в том,— продолжал товарищ Шкирятов,— что на этой картине неправильно отражена роль нашего вождя товарища *Зюганова* как организатора и вдохновителя всех наших побед».

Слушал я Василия Лукича, слушал, уши развесил, но такую клюкву пропустить мимо ушей не смог.

— Лукич,— перебил я его,— не заговаривайся. Зюганов еще не проявил себя как организатор всех наших побед. А уж как вдохновитель, скажу я тебе, его бы послать в Чечню на пару дней. Посмотреть бы, как и на что он вдохновлять станет мальчишек.

— А в Европе, говорят журналисты, он был самой популярной личностью, когда ездил агитировать местных политиков принять Россию в Совет ихний,— возразил мне Василий Лукич.

— Да журналисты раскалывали Зюганова, чтобы показать всему миру, что его партийная хватка — на уровне секретаря парткома швейной фабрики. Ладно, что я к тебе привязался с Зюгановым? Да, вспомнил: Шкирятов у тебя назвал Зюганова организатором всех наших побед.

— Не придирайся. Понял ведь, что товарищ Шкирятов про товарища Сталина так выразился. Так вот, сказал он это и спрашивает меня: «Как она попала к вам в кабинет, Василий Лукич?».

«Так,— думаю.— Кто же кого сейчас допрашивать будет? Вроде он еще имеет право как начальник партийного контроля спрашивать с меня, как с рядового члена партии. А я имею право по приказу начальства Органов с него спрашивать, как подозреваемого в совершении кражи у товарища Сталина». Видишь, какие заковыки бывали в нашем деле. А ты говоришь — Зюганов!

А теперь я тебе о картине немного расскажу. Тоже ведь история!

Действительно, картина была несколько странной. На лице товарища Шверника ясно читался

испуг человека, втравленного недоброжелателями в весьма опасную историю. Что же касается товарища Сталина, то он находился в состоянии какого-то недоумения. Не понимал вождь, как он дошел до жизни такой и что с ним, собственно говоря, делают.

Картина явно тянула лет на двадцать пять. А попала она ко мне так. Когда меня все чаще и чаще стали вытаскивать из академии для выполнения разных поручений, то выделили мне этот кабинетик. Стены в нем были совершенно голые, как в камере смертника. И мне стало тоскливо. Пошел я в политотдел, стал просить какую-нибудь картину. Хотя бы «Бурлаки на Волге» или «Мишки в лесу», чтобы не так уныло было. Мне говорят: «Посмотрите, Василий Лукич, за шкафом. Там, кажется, какая-то картина стоит нераспакованная».

Взял я двух солдат, вызволил картину, еще не зная, что завладел подлинником, существующим в одном экземпляре. А тут еще оказывается, что на нее всесоюзный розыск объявлен, как на украденный в Историческом музее шедевр.

Товарищ Шкирятов, обнаружив картину, сразу повеселел и говорит:

— Ты меня, Василий Лукич, извини, но я как большевик обязан сообщить об этой картине куда следует, и о тебе, как об укрывателе, тоже. Прошу вызвать понятых. Будем проводить изъятие.— А сам глазами телефон ищет,— Хочу лично товарищу Сталину доложить.

Телефона у меня в кабинете не было. Хотели установить, но я отказался. Зачем он мне нужен?

— Не советую,— говорю,— Матвей, тебе товарища Сталина сейчас беспокоить. Очень он на тебя сердит. Усугубишь только свое положение.

Он посмотрел на меня испуганно и спрашивает:

— Товарищ Сталин на меня сердит? За что, Лукич? Что я такого сделал?

— Не знаю точно,— пожимаю я плечами,— сигнал был, что ты какой-то секретный документ у него со стола стащил.

— Да ты в уме ли, Лукич? — закричал Шкирятов.— Да, как ты смеешь мне такое говорить?! Да, я у товарища Сталина в кабинете после войны один раз всего и был в сорок шестом году, когда рассматривался вопрос о новой партийной чистке... А с тех пор даже близко не подходил.

— Значит, подослал кого,— предположил я,— или не проконтролировал должным образом. Как и с картиной этой. Должен был ты ее проверить. А она уплыла. Так и тут. Кто-то спер документ, а ты не проконтролировал — значит и отвечать тебе по всей строгости партийного контроля. Так товарищ Сталин решил. На кой ляд он твое управление кормит, если вы даже таких простых вещей, как пропажу секретных документов с его собственного стола, проконтролировать не можете?

С этими словами вынимаю я из ящика стола кипяtilьник, чтобы хотя бы стакан чаю себе сделать. С утра не успел дома попить. Кипяtilьники иметь запрещалось и при Шкирятове его доставать было опасно (навверняка, выдаст), но уж очень чайку захотелось. «Ладно,— думаю,— чем я рискую. Ну, отберут кипяtilьник. Новый принесу. Цена-то ему без рубля копейка».

Но товарищ Шкирятов, как увидел у меня в руках кипятильник, весь аж затрясся и кричит:

— Не я эти документы украл! Не я! Не надо, Лукич!

— Ну, чего ты разорался? — говорю. — Не хочешь чаю — не пей. Что я тебя заставлять буду. Не ты, говоришь, украл? А кто?

А сам кипятильник в сеть втыкаю и ищу стакан, а стакана нет. Я его тогда в чайник засовываю — там воды немножко было, а чай с рафинадом у меня всегда в ящике стола лежали.

— Ты имеешь в виду завещание товарища Сталина? — спрашивает Шкирятов, и капельки пота выступают у него на лбу.

— Вот именно, — отвечаю я, хотя ничего о завещании товарища Сталина не слышал.

— Отключи кипятильник, — хрипит Шкирятов, — тогда скажу.

— Удивляешь ты меня, Матвей Федорович, — признаюсь я, — как ты можешь в такой момент еще думать о правилах пожарной безопасности? Какое тебе дело — есть у меня кипятильник или нет? Я, может, уже двое суток на ногах и чаю не имею права попить? Мне из буфета, как тебе, чай не приносят. Видишь — даже телефона у меня нет...

И вынимаю кипятильник из чайника. А оттуда уже пар валит.

Глаза у него круглые стали, рот приоткрылся, дышит тяжело.

— Ладно, — говорю, — если тебя так мой кипятильник расстроил, то уж я без чая обойдусь. Потом в столовой попью. Так что ты там о завещании говорил?

Выдергиваю кипяtilьник из розетки и прячу в стол.

— Товарищ Сталин,— переведа дух, говорит Шкирятов,— последнее время работал над программной книгой, которую он хочет оставить народу в качестве своего политического завещания. Враги же народа пытаются это завещание выкрасть и заменить поддельным. Пользуясь тем, что товарищ Сталин очень загружен работой, они подменяют листы его завещания прямо в его рабочей папке, а настоящие листы изымают.

— А кто же эти враги? — интересуюсь я.

В этот момент дверь приоткрывается и в кабинет засовывается голова старшины Шевчука в пилотке.

— Чего тебе? — спрашиваю я недовольно,— сказано же — стой за дверью.

— Разрешите доложить, товарищ полковник,— певуче говорит он,— солдат с носилками нужно отпустить. Им на политзанятия надо. Сегодня ж понедельник.

— Отпускай,— соглашаюсь я,— сам потащишь.

— Одному-то неспособно,— возразил Шевчук,— может, тогда не на носилках, а так.

Как это «так» я не понял и раздраженно приказываю:

— Выдь, Шевчук. Не видишь — мешаешь.

Скрылся Шевчук за дверью, а я горестно говорю:

— Дисциплины никакой! Член ЦК беседует с полковником МГБ, а он, даже не постучавшись, лезет в кабинет. Не удивительно, что товарищ

Сталин не может даже завещание написать, чтобы ему не помешали.

А товарищ Шкирятов снова нить нашей беседы потерял, потому как спрашивает:

— А зачем там солдаты с носилками ждут? Кого они на носилках нести собираются?

— Меня понесут,— зло отвечаю я,— потому что ты, Матвей, меня своим поведением до кондрашки доведешь.

Вижу — совсем не удовлетворен товарищ Шкирятов моим ответом. Его на мякине не проведешь. Понимает, что носилки для чего-то другого. Решил я его не мучить и честно говорю:

— Ежели мы с тобой, Матвей Федорович, ни до чего хорошего не договоримся, есть мнение отправить тебя в Кремлевку. Ну так не за ноги тебя по коридору тащить? На носилки положим, чин-чином донесем до «скорой помощи». Плохо тебе стало во время инспекции. Смекаешь?

— А если я все скажу? — побледнел он.

— Тогда у нас останешься,— обещаю я,— а там посмотрим.

Он-то понимает, что от нас еще можно выпутаться, а из Кремлевки одна дорога — на тот свет.

Я на часы смотрю и говорю:

— Ну, давай, рассказывай. Мне еще сегодня нужно реферат закончить.

Он опять молчит. Тут у меня терпение лопнуло.

— Щевчук! — кричу.— Давай носилки! Товарища на носилки, и во двор. Там «скорая» из Кремлевки ждет!

— Ты зачем, Лукич, психуешь? — вскочил

товарищ Шкирятов,— мне подумать надо. С мыслями собраться.

— Вот в Кремлевки с мыслями и соберешься,— отвечаю я,— полежишь там, подумаешь...

— Да я тебе все расскажу, Лукич,— уверяет он,— не отправляй меня никуда...

— Ладно,— сдаюсь я,— отставить, Шевчук. Иди в коридор. Нервов со всеми вами никаких не хватит. В Кремлевке укол сделают — и все. А здесь вообще ничего нельзя. Даже кипятильник или картину с изображением товарища Сталина нельзя. Ну, так на чем мы остановились? Значит, стащил ты со стола у товарища Сталина завещание, а потом что было?

— Нет,— твердо отвечает Шкирятов,— не крад я у вождя нашего народа и нашей партии ни завещания, ни чего другого. И кто там сейчас этим занимается — ума не приложу. Поскребышев — сидит, Власик — сидит, личные врачи — сидят, охраны — никакой.

«Самое время писать завещание»,— думаю я, а вслух спрашиваю:

— Может, Матрена Ивановна?

— Матрена Ивановна,— отвечает товарищ Шкирятов,— выше подозрений.

— Значит никого не остается,— резюмирую я,— кроме тебя, Матвей Федорович. Давай, колись!

— Если ты хочешь знать всю правду, Лукич,— неожиданно говорит товарищ Шкирятов,— то честно скажу — не писал товарищ Сталин никакого завещания. Кто-то за него эти завещания пишет, чтобы, во-первых, создать соответствующую

обстановку на случай внезапной смерти вождя, а, во-вторых, чтобы узурпировать власть.

— Вот как? — удивляюсь я.— А что же пишет сам товарищ Сталин?

— Я бы тебе сказал,— прошептал товарищ Шкирятов,— но не осмеливаюсь.

— Осмелюсь,— подбодрил я его,— а то Шевчука позову..

— Товарищ Сталин,— прошептал снова Шкирятов,— работу пишет, где полемизирует с товарищем Лениным на тему об империализме как последней и загнивающей стадии капитализма. Товарищ Сталин считает неизбежным слияние империализма и социализма в общественную форму, которую он определил как сионизм. А потому он и развернул столь беспощадную борьбу с сионизмом, чтобы попытаться предотвратить столь печальное развитие событий. Враги же партии и народа, пронюхав о работе товарища Сталина, распустили слух о том, что он пишет завещание, крадут у него листки с его новой работой и пишут завещание сами.

— И что же в этом завещании? — спросил я.

— Я видел два варианта.— признался товарищ Шкирятов.— В одном Сталин завещает свою власть нынешнему Президиуму ЦК во главе с Лаврентием Павловичем Берия и Никитой Сергеевичем Хрущевым, а в другом Сталин предлагает создать расширенное Политбюро из двадцати пяти человек, куда ни один из нынешних членов Президиума не включен.

— А как же с ними он предлагает поступить? — задаю я детский вопрос.

Товарищ Шкирятов сокрушенно молчит. Он сам принадлежит к старой гвардии еще ленинского партаппарата и хорошо знает, как поступают с теми, кто вдруг исчезает из списков. Точно также, как и с теми, кого неожиданно в эти списки вносят.

— Ты же понимаешь, Лукич,— прерывает товарищ Шкирятов молчание,— что в стране зреет откровенный заговор с целью убийства товарища Сталина и захвата власти. Я составил подробную записку на имя товарища Сталина и записался к нему на прием, чтобы лично вручить эту записку, а мне в секретариате сообщили, что товарищ Сталин просит меня проинспектировать ваше министерство, а уже потом придти к нему на прием. Видишь, что творится. Нужно что-то делать, Лукич!

— А где записка эта? — спрашиваю я.

— В моем сейфе в ЦК,— отвечает товарищ Шкирятов,— пошли кого-нибудь... Я тебе ключ дам и записку напишу.

Он помолчал и добавил: «Там же и третий вариант завещания товарища Сталина».

— Третий вариант? — не поверил я.— А этот у тебя откуда?

Он опустил голову и признался:

— Матрена Ивановна передала для согласования с членами ЦК нового созыва. Когда всех старых... того.

— И что же товарищ Сталин завещает новым членам Политбюро и новым членам ЦК?

Не успел товарищ Шкирятов ответить, как с шумом открылась дверь и ко мне в кабинет,

тяжело дыша, влетели сразу три генерал-лейтенанта. Я встал, как и положено, по стойке смирно.

«Товарищу Шкирятову плохо,— закричали они чуть ли не хором.— Плохо товарищу Шкирятову. Его нужно немедленно отправить в Кремлевку».

— Лукич!.. — успел крикнуть Матвей Федорович, когда старшина Шевчук заткнул ему рот кислородной кишкой, а двое солдат уложили на носилки, пристегнули к ней ремнями и бегом помчались по коридору в сопровождении двух генерал-лейтенантов.

Третий же генерал-лейтенант пожал мне руку и сказал: «Быстро возвращайся в академию и дописывай реферат. В наше время без научной степени не проживешь».

— Вот такие истории, браток, у нас случались, когда тебя еще на свете не было,— закончил Лукич.

— А с товарищем Шкирятовым что потом случилось? — спрашиваю я.

— Что в Кремлевке, кроме смерти, случиться может,— пожимает плечами Василий Лукич.— Помер там товарищ Шкирятов. Лежал без сознания аж до января 1954 года. Потом в сознание пришел и сразу помер. Но зато похоронен в Кремлевской стене.

Помолчали мы с Василием Лукичем с минуту. Подумали. Каждый о своем.

— Это были герои! — вздохнул ветеран,— сейчас уже таких нет.

— Лукич, Шкирятов у тебя картину, которая

в розыске была, обнаружил. Куда она девалась? Тебе что-нибудь известно? Как ты потом от контрольной комиссии отвертелся?

— Да просто. Передал ее в музей. Потом с нее копию сделали «Товарищ Хрущев вручает золотую звезду Героя Советского Союза Президенту Египта Гамаль Абдель Насеру». Шверника заменили на Хрущева, а товарища Сталина переоборудовали в египетского президента.

— А с завещанием товарища Сталина разобрались потом? — тормошу я Лукича.

— С завещанием? — ворчит старый чекист.— Скрыли от народа завещание вождя. Вот и развалилось все. Радуйтесь. Они все считали себя умнее товарища Сталина. А умнее товарища Сталина оказалась только Матрена Ивановна.

ДЕЛО БИБЛИОФИЛОВ

Я не раз ловил себя на мысли, что мир, в котором почти семьдесят лет неустанно трудился Василий Лукич, должен был бы состоять из кристально чистых людей. Но все, что я слышал от ветерана, опровергало меня. В то же время сам Лукич производил впечатление абсолютно честного человека. Неужели это — честность неведомо что творящего?

Тогда как же быть с его сомнениями, здравыми рассуждениями, абсолютной непротиворечивостью его слов и поведения? Неужели его ничему не научили встречи и общение с подонками, неужели он не отличает грязный помысел от искренних уверений в «революционной целесообразности»? Сколько раз он, выполняя преступные задания, рисковал ошибиться и со скоростью курьерского поезда улететь в трубу крематория?

Как-то раз во время очередной встречи с Василием Лукичом я спросил о людях, которые его окружали. Без каких-либо колебаний он ответил, что все они — люди как люди, ну совершенно такие же, как в кино или театре. Я невольно рассмеялся и попробовал уточнить:

— Такие, как на сцене, или — как в зале?

— Какая разница, — отвечал старый чекист, — ты думаешь, что те, которые на сцене —

отличаются от зрителей? Те и другие делают свое дело. Разница между соседями в зрительном ряду может быть гораздо большей, чем между народным артистом и последним забулдыгой, уснувшим на ступеньках балкона.

— Лукич,— возразил я,— если рассуждать по-твоему, получается, что нет никакой разницы между палачом и жертвой!

— Почему обязательно нет,— развел руками Василий Лукич,— палач, к примеру, может быть рыжим, а жертва, опять же, негр. Я вот много прожил, но не припомню, чтобы из трех близнецов один был жертвой, другой —прокурором, а третий — палачом. Да и между близнецами всегда есть разница. Каждому — свое, и с каждого — по делам его. Слышал, небось, такую поговорку.

— Хорошо,— говорю.— Тогда ты мне ответь на такой вопрос: что же палача ожидает за дела его?

— Если работал примерно и не умничал, что же его может ожидать плохого? Похвальные грамоты. А те, кто любил свою профессию, живое дело, так сказать, и отказывался переселяться из подвала в кабинет,— и ордена получали. Был у нас один чудак. Еле наган в руках держит, а как подрасстрельного увидит, глаза заблестят, подтянется весь. Работал только на отлично! К старости перемудрил маленько. Когда его на пенсию пытались спровадить, брыкался долго, чуть не плакал. Нервы сдали, вот и перемудрил. Просил направить на патриотическую работу в школу. Рапорт написал, что предлагает открыть в каждой школе кружок юных ленинцев-исполнителей.

В рамках ДОСОРГа, конечно. У него и программы разработаны были. Практикум серьезный.

Изумлению моему не было границ. Видимо, Лукич почувствовал это и замолчал. Поразмышлял о чем-то и добавил:

— ДОСОРГ — это Добровольное общество содействия органам, понял? А вот кружки юных ленинцев-исполнителей — это не одобрили. В общем, незадача получилась. И орденоседец — исполнитель приговоров — быстро после этого исчез куда-то. Не в свое дело полез, умничать начал, вот, можно сказать, на мину и напоролся. Слышал я, что в дурдоме дни свои мирно кончил,— вздохнул Василий Лукич и продолжал:

— Там он все клянчил табельное оружие, короче наган, и просил подвал оборудовать. С одним психом,— тот считал себя герцогом Энгиевским,— сошлись. Наш все время просил герцога под наган встать, а тот на гильотине настаивал. Действие пули, говорил, я уже знаю. Давай, кричал, гильотину соорудим! До буйного состояния дошли. Говорят, усыпили их обоих. Царство им небесное!..

— Лукич,— прервал я сентиментальный рассказ чекиста,— все-таки давай вернемся к твоей работе. Ведь и ты семьдесят лет шагал по минному полю. В любую минуту мог напороться! Разве не так?

— Так-то оно так. Ну и что тут особенного? Шагал, по сторонам смотрел, нюх развивал, мину чувствовал за сотню шагов. Увертываться от них научился...

— И что, многие из ваших так научились? Все

ных развили? Почему же вас тогда поголовно время от времени вырезали?

— Скажешь тоже! Когда вырезали, дело не в минах было. Мина-то — она внутри тебя. Ведь не на мины же все напарывались сразу! В такие времена не на минах подрывались, а под бомбежку, значит, попадали.

— А бомбы кто бросал? — съехидничал я, — свои же и бросали.

— Так я тебе то же самое и говорю, — обрадованно вымолвил Лукич, — люди как люди. Везде свои бросают. У кого что под рукой! Знаю я и профессоров с академиками! Думаешь, все они святые? Думаешь, не забрасывали друг друга лимонками? А политики? Телевизор-то смотришь?

— Но они же поголовно друг друга не вырезают! — почти крикнул я, вспомнив улыбку недопомогания на лице Президента, громы и молнии в призывах Жириновского, острые заточки в прищуре глаз сына полковника КГБ.

— Да, видно зря я тебе все втолковываю. Ребенку ясно, что у каждого должно быть свое оружие. Я же не сказал, что академики обмениваются ракетными ударами. Помнишь: «Я прошу, чтоб к штыку приравняли перо!» Я никогда этой просьбы не поддержал бы... Каждый должен делать свое дело. И не умничать. А начнешь умничать, особенно, если вообразишь, что начальника на его поле переиграешь, тут уж никакой нюх тебе не поможет. А, значит, вскоре и на мину нарвешься.

Лукич вздохнул тяжело, откинулся на спинку стула и продолжил свой рассказ:

— Вот они и взрывались, правда, не ежеминутно, потому как мы научились ходить осторожно. Не все, правда...

Были умники, которые хотели переиграть и начальников, и клиентов. Но если клиент выше, чем просто член ЦК, а начальник — не меньше, чем управление ведет, умник быстро оказывался в подвале у Ивана Фомича. А от Фомича, сам знаешь, куда выносили — ногами вперед. И это еще не худший вариант. Бывало, что уходили из жизни без акта о списании.

— И были такие случаи, Лукич? — интересуюсь я, уверенный, что осторожный ветеран не будет распространяться на скользкую тему.

Но я ошибся. Лукич вышел из-за стола, открыл створки небольшого платяного шкафа и достал из нижнего ящика сверток, перевязанный желтой тесьмой. Не торопясь, развязал тесьму, развернул сверток и передал мне толстенный гроссбух, переплетенный в свиную кожу, потемневшую от времени и, видимо, неаккуратного хранения.

Я открыл переплет и прочел на титульном листе неряшливо выведенные буквы: «ЛОСИ-НАЯ КНИГА».

— Слушай, ты что мне подсунул? — я поднял глаза на Василия Лукича, который снова подошел к шкафу и начал выгребать из ящика какие-то коробки, папки и прочую нехитрую дребедень.

— Ты посмотри пока, а вопросы оставь на потом. На многие я, конечно, не отвечу, но кое-что расскажу, если интересно будет.

На первой странице аккуратным женским почерком было выведено несколько загадочных фраз:

«Мишенька, не называйте, пожалуйста, Юру зубилом. Разве может быть зубилом настоящий сученок. Ольга. 30.6.24.»

Следующий абзац я пропустил, так как не мог разобрать ничего, кроме подписи и даты:

«Ваш Олеша. 4.7.24.»

Подпись меня заинтересовала, и я задал вопрос Лукичу, открывавшему железную коробку из-под монпансье, в которой хранились старые фотографии.

— Лукич, это что — автограф Юрия Олеши?

— Ты листай, листай да почитывай. Сам поймешь, когда долистаешься до сути.

Я перелистал несколько страниц, исписанных разными почерками, останавливаясь только там, где не требовалось усилий для прочтения текста:

«Илья у Вали Лелю отбивает. Но просчитается злодей зубатый. Татьяна Николаевна, не пускайте злодея в дом.

В. Катаев».

«Сегодня побил Лямина в королевском гамбите, завтра побью Северцова-Персикова в Заяицком эндшпиле, а там и до мата Шервинскому рукой подать.

Булгаков».

Подпись была размашистая, очень характерная и знакомая. Я вспомнил, как совсем недавно держал в руках толстенный том в белом ледериновом переплете, по центру которого тем же почерком было выведено: «Михаил Булгаков. Избранное». У меня почти не осталось сомнений, что Василий Лукич подсунил мне дневник, в котором знаменитый писатель и его друзья и знакомые обменивались шутивными посланиями...

— Лукич, откуда у тебя эта тетрадь? Уж не в наследство ли ты ее получил от Булгакова?

— При чем тут Булгаков?

— Но эта подпись точно принадлежит Булгакову! Здесь даже экспертизы не требуется.

— Экий ты быстрый! Экспертиза требуется на все. Особенно на писанину. Да и смотря какая экспертиза. Надо — признают, что Булгаков писал, не надо — докажут, что я сам всю книгу напридумывал.

— Ну, уж ты перегибаешь, Лукич,— засмеялся я,— это ж сотней почерков надо владеть, да и не только почерков, надо же знать, что писать, кому... Вот послушай:

Опомнилась, глядит Татьяна —

Медведя нет, она в сених.

За дверью плач и треск стакана,

Как на больших похоронах...

А. Гольденберг.

— Под кого же Вы работали, уважаемый Василий Лукич? Под товарища Пушкина? И чтобы скрыть свою контрреволюционную сущность, подписались фамилией Гольденберг?

— Эксперту по писанине, скажу я тебе, не положено было решать, под кого работает автор писанины или, что было на уме у шутника. Может, ради фарсу писал или куражился в личное время. А может там корысть какая была. На это другие мастаки были. Живо могли нутро проинспектировать.

Вот ты и не заметил, что у Пушкина-то,— Лукич погрозил пальцем,— чуть-чуть да не так! Да ладно, дело не в этом. Только ты запомни, что проверять все надо. Про этого Гольденберга я бы тебе много мог порассказать, порочил или не порочил он русскую культуру своими пасквилями,— это разговор особый. А чтоб закончить про экспертизу, вот что тебе скажу. Даже когда надо было не признать почерк Ленина, собирали экспертизу, она и писала в заключении, что, мол, подделка высшей квалификации. Сколько людей через это пострадали. Ну, может, и не всегда страдали, а уж от экспертиз бежали, как черт от ладана. Особенно когда им предлагали пересмотреть результаты экспертизы и написать все наоборот.

— Как это наоборот?

— Да так и наоборот. Обсуждает новая редакционная коллегия план издания ленинского наследия и решает, что забракованную экспертами работу надо опубликовать. Время, значит, изменилось, политика повернулась, а у Ильича как раз и статья есть на эту тему. Значит, эксперты и должны признать ее ленинской, а не подделкой Павла Наумовича.

— А что это еще за Павел Наумович?

— Я ж тебе говорю — не мельтеши. Во-первых, знать должен, кто он такой, а во-вторых, мешаешь мне найти нужные фотографии. Смотри лучше тетрадь. А то уберу сейчас, и до главного не успеешь дойти.

Пропустив два десятка страниц, я обнаружил вклеенный лист, почти коричневого цвета, за ним второй, третий... Правый нижний угол одного из них обгорел, недостающие слова рукописи были аккуратно вписаны печатными буквами. Я снова не выдержал и поднял глаза на ветерана.

— Василий Лукич, что-то вы темните!

— Что я темню? Давай тетрадь. Я думал, тебе интересно почитать будет, а тебя какая-то суета за нос водит... Подожди, пойду чайник выключу, а потом уж и доскажу тебе историю... погоди, забыл уж, что ты меня спросил-то?

— Да я много о чем спрашивал... О Булгакове, об Олеше, о Павле Генриховиче...

— О Павле Генриховиче? Откуда ты знаешь о Павлуше-морфинисте?

— Лукич, что это еще за Павлуша-морфинист? Я никогда о нем не слышал и тебя о нем не спрашивал!

— Как не спрашивал? Ты сам только что сказал, что спрашивал о Павле Генриховиче.

— Ну, спрашивал! Так ты мне о нем и рассказал пять минут назад!

— Да я о Павлуше-морфинисте даже самому Господу Богу ни слова не скажу, не то что тебе! Давай, выкладывай, что я тебе о нем говорил!

Я смотрел на Лукича, как, наверное, смотрел бы зачумленный на прокаженного. И пытался

вспомнить, с какой стати в нашем разговоре выплыл этот морфинист, о котором даже Страшный Суд не вытащил бы из Лукича ни слова. И, скорее всего, из страха за посмертную судьбу души старика, вспомнил:

— Ты мне говорил, что Павел Генрихович лихо поддельвал почерк вождя мирового пролетариата! Да так, что экспертиза писала: классная подделка Павла Генриховича.

— Да ты вообще ничего не понял,— устало вздохнул Лукич и продолжал:

— Я тебе говорил не о Павлуше-морфинисте — приемном сыне Ягоды, а о Павле Наумовиче Беркове — академике. Его чуть было не раскололи — вроде как он сам ленинским почерком написал те работы, которые привез из Швейцарии, что ли, или из Швеции,— все время путаюсь в этих странах. Его от ЦК посылали в Европу, чтобы он как частное лицо скупал рукописи товарища Ленина у разных бывших соратников, которые не вернулись на родину и, выходит, предателями стали и присвоили себе народное достояние. Сам Владимир Ильич, когда сочинял что-то в спецзоне, иногда вспоминал, что об этом у него уже было написано, жаль, говорил, время терять, а однажды вскипятился, вставочку швырнул на пол, чернила разлил по столу и потребовал, чтобы послали кого-нибудь в Англию, Францию... да сам знаешь, куда еще — забрать свои рукописи. «Не будут отдавать,— кричал,— расстреливайте на месте!»

— И много расстреляли? — интересуюсь я, предвкушая интересный поворот разговора.

— Да ты что, спятил что ли? — искренне удивляется Василий Лукич. — И не пытались даже. Самого Кутепова, чтобы расстрелять, пришлось везти через всю Европу на родину. Просто увезли в СССР — и то какой они шум там подняли. Как догадались, мы долго не могли понять, ведь так чисто все сделали. А ты — расстреляли! Выкупил Павел Наумович у владельцев. А заодно много других, как он говорил, редкостей вернул по законному месту пребывания.

Когда показали рукописи Владимиру Ильичу, ему даже дурно стало: «Мракобесие, поповщина, оголтелое фиглярство». Как он только не выражался, расшвыривая листки и тетрадки. Потом стал такой весь сосредоточенный и говорит: «Пишите, я диктовать буду!» Я его еле-еле уговорил успокоиться. Диктовать ему было не положено. Потом он докладную написал в ЦК, что подсунули ему фальшивки с целью опорочить перед мировым пролетариатом.

Вот так и оказались рукописи товарища Ленина на экспертизе, а Павел Наумович под следствием. А тут и органы под бомбежку попали. Лаврентий Павлович, значит, метлой поработал. Да, веселые были времена... Беркову еще повезло: академиком помер, а расколись он до прихода Берии — сгнил бы без права переписки.

Лукич отправился на кухню, а я, уже совершенно запутавшийся в лабиринтах его воспоминаний, ошалевший от нервных флюидов старика при упоминании о Павлуше-морфинисте, от любопытства при виде кожаного переплета «Лосиной

книги», судорожно пытался вникнуть в текст на случайно открытой странице:

«Приятно преступление, но безнаказанность, не отделенная от него, вызывает в человеке исступленный восторг. Он переполняет разрушительную чашу, ее содержимое бурлит в черепной коробке, и уже мало будоражащих слов: воля... воля... мышцы наливаются неукротимой энергией, и она выплескивается в бессмысленное всесокрушающее действие.

Через минуту на тротуары Арбата полетели разбиваемые стекла, сталкивались раздраженные пешеходы, вскипали драки. Троллейбус, шедший от Смоленского, вдруг остановился, в его окнах погас свет. Заревели клаксонами попавшие в тупик машины. Кто-то снял ролик с провода. На укатанном асфальте валялись раздавленные помидоры и огурцы.

— Царствую над городом! — прокричала Маргарита, и кто-то с изумленным лицом выглянул из окна четвертого этажа...»

Пока Василий Лукич колдовал на кухне, я перелистал вклеенную в grossбух подпаленную огнем тетрадь и понял, что передо мной список знаменитого романа Булгакова «Мастер и Маргарита». К сожалению, не полный. Интересно бы узнать, знаком ли он кому-нибудь, кроме бывшего владельца и ветерана? Как попала тетрадь к Лукичу? Почему он дал ее мне, прежде чем

рассказать об «умниках» и «клиентах» и их взаимоотношениях с «начальниками»? И почему Лукич начал что-то выкладывать мне о подделках, в том числе и текстов вождя?

— Ну, как? — спросил Василий Лукич, неторопливо разливая чай в кружки из толстого фаянса с изображением железного Феликса на фоне знаменитого здания на Лубянке.

— Вопросы потом, я еще не успел переварить то, что увидел. Сначала расскажи, как к вам попала эта книга. И причем здесь умники и клиенты?

— Вот это — деловой вопрос. А то — Олеша... Булгаков...

Лукич раскрыл железную коробку из-под монпансье и вынул, видимо, заранее приготовленную фотографию. Лицо старика сияло от предвкушения эффекта, который должен был вызвать у меня снимок. За большим столом, под двумя огромными портретами вождей сидели, неловко съежившись, сам «владетельный князь» Ленинграда и сопредельных территорий Жданов, шеф НКВД Лаврентий Павлович Берия и знакомый мне человек, на петлицах которого красовались два ромба. Ощущение было такое, что последние двое распекают в чем-то провинившегося «князя».

— Ну, как? — снова спросил меня Лукич, отодвигая кружку от фотографии.

Я не нашел, что ответить на это «ну, как» и сказал:

— Восемь.

— Что «восемь»?

— А что «ну, как»?

— Да ты что? — рассвирепел старик, схватил фотографию, бросил ее в коробку и прихлопнул коробку крышкой.

Я не понял, какую бестактность совершил по отношению к заслуженному ветерану, бросавшему на меня свирепые взгляды.

— Что толку тебе рассказывать, если ты не понял, что, во-первых, это единственная фотография, где Берия и Жданов находятся вместе, а во-вторых, — в его глазах промелькнуло молнией величайшее презрение, — а во-вторых, вот они перед тобой: начальник, клиент и умник.

Спросить Лукича, кто из них кто, я не осмелился, боясь вызвать новую вспышку гнева и, не дай Бог, сердечный приступ, который — в возрасте моего собеседника — мог бы выйти ему боком.

— Василий Лукич, — произнес я как можно веселее, — в следующую встречу вы увидите другую фотографию, где означенные вами типы тоже изображены вместе. Конечно, вы можете отправить ее на экспертизу, а послушные эксперты дадут вам заключение, что это подделка. Но мою фотографию знает весь свет...

— Э-ка, удивил! — перебил меня Василий Лукич, — небось газетную фальшивку «на трибуне мавзолея — вожди партии и народа» притащишь. Не старайся! Когда на трибуне настоящий Берия стоял, Жданова там не было, а когда Жданов стоял около Сталина, рядом с ним был двойник Берии. Это-то мне доподлинно известно. Протокол соблюдали. Иногда даже двойник Сталина,

если ему приходилось отбывать смену на мавзолее, не догадывался, что рядом не пенсник, а кукла от Матрены.

— Я принесу другую фотографию — «Товарищ Сталин и его сподвижники утверждают “Великий план преобразования природы”».

Лукич посмотрел на меня, как на последнего идиота.

— Такой фотографии нет на свете. Ты мне голову не морочь. На мякине не проведешь. Картина такая есть. Только называется не так. Налбандяну ее заказывали, как сейчас помню. Целый взвод ее писал — в запое был художник.

— Так я тебе не картину принесу,— перебил я,— а фотографию с картины. А на фотографии почти рука об руку и клиент, и начальник, и умник. И никаких двойников и кукол. А если докажешь, что там не Берия и не Жданов, с меня бутылка КВ.

— А ты знаешь,— Лукич почесал за ухом, глаза смягчились,— может, ты и прав. Художник-то писал настоящих Жданова и Берия. Тут никакая экспертиза не определит, что это фальшак. Только умника моего там нет. Не дорос еще. Да и дорости не довелось. Сгинул из органов. И все из-за любви к раритетам. Вот тебе и «Лосиная книга»... Заходит он как-то ко мне, после финской войны уже было, дверь запер, сверток достает и говорит: «Сохрани, Василий, если не вернусь». Просил никому не показывать. Если жена будет спрашивать — не отдавать. Боялся, что выменяет у кого-нибудь на «Огни Москвы» или на коробку зефира в шоколаде.

— Лукич, выходит, что клиент — это Жданов, начальник — Берия, а кто же умник — тот третий, с ромбами на петлицах? Ты сказал, что он сгинул из органов. Куда? К тебе в спецзону? В крематорий?

— Ко мне в спецзону его бы не отправили, даже если бы она еще существовала. Я же тебе рассказывал, что ее закрыли еще до войны. Если бы через крематорий списали — я бы знал. Может, какое спецзадание получил и за кордоном работал. А потом спрятали. Если так, то почему решил не забирать у меня эту тетрадь, не понимаю. Значит, приказ такой был. А если в расход пустили, то не понимаю, почему я об этом не знаю. Ведь протокол соблюдали неукоснительно. Мучился я с этой «Лосиной книгой» аж до смерти товарища Андропова.

— А потом почему перестал мучиться, Лукич?

— Да это и ежу ясно! Еще при жизни Юрия Владимировича отобрали разные мелочи, что на хранении были у таких, как я. То ли переправить за кордон торопились перед тем, как самим смыться, то ли деньги нужны были здесь для начального капитала, так сказать. Ведь не все же получали из партийных фондов.

— Лукич,— осенило меня,— а может быть, тебе оставили «Лосиную книгу» в качестве твоего, как ты говоришь, начального капитала?

— Может быть, конечно, но это же такое нарушение, что и пулей не отмоешься. Да и инструкций, что с ней делать, не приложено.

— А не зашифрована ли инструкция в каком-нибудь тексте внутри книги?

— Я тоже так думал сначала. Дешифровкой занимался по вечерам, у меня даже своя книга есть, покажу как-нибудь, я ее «Крысиная книга» называю. На Сильфиду Хакидовну вышел. Она мне помогла поначалу, а потом вдруг замкнулась, даже разговаривать перестала. То ли ее друзья донесли, что в органах я работал, то ли конкурента во мне почувствовала.

— Лукич, ведь все дешифровщики в органах работали. Значит, она про тебя узнала сразу, а не потом. Тебе бы в какой-нибудь электронно-вычислительный центр обратиться — те бы не донесли и все сделали в лучшем виде.

— Опять ты не понял. Никакой она не дешифровщик. Сильфида Хакидовна Чумакова Булгаковым занималась.

— Так она занималась Булгаковым от НКВД? Или еще раньше?

— Ну и тупой же ты! Булгакова от НКВД курировал сам товарищ Сталин. Никому не доверял. И по линии ЦК тоже он курировал. Может быть, Жданов и не был клиентом в той истории, до которой нам с тобой никак не добраться. Но это даже хорошо. Ты мне тут подсказал несколько ходов. Может, снова займусь расшифровкой текстов. И вычислительный центр подключу. Да, надо подумать. Ведь если клиентом был товарищ Сталин, то может оказаться, он и натолкнул Жданова поручить разработку библиофилов помимо Берии. Тогда зачем Берия встречался со Ждановым, да еще и Боровячего с собой прихватил?

— А это еще что за личность со свинячей фамилией?

— Не спрашивай про Боровячего. Это не настоящая фамилия. Понял, что это — умник? Тот, с ромбами. Видишь, уже до персонажей добрались. Только вот одна заковыка — кто клиент? Если товарищ Сталин, тогда понятно, почему Жданов стал идеологию курировать, но тогда почему операцию вел Боровячий? Ну и напустил ты мне мороки на старую голову!

— Лукич, давай закончим с Чумаковой, может быть, еще что-нибудь прояснится в твоей голове,— предложил я ему, чтобы немного спустить с высших сфер на грешную землю.

— С Чумаковой все просто. Стыдно тебе не знать о ней. Она пишет о Булгакове. Даже капитальный труд выпустила «Хроника жизни Михаила Булгакова». Каждый уважающий себя интеллигент имеет эту книгу. Василий Лукич открыл дверцу секретера «Хельга» и достал с полки толстую книгу.

— Посмотри сюда,— он открыл последнюю страницу и показал место, где я прочел: «Автор сердечно благодарит всех, кто в разные годы помогал и помогает восстанавливать биографию Михаила Булгакова...»

— Здесь должна быть и моя фамилия, но мне посоветовали отказаться от этой чести.

— Почему? — снова встрял я с наивным вопросом.

Лукич, видимо, находился в плену воспоминаний, так как ответил без всякого раздражения:

— Неприятности у нее начались по нашей линии. Вышли на нее американские издатели. Предложили материал подкинуть для издания

сочинений Булгакова, а она, не доложив, проявила нездоровую инициативу. Случись все немного пораньше — схлопотала бы на пятерик в зону.

Я промолчал. И не потому, что молчание — знак согласия, а ,чтобы не провоцировать старика на новые воспоминания о его работе в области дешифровки рукописей. И правильно сделал.

— Я думаю,— продолжал Лукич, допив уже остывший чай,— что и разработка «библиофила» была утверждена по той же самой причине.

От одного из кротов, засевших в библиотеке американского Конгресса, пришла шифровка, что почти каждую неделю библиотека принимает на баланс, говоря по-нашему, по пачке книг и рукописей на русском языке. Крота попросили прислать списки поступлений за последний год,— а было это, если не ошибаюсь, году в тридцать восьмом. Посмотрели в управлении список, плечами пожали, но решили отправить по инстанции.

Уж не знаю, кто к этому списку прикладывался, но вдруг такой шум начался в органах, что, если верить Боровячему, со времени утечки информации из бюро Туполева такого не наблюдалось. Резидентуру почистили, кое-кого в расход пустили, библиотеки в Москве, Ленинграде, Киеве, да и в других больших городах на учет взяли. Короче, кое-какие источники поступлений в американскую библиотеку обнаружили.

А тут крот еще масла в огонь подлил. Похоже, специальное задание получил. Пошли в органы контейнерами каталоги книжных аукционов,

замелькали на страницах каталогов красные отметины напротив всего русского.

— Лукич, да ты рисуешь картину колоссальной культурной диверсии.

— Вот, вот,— именно культурная диверсия. Слов тогда правильных не нашли, чтобы команду прессе дать. Все больше привычными обходились, а они как-то не годились. Ты бы тогда за эту пару слов орден получить мог.

— Так уж сразу и орден,— вяло возразил я.

— А что? Не только орден. Может, кандидатом в Верховный Совет тебя выдвинули бы. А был бы в списках номенклатуры — в аппарат ЦК мог бы попасть. Тогда все серьезно было. А уж коли серьезно — быстро дело делалось. Малова-то оставалось специалистов, которые вот так быстро могли бы определить суть происходящего.

— Лукич! — почти заорал я,— по-моему, ты так перегибаешь палку, что страшно делается. Эти слова и ребенку бы пришли в голову, если бы кто-нибудь ему рассказал твою байку.

— Конечно, пришли бы. И приходили. Может, у всех эти слова вертелись на языке, но кто-то должен был их сказать. У кого-то духу должно было хватить — взять да и сказать их **ВСЛУХ!**

— А-а, вот ты о чем. Страх, значит, льдом сковал души чекистов!

— Причем тут страх! Дело, понимаешь, новое, непривычное. Это же не просто контрабанда какая! Ладно, ты послушай и помолчи. Привлекли, значит, к этому делу счетоводов. Подсчитали они сумму, за которую все русское печатное на

аукционах продано было — ахнули! Не помню точно, но тянуло на миллионы долларов! Запомнил только несколько названий и цены: малюсенькая книжка «Что есть табак» — тысяча долларов, автограф Достоевского — двадцать тысяч, сборник стихов Тютчева — три тысячи... А доллар в те времена — это тебе не современный «бакс».

Лукич ухмыльнулся, поглаживая задний карман брюк, и продолжал:

— Разработали план. Кто разрабатывал, ты уже понял, повторяться не буду. Противно каждый раз называть ненастоящую фамилию. Подкинули одному библиофилу идею — выступить с предложением об издании словаря советских книголюбов. Откликнулись многие. Потянулись в инициативную группу книголюбы. Поначалу шущера какая-то. Собрал, скажем, токарь полное собрание сочинений классиков марксизма и революционных демократов — уже считал себя книголюбом. Главное, чтобы было не менее пятисот книг. Кумекаешь? Под старый декрет подгоняли. Но и настоящие знатоки на удочку попадались. Память-то короткая у людей!

Писали собиратели что-то вроде библиофильских анкет. Из них-то и выудили сведения о настоящих коллекционерах, их адреса, стаж собирательский, примерный состав библиотеки, разделы и все такое прочее.

Тоненькой стружкой потекла информация, самые крутые владельцы, как правило, молчали, слухи распускали, что готовится новая экспроприация личных библиотек...

— А что,— не выдержал я,— такое уже случилось?

— Да я же тебе сказал, что под старый декрет подгоняли. Еще в восемнадцатом году были приняты документы Совнаркома об охране библиотек и реквизиции частных книгохранилищ. Все личные библиотеки, если в них было больше пятисот книг, конфисковывались. Сам понимаешь — большинство владельцев оказывались контрой или сочувствовали контре и шли в расход. Книги учитывались, но много было, конечно, разворовано, уничтожено по неведению... Что оставалось — попало в библиотеки. Но мало. Гражданская война свое дело сделала...

Помню, сам буржуйку топил книгами из коллекции князя Долгорукова. Смотрю на огонь и радуюсь, как корчится и сворачивается в трубочку ненавистная харя контрреволюционера. Вот, думаю, и польза от тебя хоть какая-нибудь — согреть юного чекиста в тяжелый час молодой Советской Республики. Двадцать папок гравюр сжег, с половину этого стола каждая. Нет, сжег меньше. Зашел как-то товарищ Луначарский, посмотрел гравюры и предложил поменять пять или шесть папок на вязанки дров — по весу. Сначала не поверил я,— нарком все же. Потом согласился. Принесли с полкуба сухих березовых поленьев и записочка: «Посылаю триста килограмм дров для неотложных нужд ЧК. С революционным приветом. Луначарский».

А переплеты, помню, горели плохо. Особенно кожаные, с застежками. Застежки отрезал, на кожанку пришивал. Форсил...

— Лукич,— перебил я лирическое отступление ветерана-чекиста, а может, оно и к лучшему, что кто-то, рискуя жизнью, переправлял редкие книги и рукописи в библиотеку Конгресса.

— Почему же это к лучшему? К худшему. Это же наше культурное наследие.

— А как ты думаешь, что лучше для нашего культурного наследия — сгореть в огне буржеек, на свалках, исчезнуть в мешках старьевщиков или быть сохраненным в книгохранилищах библиотеки американского Конгресса или Лондонской Национальной библиотеки?

— Это как посмотреть?

— А как можно на это посмотреть?

— А так! Кто-то воровал национальное достояние и на этом наживался. Помнишь, я как-то рассказывал тебе про Вольфа Гольштока. Ты не знаешь, сколько он наворовал и переправил с братом — Меиром. Когда его взяли в Претории, при нем хранились тонны культурного наследия и километры склеенных холстов — от Рафаэля до Пикассо!

— Лукич! Во-первых, я не помню, кто такой Гольшток, а во-вторых, если даже он это украл и увез в Преторию, то не на растопку же буржуйки.

— Да, и Меир, когда его доставили обратно, пел то же самое. Реквизировали, говорил, у контрреволюционного элемента. Якобы, для лучшей сохранности предметов материальной культуры от русских варваров. Если бы он тогда не оскорблял Менжинского, не защищал своего брата Вольфа, злоупотреблявшего сходством с Владимиром Ильичем, его бы оставили жить-поживать

да ума наживать. Может, и не пришлось бы говорить, что Ильич в Горках скончался.

— Но ты все же не ответил на мой вопрос, Лукич. Что же все-таки лучше?

— Лучше всего государству вернуть.

— Но у государства никто не брал. Государство силой все забрало у людей.

— Опять тебе азы ленинизма вталкивать надо. Государство силой-то забирало только то, что награблено у народа. Ты, что, забыл лозунг «экспроприация экспропрированного»? Это же главный лозунг большевиков!

— Главный, Лукич, и единственный, к сожалению. И очень прискорбно, что ты его еще и защищаешь.

— Да разве я его защищаю? Да я его, может, и не понимал, но выполнял добросовестно. А тебе пытаюсь растолковать, как все было на самом деле. Ты думаешь, я горжусь, что сжигал гравюры. Да мне, может, плакать хочется, когда я об этом вспоминаю.

— Представь себе, Лукич, что большевики вернутся к власти. Представь себе, что они снова выдвинут лозунг «грабь награбленное». Что ты будешь делать? Брать тех, у кого библиотека большая, пытаться, пока не признаются, что являются агентами влияния?

— Не ерничай! Ничего я не буду делать, разве что выхлопочу себе прибавку к пенсии. Помнишь, я тебе о полковнике Зюганове как-то рассказывал. Может, сына и выберут. Сначала в президенты, потом в Председатели Верховного Совета...

— Ладно, Василий Лукич,— перебил я,— тебе и нынешняя власть скоро персональную восстановит. Досказывай о твоём клиенте, устал я, да и тебя не прошибешь.

— Конечно, не прошибешь. Закалка у меня чекистская. Мы из Феликса железного все выкованы. Не перекуешь нас.

— Нет теперь твоего Феликса, Лукич. На свалке истории он. Как и вся чрезвычайка, гепешка, эмведешка, энкеведешка, кагебешка...

— Скорей твои фээскаки и фээсбьяки окажутся на свалке истории, чем моя чрезвычайка! Она вечно будет жить, как и ее создатель. Все! Слушай.

Когда добрались органы до библиофилов первого разряда и прощупали их коллекции, кое-кому чуть дурно не стало. Какие богатства от народа, от государства скрываются. Сколько танков и самолетов можно было бы построить на эти деньги! Перво-наперво пытались мягко уговорить укрывателей передать ценности на хранение государству, а им самим предложили при коллекциях быть хранителями, как бы завскладами работать — на полном обеспечении, конечно. Бесполезно. Согласились единицы. А когда стали описывать их собрания, выяснилось, что они, суки, самое ценное успели вывезти и распылить по друзьям-знакомым. Приезжает комиссия по учету, а у них на полках — одни стенограммы съездов ВКПб расставлены, «Нивы» старые в пачках, собрания сочинений товарища Ленина, товарища Маркса. У одного аж пятьдесят комплектов полного собрания сочинений Горького

нашли. Хотели пришить ему спекуляции в особо крупных размерах, но эксперты сказали, что больше чем по пятиалтынному за том не продать. Не выгорело дело! Магазины были завалены Горьким. По полтора рубля за том.

Делать нечего. Пришлось на провокации пойти. Есть такой законный прием в оперативных действиях, когда речь идет о безопасности страны. Потом общественность подключили. Пресса старалась. Пару показательных процессов устроили. Беркова Павла Наумовича взяли. Помог он невольно нам своими лекциями о теории и практике собирательства.

— Василий Лукич, кому же он лекции-то читал. Не вашему ли умнику?

— Нет, Ка... то есть, Боровячему он лично не читал. Читал он лекции в камере предварительного заключения сокамерникам. Туда к нему подсадили нескольких специалистов в области механики и точной оптики, в шарашках не хватало именно оптиков и механиков — специалистов по коробкам передач для тяжелых самоходок и по ударостойким прицелам для новых танков.

— А какое отношение танки и самоходки к библиофильству имеют, Василий Лукич? Опомнись, Бог с тобой!

— Оказывается, имеют, если я об этом упоминаю. А вот какое: Максутов, ты, наверное, слышал о нем, — изобретатель зеркального телескопа и серии телеобъективов для зеркальных фотоаппаратов — страшно любил читать лекции. Ну, как сейчас выражаются, комплекс у него был такой. Так вот он организовал в камере кружок

самообразования. Борейко Август Сильвестрович читал Максутову и Беркову лекции по теоретической механике и теории упругости, Максутов — курс оптики и оптического приборостроения, а Берков излагал двум технарям основы библиографии, историю и теорию библиофильства в новых условиях социалистического общества.

Как ты догадываешься, в камере сидел довольно грамотный «наседка», который все конспектировал, вернее, стенографировал и передавал, минуя следователя, моему умнику.

Все это пригодилось при работе с библиофилами. Короче, когда собирателей книжных редкостей, рукописей, автографов поприжали, ручеек культурного наследия превратился в огромное собрание печатной, рукописной и изобразительной продукции.

Когда конфискованное привели в порядок, началась работа по учету материалов, добытых в процессе изъятия. Перед началом учета Боровячий кое-что выбрал для себя, а охранник-недолом стукнул в канцелярию Берия. Лаврентий Павлович заинтересовался книгами, присылал несколько раз в хранилище своих людей и тоже пару грузовиков приказал нагрузить. На дачу перевезли ему — в Абхазию. А заодно товарищу Сталину доложил, что Жданов прокол допустил с кадрами — злоупотребляют, мол служебным положением.

Товарища Сталина на мякине в те годы провести было не так-то просто. Он позвонил товарищу Жданову в Ленинград и поинтересовался, что там за редкости книжные накопились в под-

валах Большого дома на Литейном. Забыл я сказать тебе, что все дело с библиофилами вело Ленинградское Управление, поэтому и хранилище устроили в подвале, сохранившемся от церкви, что стояла раньше на улице Воинова. Раньше она называлась Шпалерная.

— Она снова стала Шпалерной, Лукич.

— Вот, видишь. Правда — она всегда торжествует.

— Это уж точно, Василий Лукич,— подтвердил я, не понимая, о какой правде вещает ветеран.

— Товарищ Жданов послал список в Москву, но и заинтересовался, с какой стати вождь сует нос в такое мелкое дело. А вот теперь ответь мне, какая это развращающая сила сидит в книгах, что противостоят ей не смогли такие железные люди?

— А что, Жданов тоже увел себе пару вагонов раритетов?

— Пару не пару, но чем-то попользовался. Боровячева послал в хранилище с пометками на списке. А тот, бес его попутал, увел себе еще кое-что, не зная, что полная опись содержимого подвала уже отослана к Иосифу Виссарионовичу. А товарищ Сталин среди прочего отметил и ту тетрадь, которую ты видишь перед собой. Больше всего в списке товарища Сталина было военных книг. Картины на библейские темы все забрать приказал. Бюсты бронзовые князей русских и царей перевезли в Кремль. Да много еще чего. Но почему-то его заинтересовала и «Лосиная книга».

— Понятно, почему,— ведь ты сам говорил,

что и по линии НКВД, и ЦК Булгакова курировал сам вождь. Может быть, Сталин не хотел, чтобы его любимый советский писатель оказался в ваших лапах.

— Может быть, может быть. Я, правда, думаю, что дело совсем в другом. Жаль, что торопливый ты маленько,— вместо того чтобы побольше почитать в «Лосиной книге», затюкал меня глупыми вопросами. Думал, что потом как-нибудь вместе посидим и покумекаем над некоторыми интересными местами. У меня знаний мало-вато.

В этом деле,— продолжал Лукич,— оказалось еще несколько накладок. Из того, что выбрал себе первый секретарь Ленинградского обкома, часть пришлось переправить товарищу Сталину, часть уступить Берии. Вот тогда-то Лаврентий Павлович и приезжал в Ленинград разбираться с самим товарищем Ждановым, Боровячего даже с собой прихватил. Думаю, что очную ставку им устроил. А сам следователем и понятым был.

Товарищ Жданов отделался легким инфарктом, потерю «Лосиной книги» взял на себя; Боровячий исчез с потрохами без записи в книге актов; я сижу как на горячих углях, присвоив себе право пользования чужой собственностью. Правда, так и не могу разобраться, чья это собственность: то ли Светланы Иосифовны, то ли пропавшего без вести Павла Ниловича. Или теперь искать старых владельцев.

Василий Лукич отодвинул бокал, смахнул крошки печенья со скатерти и пододвинул к себе

«Лосиную книгу». С минуту рассеянно перелистывал страницы, скользя глазами по автографам и вклейкам.

— Лукич,— нарушил я затянувшееся молчание,— я предлагаю тебе самый красивый выход из положения: сожги ее в печке — и дело с концом!

— Да я бы давно это сделал, если бы не занимался расшифровкой текстов. Да и Боровячий для меня пока что как без вести пропавший. Думаю, что сотню раз каждое послание по буквам исследовал. Кажется, разбуди среди ночи, назови страницу — по памяти без запинки любую продекламирую. Вот здесь все сидит.

Лукич постучал по своему черепу, тяжело вздохнул и поднялся из-за стола. Я тоже встал.

Прощаясь, я шепнул ему на ухо: «Значит, Булгаков был прав — рукописи не горят».

ИНКАРНАЦИИ ТОВАРИЩА СТАЛИНА

1

Однажды я увидел на столе у Василия Лукича брошюрку с интригующим названием «Индийские йоги. Кто они?» и довольно язвительно спросил:

— Василий Лукич, вы что — йогой решили заняться?

Ветеран устало махнул рукой и пробурчал:

— Я ей уже отзанимался в свое время. Век не забуду.

Как всегда, Василий Лукич умел преподнести мне такие сюрпризы, что я из насмешливой атаки быстро переходил в глухую оборону, не зная, как отбиться от невероятной информации ветерана-чекиста. Но пока я еще наступал.

— Василий Лукич, — насмешливо поинтересовался я, — а в бессмертие души вы верите?

— В инкарнации? — переспросил Лукич, — Конечно, верю. Я сам живу на свете первую жизнь, а потому проживу долго. Первая жизнь самая продолжительная. И последняя тоже. А в середине — всякое случается, но почти всегда одинаково.

Я понял, что уже пропустил первый удар, и мне не оставалось ничего другого, как сглотнуть слюну и хрипло спросить:

— То есть, как это?

— А вот как! — ухмыльнулся Василий Лукич. — Дело это сложное. Его с наскоку не осилишь. А эти брошюрки читай — не читай, все равно ничего не поймешь. Ибо это тайна бытия.

Я попытался перейти в контрнаступление.

— Вы и йогу в академии проходили?

— В академии мы много чего проходили, — уклончиво ответил Лукич, — но теория с практикой не всегда стыкуется. «Мы диалектику учили не по Гегелю», как сказал поэт. И правильно сказал. Такое в жизни случается, что в никакой марксизм-ленинизм не всунешь.

— Не знаю, — сказал я, — чтобы немного завести ветерана, — по мне так все это глупости. Бабы сказки. Не верю я в разные там души и все такое прочее.

— Не веришь? — развел руками Лукич. — Значит никто тебе помочь не в силах. Люди во что-то верят или не верят в меру своего невежества в том или ином вопросе. Товарищ Сталин, например, даже в кибернетику не верил и загнал страну в задницу.

— А в переселение душ он верил? — спросил я, еще не догадываясь, что попадаю в «десятку».

— Знаешь, — ответил Лукич, — никто толком не знает, во что верил или не верил товарищ Сталин, если он вообще существовал в чем-то одном лице. В нем было столько противоречий, что невольно закрадывалась мысль о том, что не один человек, а минимум пять. И все разные. Я тебе уже рассказывал о Кунцевской зоне, где содержали двойников. Там их было трое. Но где-то

были еще двое. И не исключено, что один из них был настоящим. Это я сужу по некоторым директивам, которые спускались к нам в МГБ. Двойнику до таких высот никогда не подняться. Дублер — это всегда дублер. Он главную роль вести не в состоянии. Ты своими вопросами о душе как раз напомнил мне одну историю...

Я весь превратился в слух.

— Случилось это ранней весной сорок девятого года. В декабре товарищу Сталину исполнялось семьдесят лет, и вся страна уже полгода ликовала от счастья и преданности. Намечались мероприятия, которые должны были превзойти аналогичные празднества в декабре тридцать девятого года, когда товарищу Сталину исполнилось шестьдесят лет.

Тогда пышности и размаху всех мероприятий немного помешала война с Финляндией, и надо же случиться совпадению — как раз в день сталинского юбилея в плен к финнам попала крупная группировка наших войск. Правда, товарищу Сталину об этом не доложили и торжества испортили не сильно, но все равно у всех и, прежде всего, у самого товарища Сталина настроение было довольно-таки пасмурное.

Но тут уж помешать не должно было ничего. Тем более, что к юбилею товарища Сталина ученые преподнесли ему в живом виде атомную бомбу, украденную нами у американцев, и великий вождь мог, наконец, вздохнуть спокойно. А то с сорок пятого года места себе не находил. Считал, что его план — весь мир захватить — рухнул

окончательно с появлением атомного оружия. Он даже самого товарища Ленина ругал матерно, чуть не в первый раз после закрытия моей спецзоны, за то, что говенный нэпман — вот так его обозвал сердечно — не предусмотрел подобного развития событий при окончательном загнивании капитализма. Он еще тогда не знал, что американцы атомную бомбу создали на ленинские деньги. А то не знаю, что бы с ним тогда было!

Еще со времен Ялтинской конференции Лаврентия Павловича вызывал к себе постоянно и дрючил: «Помнишь, Лаврентий, что говорил Ленин об атоме. Неисчерпаем он, понял — неисчерпаем. Пачэму американцы черпают из него, а ты его только ускоряешь? Сколько уже ускорителей наклепал? А Лаврентий возьми да и скажи, что товарищ Ленин не про атом говорил, а про электрон. Товарищ Сталин аж ногами затопал. Редко с ним это случалось...

Но помогло, работу ускорили. Вычерпали-таки бомбу. Правда, не сами, да ладно! Получив бомбу, вождь успокоился немного и со всей страной готовился встретить свое семидесятилетие. Я же, как тебе уже хорошо известно, учился в академии, и к начальству меня вызывали только для решения таких задач, которые, кроме меня, решить никто не мог.

Вел я разные «деликатные» дела. Почему я? Честно тебе скажу — не потому, что я уж такой умный был, а потому, что братья за подобные дела особо охотников не было. Многие меня даже за дурака считали. Сам посуди, если бы кто из них, скажем, в Кунцево вместо меня побывал,

да двойников Иосифа Виссарионовича увидел, что бы с ними стало? Умом бы тронулись — точно. А если б кто и не тронулся умом, то потом бы от страха загнулся. Раз такое узнать доверили, значит, расстреляют — это как пить дать. Люди-то все ученые были. Слухами-то вся Лубянка набита была. То рассказывали, как один из наших Сталина в баньке парил и увидел у него чего-то там, что знать не положено. Так из банки и не вышел. Умер от сердечной недостаточности.

Да что там Сталин! Один из чекистов охранником сколько лет корячился, потом в люди выбился, шофером стал, номенклатурную должность получил — возил товарища Андреева. Ты такого, наверное, и знать сегодня не знаешь. А был такой мелкий человек при вожде. Так вот наш парень случайно задком машины дачу его поцарапал. Тут же отвели в соседние кусты и расстреляли.

Поэтому за дела, связанные с вождями партии и правительства, никто братья не хотел. А я, уж коли меня после ленинской зоны не шлепнули, уже ничего не боялся. Нутром чуял, что держат меня живым для того, чтобы другого на это место не назначать. А расстрелять меня, как, наверное, считали, никогда не поздно будет.

Ну вот. Как обычно, звонит мне домой прямое начальство и говорит: «Зайди, Лукич, ко мне. Дело есть непыльное». А я уже по тону его понимаю, что дело это непыльное его сильно тяготит. Вот он и хочет это дело на меня повесить.

Прихожу я к начальнику. Вижу — он немного не в себе и каким-то странным взглядом поглядывает то на меня, то на портрет товарища Сталина.

Потер начальник себе виски, головой покрутил и спрашивает:

— Лукич, ты водку пьешь ведь?

— Пью,— говорю,— когда угощают.

— Давай выпьем,— вздыхает начальник,— потому что тут без поллитровки не разобраться.

Выпили по граненому стакану, закусили холодной лендлизовской тушенкой, что еще с войны осталась, и тут мне начальник говорит:

— Лукич, ты чего-нибудь о душе знаешь?

— О какой такой душе? — спрашиваю.

— Ну, которая,— не очень уверенно отвечает начальник,— у каждого человека внутри находится вместе с органами.

— А...— смеюсь я,— вы про эту душу, товарищ генерал? Знаю я про нее. В старые времена на допросах всегда говорили: «Отвечай, а не то душу из тебя выпущу!».

— Во-во,— обрадовался генерал,— как раз про эту самую душу я и говорю,— которую на допросах или при исполнении высшей меры из органов выпускают.

И наливает еще по стакану.

— Из органов — это точно, говорю я,— потому что органы — это мы. Карающий меч трудового народа.

— Заткнись,— шипит генерал,— не об этих органах я говорю, а о других.

— О каких тогда? — не понял я. — О партийных?

Тут мы с ним стаканами чокнулись и выпили вдругорядь. Генерал воздух выдохнул и просипел:

— Какие еще партийные органы? Я тебе про внутренние органы говорю!

Еще что-то матерное выдал, по сторонам глазами стреляет, а глаза мокрые, вижу — недомогает явно.

— Об МВД? — пытаюсь догадаться я, — пусть они сами и занимаются. Мы-то тут причем?

— Ты мне долго будешь дурочку валять?! — расвирепел генерал, — я тебе разве об МВД говорю? Я тебе о внутренних органах говорю, что у каждого есть. Кишки там и прочее говно! Понял?

— Нет, — говорю, — разрешите доложить, — не понял. Кишки тут причем?

— Давай по третьей, — предложил генерал, а голос сиплый, сорвал, видать, от моей непонятливости.

Выпили. Генерал закурил, успокоился, в кресле развалился и спрашивает:

— Тебе рентген в санчасти когда-нибудь делали, Лукич?

— Так точно, — отвечаю, — делали. На строевой медкомиссии при поступлении в академию. Только ничего не нашли.

— Во-во, — повеселел генерал, — значит, знаешь, что у тебя внутри, то-бишь внутри тебя есть там сердце, печень, желудок, легкие и еще что-то — всего и не упомнишь.

— Знаю, — говорю, — конечно. Еще этот есть, как его? — Мочевой пузырь.

— Молодец,— похвалил генерал,— вот это и есть те самые внутренние органы, о которых я тебе говорю. Понял?

— Теперь понял,— отвечаю,— только не понимаю, о чем речь вообще, товарищ генерал? Надо что-то у меня вырезать, что-ли, для здоровья?

— Нет,— поморщился генерал,— ничего вырезать не надо. Надо только понять, что кроме всего перечисленного у тебя есть еще и душа. Только ее не видеть. Вот о чем речь идет.

— Разрешите, товарищ генерал, вопрос? — спрашиваю я,— но ведь это все из области церковного мракобесия.

— Согласен с тобой,— кивает генерал,— но мы, чекисты, для того и существуем, чтобы хорошо знать, чем дышат наши враги. Верно?

— Так точно,— отвечаю,— только я этими вопросами никогда не занимался. Если снова какая-то кампания против попов планируется, то лучше вам обратиться к товарищам, которые эту тему курируют. Целый отдел у нас есть во главе с товарищем Щербицким. Они этих попов во как держат!

— Ты меня не учи,— недовольно буркнул генерал,— если бы речь шла о том, чтобы посадить еще двести попов и снести двести церквей, стал бы я из-за таких пустяков тебя от учебы отрывать? Сами бы справились. А вызвал я тебя вот по какому поводу. Слушай. Как мне в секретариате ЦК сказали, так я тебе и передам.

Генерал вытащил из папки несколько листов бумаги, на которых синели штампы особой

секретности, принятой в делопроизводстве Президиума ЦК.

— Есть мнение,— продолжал генерал,— надевая очки,— что у каждого живого человека есть душа. Где она находится и что это вообще такое — науке неизвестно, да и попы тоже ничего толком по сути вопроса показать не могут, даже под воздействием третьей степени социальной защиты. А потому этого вопроса приказано не касаться, а принять как данность. Душа имеется только у живых людей. Ежели человек умирает — независимо от причин — расстреляли ли его, в зоне подох на общаке или от инфаркта, как товарищ Жданов,— то эта самая душа из эвонного тела улетает. Понятно тебе, Лукич?

— Так точно! — киваю я головой,— улетает после расстрела, а перед расстрелом уходит в пятки.

— Умница ты, Лукич! — обрадовался генерал,— легко с тобой работать, за то тебя все и любят. Так вот. Значит улетает она, но без тела ей, душе то есть, погано очень, и она норовит в другое тело залезть. Но поскольку в каждом теле уже есть душа, то туда освободившуюся душу не пустят. Поскольку не положено на одно тело иметь две души. Тут у них полный порядок. И вот тут снова непонятные вещи начинаются. Товарищ Суслов мне долго объяснял, но сам в этом вопросе, чувствуется, плохо подкован. Значит, вроде она, душа эта, ищет или еще неродившегося младенца во чреве и летит туда через известное тебе отверстие, или ждет в роддоме, когда какой-нибудь младенец появится из этого самого

отверстия. Как младенец заорет — значит готово — душа уже в нем. А ежели случится, что душа замешкается, то младенцу кранты. От этого-то вся детская смертность, оказывается, и происходит. Недаром в народе говорят «Душа из тебя вон!» Это ты усвоил Лукич?

— Да,— говорю я,— схему теперь представляю.

— Поехали дальше,— продолжает генерал, глядя в секретные листки,— значит получается, грубо говоря, следующая картина: люди помирают, а души из одного тела в другое перескакивают. Есть ли в этом процессе какая-нибудь закономерность — не знаю, но существует мнение, что душа абы в кого не перескочит. Душа душе тоже рознь. Скажем, генеральская душа в тело какого-нибудь гопника никогда не переселится, а выберет себе чего получше. Усек?

— Нет, говорю,— тут не понятно получается. Если, как вы говорили, товарищ генерал, она в только что родившихся младенцев вселяется, то откуда ей знать, кем этот младенец потом станет: генералом, гопником или врагом народа?

— Ну, ты и тупой, Лукич! — восклицает генерал.— Что же тут непонятного? Ежели душа генеральская, то она этого младенца в генералы и выведет. Говорят же в народе: «У него душа генеральская». Все от нее и зависит.

— Это так,— соглашаюсь я,— а вот, ежели речь о врагах народа вести, то выходит, что душа прямо под расстрел их и ведет. Значит, это для нее какое-то удовольствие, чтобы тело расстреляли?

Покраснел генерал, посмотрел листочки и отвечает:

— Ничего тебе, Лукич, на этот счет сказать не могу. Сам не понимаю. А потому ты мне лишних вопросов не задавай. Потому что дело в следующем: товарищ Сталин приказал узнать, кем он был в своих прошлых...— генерал посмотрел в листки и добавил по слогам...— Ин-кар-нациях. В прошлых инкарнациях. Понял?

— Нет,— честно отвечаю,— не понял. Как вы сказали?

— Ин-кар-нациях,— повторил по слогам генерал,— запиши. Это ключевое слово. Запомни. Тогда и работать будет легче. Разузнай что к чему и не тяни. Приказано не позднее 21 декабря представить.

— Интересно! — пытаюсь я отвертеться от задания.— Да глупости все это товарищ генерал. Давайте напишем, что все выяснили. В прошлой жизни товарищ Сталин был, скажем, товарищем Марксом, а до того — товарищем Гегелем, а до того — Суворовым и так через Петра Великого до Ивана Грозного или дальше куда до Цезаря и Александра Македонского...

— Думал об этом,— признался генерал,— рискованно! А вдруг это проверка. Может, они уже все и знают, а нас проверяют на чернуху? Что тогда? Так мы схлопочем, что не обрадуешься! Шутишь, что ли? На контроле у Самого задание, а ты предлагаешь отпиской ограничиться. Вспомни, как отписался Павел Нилович, когда Гертруду Шмидт искали. Все, казалось бы, честь-честью сделали, даже документы о захоронении

сварганили. Ловко тогда подставил Тулеев Кабанячего. Помнишь?

— Помню, конечно,— вздохнул я.— Маху дал тогда Кабанячий. Анкете поверил.

— Во-во,— подтвердил генерал, закладывая в рот последний кусок тушенки,— поверил подложной анкете, поверил акту Тулеева, поверил... Нет! Надо сделать, как положено!

— А как положено? — спрашиваю я,— как положено такие задания выполнять? Я понятия не имею.

— Слушай сюда,— приказывает генерал,— сперва иди в библиотеку, книжки посмотри разные. Какие найдешь на это слово, что записал. Поднахватаясь немного, чтобы проблему лучше понять. А потом разыщи кого-нибудь, кто умеет эти, как их, карнации прослеживать.

— А такие есть, которые умеют? — интересуюсь я.

Генерал помялся:

— Говорят, что есть. Poiщи.

— Гда ж мне их искать? — не понимаю я,— вы хоть укажите кого.

— Где искать? — пожимает плечами генерал,— по зонам poiщи. В зоне сейчас кого хошь найти можно. Хоть попа-расстригу, хоть свинью в штанах. Давай, действуй. Докладывать будешь лично мне.

Пошел я для начала в нашу академическую библиотеку. Заведовал там абонементом отставной полковник из наших политорганов.

Протянул я ему бумажку со словом «инкарнация» и спросил, нет ли на эту тему каких книг. Он посмотрел на меня поверх очков и спрашивает:

— А вам это зачем?

— Вообще-то,— отвечаю я,— нам вопросов задавать не положено. Это вы должны помнить. Но вам, так и быть, скажу: для диссертации. Больше ничего, извините, сказать не могу. А еще вопрос зададите — рапорт напишу, что вы интересуетесь вопросами, вас не касающимися. Пусть разберутся, на кого вы работаете.

Он очками на меня сверкнул, взял бумажку и ушел в книгохранилище. Но я-то понял, что не книги он искать будет, а звонить и стучать. А он даже и не стеснялся. Голос его слышу: «Так точно, понял. Есть, товарищ генерал. Слушаюсь!».

Примерно через полчаса выходит весь в пыли и говорит:

— Нет у нас книг, чтобы с такого слова начинались. Я даже посмотрел частотный словарь слов, употребляемых в сочинениях товарищами Марксом, Энгельсом, Лениным, Сталиным и Микояном. И там этого слова нет. А это значит, что подобного слова просто не существует. Ошибка, видно, какая-то вышла, товарищ полковник.

— Нет,— говорю,— ошибки тут быть не должно. Все правильно.

— А что это слово вообще означает? — спрашивает завабонементам.

— Это вам знать не положено, — отвечаю я.

— Слушаюсь, — соглашается он. Видно, по телефону ему объяснили, что к чему.

Но мне от этого не легче. Куда идти дальше?

— В «Ленинку» сходите, — подсказал завабонементам, — там чего надо найдут обязательно. Не так давно мы туда запрос делали, что значит «пытка лучинкой», которая на Руси в допетровские времена применялась. Так что вы думаете? Нашли подробное описание и нам переслали. У них там все есть.

Поехал я в «Ленинку».

На абонементам показываю удостоверение. Какой-то тетке сразу стало плохо. Оказывается у них неделю назад директора и заведующего фондами взяли за низкопоклонство перед Западом. Комиссия работала и обнаружила в залах портретов иностранных писателей на три штуки больше, чем русских и советских. И всего два портрета товарища Сталина на фоне тридцати портретов товарища Ленина. Ленина тоже, наверно, посчитали иностранным писателем.

— Не беспокойтесь, товарищи, — успокаиваю я работников библиотеки, — я без всяких полномочий прибыл, как рядовой читатель.

И сую им бумажку со словом «инкарнация»...

Две женщины побежали сразу в генеральный каталог, руки дрожат, карточки перебирают.

Возвращаются бледные, заметно расстроенные.

— Нет ничего, товарищ полковник. Все пересмотрели. А что это слово означает?..

— Ну, как вам сказать,— говорю я,— это насчет человеческой души, которая, по-мнению буржуазных религиозных мракобесов, бессмертна.

Тут они все и онемели. Не знают даже, что и сказать. Попробуй слово скажи — сразу под статью попадешь. И тогда самое маленькое, что грозит — антисоветская агитация и пропаганда — до десяти лет и поражение в правах.

— Ну, чего замолчали-то? — спрашиваю я.

Тут одна, которая побойчей, видно, говорит:

— Товарищ, все книги по религиозной тематике у нас в спецфонде хранятся. Туда обратитесь.

И повела меня в спецфонд. Вниз спускаться пришлось по винтовой лестнице, как в расстрельный подвал. Дверь железная с глазком, кнопка звонка. Позвонили. Открывает дверь милицкий старшина при пистолете. Увидел меня, руку к козырьку:

— Здравия желаю, товарищ полковник. Разрешите узнать цель прибытия?

— Книжка нужна одна,— отвечаю,— народ-то здесь есть какой-нибудь библиотечный?

— Так точно,— отвечает милиционер,— есть. Сию секунду доложу.

Сам — за телефонную трубку и докладывает: «Товарищ из органов прибыл. Срочно на выход!».

Тут зазвенели звонки, как при боевой тревоге в каком-нибудь бункере, и бежит мне навстречу старший лейтенант милиции, на ходу застегивая китель.

Подбегает, запыхавшись, и рапортует:

— Товарищ полковник, за время моего дежурства по фонду специального хранения Государственной Публичной библиотеки имени Владимира Ильича Ленина никаких происшествий не произошло! Дежурный старший лейтенант Мельников!

— Вольно,— говорю я,— веди на абонемент!

— Слушаюсь! — говорит он,— а где понятые?

— Понятые? — не понял я,— зачем мне понятые?

— Не могу знать! — отвечает милиционер.— Только всегда приходили с понятыми от вас. Но вы не беспокойтесь. Я сейчас мигом все организую. Возьмем тетю Катю, уборщицу, и дворника Кузьмича. Их запишем в понятые. Они не шибко грамотные, но подписываться умеют. А если прикажете без понятых, то и без них обойдемся.

— А без понятых сюда не пускают? — интересуюсь я.

— Если вы активировать,— объясняет старший лейтенант Мельников,— то оно лучше с понятыми. По закону так положено: активировать с понятыми. Чтобы потом разговоров не было. Что, мол, не активировали, а растащили. Но как прикажете. Прикажете без понятых — будем активировать без понятых. В крайнем случае меня со старшиной в понятые запишете. Дело-то важное, государственное.

И старший лейтенант мне рассказал, что уже полгода сюда примерно раза два в месяц являются офицеры с Лубянки и «активируют» книги. «Активируют» — это значит изымают из фондов, набивают

в мешки, мешки опечатывают и несут в соседнюю кочегарку на предмет сжигания. При этом составляют «Акт», под которым подписываются они и понятые. Мешки же таскать заставляют милиционеров. «Спина болит,— пожаловался Мельников,— книги тяжелые, как цемент».

— Надо было работников библиотеки заставить таскать,— предложил я,— а не самим корячиться.

— Пробовали,— вздохнул старший лейтенант,— так они, представляете, товарищ полковник, мешки в кочегарке вскрыли и стали заниматься хищением народной собственности. Хорошо, что кочегары бдительность проявили и сообщили нам. Мы их с поличным взяли, когда они мешок потрошили. Кто бы мог подумать? Люди то все пожилые, интеллигентные. Некоторые даже члены партии и фронтовики. Оформили их по указу от 7 августа. Сейчас в библиотеке одни женщины остались. Мужчины все сидят. Вот и приходится таскать самим.

— Солдат бы нагнали,— сказал я, пока мы шли по лабиринту подземных коридоров.

— Солдатам не положено,— ответил Мельников не без гордости,— эта работа режимная. К ней посторонних нельзя допускать. Так нам товарищ из органов объяснил.

— Правильно он вам объяснил,— согласился я.— В наше время — бдительность — основа основ государственности.

Подвал, надо сказать, был раза в два побольше, чем на Лубянке. Кругом были железные двери, закрытые на большие амбарные замки. На

дверях висели таблички «Фонд номер такой-то» с трехзначными цифрами. Наконец, мы вошли в помещение без окон, где висели сразу два портрета товарища Сталина (в мундире генералиссимуса над картой Туркменского канала) и во френче с отложным воротником да с какой-то узбекской девчонкой на руках, чьих родителей он приказал расстрелять. Кроме этого, имелся еще портрет Пушкина и плакат с цитатой из Горького о том, что всему хорошему в себе он обязан книге. Если в Горьком и было что хорошего, так это умение стучать, как никто... Видимо, чем больше читаешь, тем лучше стучишь.

Я подошел к барьеру, где стоял тощий ящик с читательскими карточками, и обратился к сидящей на абонементе унылой старушке, у которой на плечи был накинут армейский зеленый ватник. В помещении было холодно и сыро.

Старушка прочла слово «инкарнация» и, не говоря ни слова, нажала кнопку звонка, вделанного в барьер абонеента.

Минут через пять из двери за спиной старушки вышла дама средних лет с могучими формами и строгими серыми глазами.

— Товарищ интересуется,— сказала старушка, передавая ей бумажку со словом «инкарнация».

Дама взглянула на бумажку, а потом на меня:

— Это вы интересуетесь?

— Да,— подтвердил я — интересуюсь.

— Ваше отношение, товарищ! — потребовала дама голосом, не допускающим возражений.

— Отношение к кому? — не понял я.

— Я прошу у вас официальную бумагу, которая разрешала бы вам допуск к закрытой литературе специального хранения,— чеканным голосом произнесла дама,— подобная бумага называется «отношением».

— Этого достаточно? — спросил я, показывая удостоверение.

Вообще-то я был в форме, но мои погоны почему-то не оказали на грозную даму никакого впечатления.

Она внимательно прочла удостоверение и сказала: «Здесь сказано, что вы имеете право на ношение оружия. Но здесь ничего не сказано, что вы имеете доступ к закрытой литературе специального хранения».

— Но там сказано,— мягко возразил я,— что все, в том числе и вы, должны оказывать мне максимальное содействие, не задавая лишних вопросов.

— Вот как? — вспыхнула дама.— Но порядок общий для всех.

— Впрочем,— заколебалась она,— я сейчас узнаю.

И она исчезла в ту самую дверь, из которой появилась.

Я начинал терять терпение и уже хотел позвать старшего лейтенанта Мельникова, чтобы он оформил этой ретивой библиотекарше задержание на 72 часа с исполнением служебных обязанностей.

— Вы с ней поосторожнее,— предупредила меня старушка в армейском ватнике,— у нее муж в органах работает. Генералом.

Я хотел сообразить о каком генерале идет речь, но у нас на Лубянке их была такая тьма, что у меня ничего не получилось.

Между тем дама снова появилась в дверях и казенным голосом сказала: — Пройдемте со мной.

Мы прошли по полутемному коридору и остановились у дверей с табличкой: «Заведующая спецфондом Вышинская Я.А.».

«Ничего себе,— подумал я,— мало того, что она жена нашего генерала, она еще и дочь Вышинского. А может, его жена?».

Мы вошли в обширный кабинет, заставленный книжными шкафами, за стеклами которых синели и краснели корешки собраний сочинений классиков марксизма всех изданий и на всех языках. Почему их запихали в спецфонд, я так и не понял.

— Садитесь, товарищ полковник,— сухо предложила дама, показывая мне на стул против своего стола, а сама уселась за стол, на котором кроме казенной настольной лампы с зеленым абажуром не было решительно ничего, если не считать моей бумажки с таинственным словом «инкарнация».

— Януария Андреевна, заведующая спецфондом,— представилась дама.— Итак. Какой фонд вы хотите проинспектировать на предмет активирования?

— Я не уполномочен ничего активировать,— признался я.

— Тогда чего же вы от нас хотите? — недоуменно спросила дама и, помахав моей бумажкой

в воздухе, добавила: — И вообще, что это все значит?

— Я хочу ознакомиться с литературой, в которой употребляется этот термин «инкарнация»,— сообщил я, чувствуя, что снова теряю терпение, хотя и помню чья дочка сидит передо мной. То есть я перед ней.

— Вы хотите ознакомиться на предмет активирования подобной литературы? — продолжала настаивать Януария Андреевна.

— Я хочу ознакомиться на предмет самообразования,— признался я,— на предмет повышения уровня этого самого образования.

— Интересно,— пропела дама,— и только?

Я поглядел на портреты Сталина, Молотова и Вышинского, висящие над ее головой, вздохнул и сообщил:

— Вы знаете, гражданка Вышинская, что я имею право арестовать любого, кто просто не оказывает мне содействия, а тем более чинит препятствия в моей работе. Неужели вы думаете, что я вообще бы полез в ваши крысиные норы, если бы не имел конкретного задания от своего руководства.

— Крысиные норы! — взвизгнула дама.— Да как вы смеете! Известно ли вам, что вы сидите в кабинете, в котором бывал сам товарищ Сталин! Что вы дышите воздухом, которым дышал великий вождь, спасаясь от агентов царской охранки и от немецких авиабомб? Известно ли это вам? Я немедленно сообщу о вашем поведении куда следует!

Она схватила телефонную трубку, лихорадочно набрала номер и срывающимся от возмущения

голосом стала быстро говорить: «Папа, ко мне пришел какой-то космополит с Лубянки, который сидит у меня в кабинете и оскорбляет товарища Сталина. Что? Как его зовут? Не знаю, как его зовут...».

— Как вас зовут? — обратилась она ко мне.

— Василий Лукич меня зовут, — ответил я, отлично зная, что мое имя окажет на ее папашу нужное впечатление. Наверняка, он не забыл нашу встречу в 1922-м году, когда ему пришлось при известных обстоятельствах минут пять пожевать дуло моего нагана, стоя на коленях перед Ильичем. Так и случилось, потому что она, округлив глаза, нервно бросила трубку, но пересилить себя так и не смогла, сверкнула глазами в мою сторону и выдохнула:

— Вообще-то — это форменное безобразие!

— Простите? — как бы не понял я.

— Что вы тут мне написали? — возмущенно воскликнула дама, тыча пальцем, наманикюренным до безобразия, в мою несчастную записку. — Что вы мне тут написали, я вас спрашиваю?!

Я молчал, решая — вызывать конвой или еще немного подождать.

— Во-первых, — продолжала бушевать Януария Андреевна, — не «инкарнация», а «реинкарнация». А во-вторых, кто дал вам право пользоваться этим иностранным словом, когда есть русское слово «перевоплощение». Разве вам неизвестны последние указания ЦК нашей партии, запрещающие использование иностранных слов в печатных изданиях и в обиходе?!

Об указаниях я не знал, честно говоря. Но,

будучи футбольным болельщиком московского «Динамо», я обратил внимание, что даже из репортажей Вадима Синявского исчезли привычные слова. Вместо греющих душу слов «футбольный матч» он стал говорить «футбольное состязание», вместо «штанга» появилось дурацкое слово «стойка», напоминающее сразу плац внутренней тюрьмы, «корнер» стал «угловым ударом».

В принципе, я ничего против этого не имел. Чистить русский язык, конечно, необходимо. А то ныне совсем ошалели. Даже по телевизору постоянно мелькают идиотизмы, вроде «киллеров», «дилеров» и «эксклюзивных дистрибьютеров»!

Но тогда случай был особый, а объясняться мне перед Януарией Андреевной совсем не хотелось. Как мне генерал записал, так я и пользовался этим словом. Если оно обозначает «перевоспложение» — пусть так и будет. Разоряться-то чего?

— Вы знаете,— говорю,— я же папеньку вашего хорошо знаю. Помню, взяли его прямо на улице и...

Наверное, она эту историю и без меня хорошо знала, потому что сняла трубку другого телефона и приказала:

— Иван Никифорович, подойдите к 370-му фонду. Захватите акты по форме 8.

— Книгу я вам выдам,— сказала она мне, когда мы шли по полутемному коридору мимо стальных дверей,— но пользоваться ею можно только в нашем читальном зале.

Наконец мы подошли к двери, на которой висела табличка «Фонд № 270». Там нас ждали двое пожилых мужчин. Один из них был начальником Первого отдела. Его звали Иван Никифорович Козлов. Второй был сантехник, которого никак не звали. Вполголоса матерясь, безымянный сантехник возился с тяжелым амбарным замком. Заржавевший замок никак не поддавался. Видимо, им не пользовались с тех пор, как в книжную тюрьму попала последняя брошюра, содержащая контрреволюционное слово «душа».

— Может, автогеном? — спросил сантехник.

— Давай, давай открывай! — увесисто пробасил начальник Первого отдела, — а то я тебе дам — автогеном!

Наконец сантехник догадался матюгнуться, и замок открылся. С трудом вытащил его из трехсантиметровой дужки и отвел в сторону большую, в палец толщиной, ржавую дверную накладку.

Януария Андреевна вытащила связку огромных старорежимных ключей, какие бывают только у тюремных надзирателей, и ловко, ну прямо виртуозно, открыла внутренний замок.

Железная дверь медленно открылась, а скрип ее аж кишки вывернул. На нас пахнуло сыростью и затхлостью, как из склепа. Мне все это напомнило камеры подземной тюрьмы особого назначения, которая находилась под подвалами Лубянки со времен царя Алексея Михайловича до наших дней. Поэтому, шагнув внутрь, я приготовился увидеть изможденного зека, лежащего на узкой железной койке, и был несколько удивлен,

обнаружив в камере стеллажи с книгами. Казалось, что они встрепнулись, когда в их камере без окон неожиданно зажегся свет. Большая часть книг находилась в плачевном состоянии.

— Актировать надо половину к чертовой матери! — рыкнул начальник Первого отдела, оглядываясь по сторонам.

Я готов был поклясться, что он служил в НКВД «веником». Так называли специальные команды, которые занимались массовой ликвидацией заключенных в тюрьмах в связи с острой нехваткой помещений.

Пока я оглядывался по сторонам, Януария Андреевна, которая, надо отдать ей должное, великолепно ориентировалась во вверенных ей фондах, подошла к какой-то полке и достала оттуда книгу. Даже не книгу, а брошюру — не больше известной брошюры Сталина «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников».

Брошюрка называлась «Теософия и загадки жизни» какой-то Анни Безант. Что такое «теософия» — я, конечно, не знал, но, тем не менее, протянул руку, чтобы взять книгу, чья обложка была украшена изображением круглого значка с перевернутой свастикой и пестрела черными и фиолетовыми штампами.

— Минутку, — остановила меня Януария Андреевна, — необходимо все оформить, как положено.

Она подошла к небольшому столику, взяла у Ивана Никифоровича бланк и стала его заполнять. Потом подписалась сама, дала подписать

Ивану Никифоровичу и протянула на подпись мне.

— Подпишитесь вот здесь,— приказала она,— и поставьте номер своего удостоверения.

Я прочел бланк:

«Мы, нижеподписавшиеся, в лице начальника спецфонда т. Вышинской Я.А. и начальника 1-го отдела Государственной Публичной Библиотеки имени В.И.ЛЕНИНА т. Козлова И.Н. составили настоящий Акт в том, что по требованию полковника МГБ тов... ему была выдана для ознакомления книга.

Автор: АННИ БЕЗАНТ, название: «Теософия и загадки жизни», место и год издания: Калуга, 1913, инвентарный номер: СФ-3778956-з/ЛН.

Читатель ознакомлен с правилами пользования книгами специального фонда библиотеки.

Подписи лиц, составивших настоящий Акт.

Подпись читателя.

Номер читательского билета.

Дата выдачи книги

(год, месяц, число, время приема и сдачи книги)».

Хотя с правилами пользования книгами специального фонда мне еще предстояло ознакомиться, я подписался, и мы вышли из хранилища.

Начальник Первого отдела и сантехник занялись процедурой закрытия двери, а я и товарищ

Вышинская прошли по коридорам и остановились у двери с надписью «Читальный зал». Эта дверь только тем отличалась от дверей фонда, что не была заперта на амбарный замок и была снабжена звонком. Януария Андреевна позвонила. Дверь открылась, и мы очутились в крошечном предбаннике, где в армейском ватнике сидела строгая блондинка с незапоминающим лицом.

— Вера Ивановна, — сказала Вышинская, — этот товарищ из органов поработает вот с этой самой книгой. Зарегистрируй.

Блондинка вытащила из стола регистрационный журнал, куда переписала название книги и номер акта, копию которого Януария Андреевна принесла с собой.

— С какими страницами или абзацами товарищ имеет право ознакомиться? — спросила Вера Ивановна, доставая из ящика стола медные пластинки с прорезями, напоминающие надгробные плиты.

Этими пластинами книга могла быть блокирована на конкретной странице и даже абзаце, если в том возникала необходимость.

— Я хотел бы ознакомиться со всей книгой, — сказал я, сам удивляясь тому, что в моем голосе появились просительные нотки.

Вера Ивановна вопросительно взглянула на Януарию Андреевну. Та еле заметно кивнула головой. Вера Ивановна спрятала медные пластинки в ящик, закрыла его и, передавая мне книгу, заявила: — Вы не имеете права делать никаких выписок из книги иначе, как в специальную рабочую тетрадь, скрепленную сургучной печатью

приславшего вас учреждения. Тетрадь эту вы обязаны затем сдать мне и мы перешлем ее в ваш спецотдел фельдъегерской почтой.— И она открыла дверь в читальный зал.

Залом это помещение, вообще говоря, можно было назвать лишь с большой натяжкой. Это была комната площадью не больше двенадцати квадратных метров, в которой стояли, если мне не изменяет память, всего три канцелярских стола с настольными лампами. На стенах висели портреты Луначарского и Крупской, которые, видимо, считались основателями спецфондов в библиотеках. На четвертой стене висел плакат, на котором молодая работница, приложив палец к губам, призывала к бдительности.

За одним из столов сидел знакомый мне подполковник Зюганов из 4-го Управления МГБ. Перед ним на столе лежал огромный фолиант в переплете из красного сафьяна, украшенном золотым двуглавым орлом. Золотом же были оттиснуты слова «Список чинов Высочайшего двора и Собственной Его Величества канцелярии». Чуть ниже был обозначен год — 1913. Справа от Зюганова лежал московский телефонный справочник за прошлый год.

Подполковник отмечал фамилию в «Списке чинов Высочайшего двора», затем сверял ее с телефонным справочником и записывал в секретную тетрадь.

— Здорово, Лукич! — обрадовался он мне.— Диссертацию пишешь?

— Пишу,— соврал я,— а ты чем занимаешься? Монографию готовишь?

— Монографию! Сказал тоже! — занял он.— Пропадаю я здесь, Лукич. Сырость такая, что все суставы ломит. А работы — непочатый край! Приказано к семидесятилетию товарища Сталина столицу почистить от социально опасных элементов. Начальство приказало проверить, кто около царя крутился и избежал законного возмездия. Ежели кто в этом списке есть совпадающий с фамилией в телефонном справочнике, будем брать.

Вот посмотри — граф Фредерикс — министр Высочайшего двора, а в телефонном справочнике семь Фредериксов и шестнадцать Фредериксовых. Со всеми будем работать.

Или вот: здесь граф Альденберг, а в справочнике — Альденберг Соломон Абрамович. Евреи, значит, тоже были за царя? Приказано именно на это обратить внимание.

— Занятно,— согласился я,— трудись. Не забывай только, что телефонами-то не все охвачены. Желательно бы коммунальную службу привлечь к этому делу.

— Да ты что, Лукич, издеваешься, что-ли?

— Не издеваюсь, а дело тебе говорю. Много там бездельников развелось. Ты тут, можно сказать, здоровье гробишь, а они там чаевничают, выезжают на горбу дворников. А из дворника, сам знаешь, какой получается информатор.

— Лукич, понял тебя. Не проговорись где-нибудь! По рукам?

— Ладно-ладно, вкалывай. А я почитаю книгу о том, как попы сбивали сказками с толку трудовой народ.

Сев за стол, я открыл книжку «Теософия и загадки жизни» Анни Безант.

3

Как и следовало ожидать, я мало что понял, просмотрев лекции Анни Безант по теософии. Бред какой-то. Да к тому же и сама Анни путалась в этих вопросах не меньше, чем мой начальник, который давал мне задание.

Одна и та же душа в течение миллионов лет, если не больше, переселяется из одного человеческого тела в другое, давая этому телу духовную и божественную сущность. В противном случае люди отличались бы от животных только повышенной агрессивностью и коварством. Впрочем, даже при наличии души люди несколько не страдают от недостатка этих качеств. Анни Безант отмечала, что характер души фактически является характером того или иного человека. В противном случае человек руководствовался бы одними инстинктами. Душа ведет его по жизни, но далеко не всегда к благополучному концу. Потому что душа часто тяготеет тем телом, в котором находится, поскольку попадает туда не всегда по своей воле, а чаще по предписанию. Кто эти предписания выписывает, Безант не знала. А может, и знала, но говорила об этом очень невнятно.

Тяготясь своим телом, души постоянно норовят освободиться и ежеминутно предпринимают попытки свое тело угробить. Но и это у них не всегда получается, поскольку кто-то осуществляет

над душами очень строгий надзор и не дает им самовольничать. Другими словами, тела для многих душ являются зонами строгого режима, и они, то бишь души, если вообще о чем-нибудь думают, то только о пересмотре срока или о побеге. Так что всякие войны, катаклизмы и катастрофы с миллионами жертв являются своего рода массовыми побегам из зоны.

Читал я, читал, и представилось мне, что и тот так называемый «тонкий мир», где эти души обитают и откуда посылаются в наши грешные тела, построен по принципам военного коммунизма, где обитателей (т.е.— Души), только что оттянувших один срок в зоне (т.е.— в теле), тут же «награждают» еще одним сроком, посылая в новую зону. Вот так получается.

Значит, подумал я, если тот мир чем-то от нашего и отличается, то только тем, что построена в том мире для каждого из своих обитателей индивидуальная зона. А мы их всех здесь отлавливаем и распахиваем по общим зонам. Значит, и на том, и на этом свете действуют одинаковые законы революционной целесообразности. Может быть, там и целесообразность гораздо революционней, чем здесь. Сколько рядов заборов и колючей проволоки надо преодолеть, чтобы до души добраться! Как она хитро запрятана в свою одиночку: физическое тело — зона номер раз; внутри нее — астральное тело — зона номер два; ментальное тело — это как бы БУр внутри ментальной зоны. Но это еще не все!

Долго я бился, чтобы разобраться в «бессмертных телах» человека, фраза одна меня доняла,

запомнил на всю жизнь: «Когда Моада опускается в материю, чтобы одухотворить ее, она присваивает себе по атому из трех высших миров, чтобы заложить ядро своих трех высших тел — атмического, буддхического и интеллектуального».

Понял я это так, что воровство в мире неистребимо, уж коли приговоренные к новому сроку души — и те прихватывают с собой в новую зону по атому чего-нибудь из высших миров!

Вот эти-то три высших тела — это как бы крытка в БУре, карцер в крытке и клетка в карцере, в которую душа запихнута и, я думаю, прикована!

У меня тогда, помню, даже мысль одна крамольная промелькнула: когда Владимир Ильич говорил о перерожденцах, он имел в виду, что эти самые перерожденцы как бы души свои выпустили из зоны, а другие души заманили; или, например, их души побег совершили и вместо себя чью-то чужую душу запихнули срок отбывать.

Получается вроде реинкарнации при живых телах. Но все это как-то мутно перемешалось в голове, ну, как если ленинградскую водку запивать тремя семерками. Тяжесть в голове и в кусты тянет...

Однако дело есть дело. Размышляя на эту тему далее, я вспомнил, что, хотя Советский Союз является одной шестой частью суши, существует еще пять шестых, где свирепствует буржуазно-фашистский режим. Скажем, в США. Там поджигатели войны постоянно грозят спалить весь мир в атомном огне.

Я всегда немного недоумевал: ну, зачем им, спрашивается, уничтожать весь мир атомным оружием? Что — они психи уже совсем? А теперь понял, что от какого-нибудь там Трумэна у них или, скажем, от товарища Сталина у нас, это совершенно не зависит. Это просто души стремятся вырваться из тел и устраивают по всей планете всевозможные безобразия в виде войн и эпидемий.

Этого всего, конечно, в лекциях Анни Безант не было. До этого, как говорится, я сам допер. А у Анни Безант почерпнул, что есть особые люди, называемые «Проводниками», а иногда — «Индукторами» или «Посвященными», которые способны проследить весь путь любой души от ее появления на Земле до наших дней включительно. Вот такого человечка мне необходимо было заполучить, чтобы выполнить полученное задание. Но ясно, что его искать надо не в библиотеке, а где — я и сам еще не знал. По зонам шарить, как мне генерал предложил, страшно не хотелось.

Сдал я книгу. Вера Ивановна ее тщательно пролистала — не выдрал ли я какой страницы и выпустила меня из читального зала.

На выходе меня снова повстречала Януария Андреевна. Не знаю уж, кому она там звонила, пока я книгу изучал, но на этот раз предстала передо мной воплощением любезности.

— Вы уж извините нас, товарищ полковник, — запела она, — порядки у нас строгие и для всех одинаковые, ибо книги наши, как вы сами

понимаете, хуже чумных бацилл в идеологическом плане. Ослабь мы контроль, и они могут стать причиной страшной эпидемии. Поэтому мы и губим свое здоровье в этих подземельях, чтобы обеспечить счастье нашего народа на долгие годы в свете великих предначертаний товарища Сталина.

«А чего, — подумал я, — правильно она говорит. На эти фонды надо бы по второму замку навесить и у каждой двери выставить часового. Если такие книги по стране расползутся, то туши лампу. Что с людьми будет, если они узнают, что из одной зоны они после смерти в другую зону попадут, где пайка, может, еще меньше?»

— Правильно вы все делали, товарищ Вышинская, — говорю я, — так я и доложу по команде. Вы все равно, что пограничники, а граница, как хорошо известно, должна быть на замке. Сами-то этих книжек не читаете? А? Ладно-ладно, пошутил. Спасибо за содействие!

Януария Андреевна проводила меня до самого выхода, где милиционеры стояли, и на прощание неожиданно сказала: — Если вы, товарищ полковник, подобными делами занимаетесь, то вам не к нам надо было приходиться, а в институт Востоковедения. Они там этими суевериями занимаются.

«А, ведь точно, думаю, весь этот бред к нам из Азии идет. Надо в институт съездить. Там, может быть, и проводника разыщу».

Не знал я тогда, что в институте Востоковедения бывший муж Януарии Андреевны работал, и она меня туда посылала вовсе не для того, чтобы

мне помочь, а в надежде, что я всех в этом институте пересажаяю.

Вышел я из библиотеки, сел в свою казенную «Победу» и говорю шоферу-сержанту: — Гони в институт Востоковедения.

И иду прямо в 1-й отдел. И в библиотеке надо было с 1-го отдела начинать, да хотелось не привлекать излишнего внимания, книжку посмотреть и уйти. А вон как получилось.

Начальник 1-го отдела института Востоковедения все понимал с полуслова. В прошлом он был майором — командиром заградотряда НКВД, состоящего из одних казахов. Язык ихний выучил, повадки узнал, а потому после ухода в запас был назначен в 1-й отдел института Востоковедения. Звали его Павлом Ивановичем, и дело свое он знал хорошо. Выслушал меня внимательно, головой покивал и говорит:

— Были, были здесь такие, что народные деньги на подобные сказки тратили. Но их еще до войны всех пересажали. Теперь работаем только по темам ЦК ВКП(б), и курирует нас лично товарищ Поскребышев. Так что, товарищ полковник, ничем помочь не можем.

— Как же? — не соглашаюсь я. — Неужто у вас здесь ни одного грамотного человека, который бы мог мне ответить всего на несколько вопросов?

— Какой человек-то вам нужен, товарищ полковник? — спрашивает Павел Иванович. — Что-то не пойму.

— Грамотный человек нужен, — отвечаю я, —

чтобы историю Востока знал, обычаи ихние и все такое прочее. Никого что ли не осталось?

— Есть один,— признался Павел Иванович,— еврей. Григорий Израилевич Григорович. Шесть ихних языков знает, а в анкете только три указал. Книги всякие берет в научной библиотеке и почитывает.

— Что за книги? — насторожился я.

— А шут их знает! — развел руками начальник 1-го отдела.— Они все на арабском, на хинди и вообще не поймешь. Чего-то там по ихней философии. Он один их и читает только.

— А как книги-то эти к вам попали? — интересуюсь я.

— С царских времен еще остались,— вздыхает Павел Иванович,— пару раз комиссии приезжали да рукой махнули. Никто даже названия прочесть не смог. А объяснения сам Григорович и давал. Так что решили не активировать.

— Говоришь он шесть языков знает? — спрашиваю я.

— Может и больше,— отвечает Павел Иванович,— но шесть точно. Мне мои активисты сообщили.

— И на свободе? — удивляюсь я.

Павел Иванович покраснел.

— Я несколько раз сигнализировал,— доложил он,— а результата никакого. Возможно, рука где есть, а возможно, потому что инвалид.

— Инвалид? — переспросил я.

— Ногу потерял,— пояснил начальник 1-го отдела.

— На фронте? — спросил я.

— Нет. В экспедиции еще до войны... Потому и на фронт не попал,— уточнил Павел Иванович,— а остальные умники, что здесь придуривались и кого до войны не посадили, все полегли в народном ополчении. Это я знаю точно. Сам за ними со своими «джамбулами» стоял и пулеметным огнем им показывал, в каком направлении бежать следует.

И Павел Иванович весело рассмеялся.

Но мне было не до смеха.

— Побеседовать с ним хочу,— сказал я,— пришли-ка его ко мне, Павел Иванович. А сам погуляй где-нибудь часочек другой.

— Слушаюсь,— отвечает он,— вон там телефон прямой. По нему можно сразу «воронок» вызвать.

Ушел Павел Иванович, а минут через пятнадцать в кабинет входит этот самый Григорий Израилевич. Худой, лысый с седыми лохмами, на палочку опирается.

— Здравствуйте,— говорю,— Григорий Израилевич. Присаживайтесь, пожалуйста. Побеседовать нужно.

Я всегда употребляю слова «присаживайтесь», а не «садитесь». А то уж больно зловеще получается. Как-то раз сказал «садитесь, пожалуйста», так у профилактируемого чуть припадок не случился.

— Слушаю вас, товарищ полковник,— говорит Григорий Израилевич,— чем могу быть вам полезен?

Я начинаю издалека:

— Вы, говорят, шесть языков знаете?

— Это преувеличение,— отвечает он,— по-настоящему я знаю только три: арабский, хинди и фарси.

— Где же вам сподобилось их изучить? — недоумеваю я.

— В университете,— улыбается он,— на Восточном факультете, который закончил в 1934-м году. А потом в процессе работы усовершенствовался.

— И книжечки,— говорю,— разные там почитываете, что от царского режима в библиотеке остались?

— Читаю,— отвечает он,— только литературу, необходимую для работы по теме, которая официально утверждена в ЦК.

— И что за тема? — любопытствую я.

— История революционного рабочего движения в высокогорных районах Тибета, Гималаев и Памира. Роль ленинской партии в этом движении,— говорит он тусклым голосом.

— Интересно,— удивляюсь я;— и больше ничем не занимаетесь?

— Больше ничем,— уверяет он,— но по данной теме я уже издал 17 монографий. Могу вам представить немедленно, если есть необходимость.

— Не надо,— отказываюсь я,— а религиями Востока вы не занимались?

— Нет,— отвечает Григорий Израилевич,— только рабочим движением.

— И о религиях Востока вообще ничего не знаете? — недоверчиво улыбаюсь я.

— Только в рамках университетского курса,—

упорствует Григорий Израилевич,— потом сталкиваться не приходилось.

— Ну, а о переселении душ вам что-нибудь известно? — не отстаю я.

— Мне известно, что такое суеверие имеет место,— отвечает он,— но я лично к этому никакого отношения не имею.

— Я вам верю,— успокаиваю я его,— если бы не верил, то и разговаривали бы мы в другом месте. Я просто хочу с вами проконсультироваться. Если души переселяются, то есть ли возможность за этими переселениями проследить?

— Понятия не имею,— пожимает он плечами,— никогда подобными вопросами не интересовался.

Решил я его тут подцепить с другого конца.

— А слово такое «проводник» вам что-нибудь говорит?

— Конечно,— отвечает он,— это работник железной дороги, который проверяет билеты, разносит чай пассажирам и отвечает за порядок в вагоне.

— И только? — смотрю я на него в упор.

— Возможно, у него есть и другие обязанности,— отводит глаза Григорий Израилевич,— но они мне не известны.

— Хорошо,— говорю я,— а такой термин, как «индуктор», вам известен?

— Боюсь ошибиться,— отвечает он,— но мне кажется, что этот термин из области электротехники. Я в ней плохо разбираюсь.

— Так,— не сдаюсь я,— а что значит термин «посвященный»?

— Это тот, кто имеет доступ к режимной работе,— говорит Григорий Израилевич.— Сам я никогда допуска не имел.

— Мне кажется,— подвожу я итог,— что вы не говорите правду и не хотите оказать содействие органам в проведении расследования государственной важности. Вы, видимо, хотите быть допрошенным по всем правилам у нас на Лубянке? Так это я мигом могу организовать.

Он молчал, нервно постукивая тростью о пол.

— Не слышу ответа,— грозно заявил я.

— Сажайте,— неожиданно взвизгнул Георгий Израилевич.— Вы хотите научиться проследить инкарнации, чтобы получить еще один повод отправлять людей в лагеря в зависимости от того, в ком была его душа в прошлом. Вам национальности и социального происхождения уже мало.

Тут я поперхнулся. Действительно, как начнут разбираться, где и у кого душа раньше находилась, так не обрадуешься. Посадят вот такого «проводника» в комиссию или просто в тройку — и будет он клепать на каждого! Человек, скажем, потомственный пролетарий, а тут выяснится, что в своей прошлой жизни он был помещиком, капиталистом или кулаком. Беды не оберешься! Я ведь даже и про свою душу ничего не знаю. Где она раньше была? Может, в каком царском жандарме сидела? Иначе откуда у меня такая тяга к чекистской работе? А у других? Новый повод будет все органы под нож пустить.

Тут-то для меня и стало доходить, что не все так просто в том задании, которое я получил.

— Ладно,— говорю я Григорию Израилевичу,— не надо истерик. Не хотите говорить — не надо. У нас все на добровольной основе. Подпишите вот эту бумажку о неразглашении и можете идти.

Даже не сказал ему на прощание сакраментальную фразу, что, мол, понадобится — так мы вас вызовем. Не хотелось мне с ним больше встречаться. Испугал он меня, признаюсь. Все мое задание стало выглядеть в каком-то новом свете. Из Кремля никогда просто так ничего не исходит. Глупостями там не занимаются.

Но Григория Израилевича через неделю все-таки забрали. Честно скажу, что я к этому руки не прикладывал. Потом узнал, что посадили его по списку, составленному подполковником Зюгановым, которого я встретил в спецфонде библиотеки имени Ленина. Зюганов там раскопал, что в царской свите находился какой-то Григорович, кажется, адмирал, чуть ли не министр. Дали ему тогда немного — всего 15 лет. После смерти Сталина он почти сразу же вышел и обижался почему-то именно на меня. Пришлось даже в райкоме доказывать, что я к этому отношения не имел, а то в те времена под горячую руку Никиты Сергеевича можно было и схлопотать за то, что я упек в зону ученого с мировым именем. Но разобрались, поняли, что не мое это дело.

Не знаю, что такого выдающегося открыл Григорий Израилевич на Памире или в Гималаях, но вряд ли по рабочему движению. Вызывали, скорее, Зюганова, хотя и не уверен. Знаю только, что потом он работал в аппарате ЦК. Значит, тоже отвертелся. Или прикрыли.

Как ни прав был Григорий Израилевич, мне от этого легче не стало. Полученное задание я обязан был выполнить. Понял я, что нечего мне умничать и ходить по разным институтам. Начальник мне правильно сказал: «Ищи в зоне». А начальство всегда знает, что говорит. А если умничать начнешь, то только время потеряешь и себя с начальником под монастырь подведешь.

По правде говоря, совсем мне не хотелось по зонам ездить.

Что в тот год в зонах творилось, никто уже сейчас представить не в состоянии. Творилось уже нечто не земное, а скорее, космическое, если так можно выразиться применительно к ГУЛАГу.

Солженицын вот говорил «архипелаг ГУЛАГ», но это уже был не архипелаг, а целая империя, практически совершенно не зависящая от страны, именуемой Союзом Советских Социалистических республик. Да что там! Эта империя находилась со страной СССР в состоянии, напоминающим состояние войны и готова была его аннексировать и поглотить. Ну, как сейчас: криминальная империя ведь уже осадила и готовит штурм и Кремля, и Думы, и Прокуратуры, не говоря уже о банках, торговле и прочих мелочах.

Можно сказать, что СССР находился между гулаговским молотом и империалистической наковальней. И тужился уже из последних сил. Но не все тогда это понимали.

В самом ГУЛАГе собственные проблемы существовали. Все зоны были переполнены, а эшелоны

с новым контингентом зеков шли непрерывным потоком. Размещать заключенных, не говоря уже о том, чтобы их кормить и обмундировывать, было нелегко.

Существовал тайный договор между комендантами зон и этапно-конвойной службой — зеков живыми до зон не довозить. Сделать это было проще простого. Загоняли заключенных по 80 человек в телятник и везли на Дальний Восток, на Крайний Север или в Среднюю Азию. Везли больше месяца, но не кормили, не поили, а ежели дело было зимой, то и не топили вагоны. И в аккурат всех покойниками к месту назначения и привозили. А местные зеки, что сидели еще с военных и довоенных времен, никакими стройками народного хозяйства уже не занимались, а в три смены хоронили вновь прибывших.

Может, ты видел хронику, как ломами замерзшие трупы друг от друга отрывают и из «телятника» выгружают. Это как раз про те времена.

Если до войны еще цель какая-то в этом была — обеспечить прочный тыл перед великим походом, то после войны, когда стало ясно, что великий поход провалился, уже никто во всем этом смысла никакого не видел. Все продолжалось как бы по инерции. Страной никто не управлял. Вожди находились в какой-то прострации. Нарастал хаос. И, конечно, в зонах никакого учета ни по каким показателям не велось, а процветала одна чернуха.

Потому мне и не хотелось по зонам ездить и этого самого «проводника» там искать. Но другого выхода не было.

Пересилив себя, я отправился в Управление лагерей, подумывая о том, как бы аккуратнее доложить начальству, что никого я не нашел ни в зонах, ни вне их.

Но и тут у меня ничего не получилось. Едва выслушав мою сбивчивую просьбу, генерал Тюлькин, который ведал всей оперативной частью ГУЛАГа во всесоюзном масштабе, рассмеялся и сказал:

— Да у нас таких, Лукич, сколько хошь! Все зоны, считай, ими забиты. Их там промеж себя кличут «щекоточниками». Ну, я тебе скажу — есть асы! Закачаешься!

Вот это был другой разговор, не то что в библиотеке или в институте. Без всяких там разных комплексов и зашкаливаний в разные стороны. Родная обстановка!

— Веришь ли, Лукич,— продолжал генерал Тюлькин,— некоторые так набалтывались, что только за последний год шесть «кумов» у меня в разных зонах умом тронулись, а двое — повесились. Правда, у тех моральные устои были сильно подавлены алкоголем. Приходит надзиратель, скажем, в барак или в БУР, видит лежит там «зек» мертвый, как бревно. Вызывает там врача или фельдшера, кто есть, составляют акт, что точно помер. Актируют подобным макарон и, как положено, вытаскивают за вахту в ожидании погребения или транспорта. А оказывается, этот пидар душу из себя выпустил, та где-то летает, а он вроде бы, как мертвый, лежит. Только его за вахту вытащишь — душа мигом хлоп! — и снова в нем. И вместе в бега! Представляешь?

И генерал Тюлькин зло засмеялся.

— Но и мы тоже не пальцем деланы,— сказал он,— сразу по всем зонам разослали инструкцию: если «зек» актируется, то ему голову следует кувалдой разбить или штыком проткнуть, прежде, чем за вахту выносить. Сразу охотников поубавилось!

— А почему их «щекоточниками» называют? — поинтересовался я.

— Раньше их щекотали,— пояснил генерал,— чтобы выяснить помер он взаправду или нет. В некоторых зонах их «попрыгунчиками» называют — прыг-скок и на воле! Сам-то лежит, а душе что? На то она душа и есть. Ее колючкой, вышками и собаками не удержишь. Вот такие брат, Лукич, дела. А тебе-то на кой ляд щекоточник-попрыгунчик понадобился?

— Дело одно веду небольшое, но хитрое,— сознался я,— мне бы вот именно и нужно аса среди асов заполучить.

— Аса, говоришь,— переспросил Тюлькин и подошел к большой карте ГУЛАГа, висевшей на стене. В принципе, это была обычная карта Советского Союза, где территория нашего государства была окрашена в традиционно красный цвет, а синим цветом на нее были нанесены зоны ГУЛАГа. Карта была даже не секретной. На ней стоял «детский» гриф «Для служебного пользования».

Жаль, что такой карты не видел Солженицын. Она бы произвела на него впечатление. Красная краска на карте просвечивала уже как мелкая сыпь на фоне синего цвета. А рядом висела другая

карта с надписью: «Карта перспективного развития учреждений ГУЛАГа в грядущую пятилетку», на которой красным цветом светила одна Москва, как маленький островок в бескрайнем синем океане!

Подошел, значит, генерал Тюлькин к карте, окинул ее взором, как полководец, обдумывающий план последнего сокрушительного удара по противнику, и говорит:

— Другому бы не сказал, но тебе, Лукич, по старой дружбе скажу. Есть в Дальлаге один зек. Тянет четвертной, как японский шпион. Взяли его в Маньчжурии в сорок пятом году. Ну, я тебе скажу, такие штуки со своей душой вытворяет, что диву даешься. Хотели было его под «вышак» подвести от греха подальше, но потом подумали, что с такими талантами можно его на заграничье попробовать. Представляешь, тело в зоне в карцере на цементном полу находится, а душа где-нибудь в Вашингтоне шастает и все ихние секреты вынюхивает! Поэтому приказал я его временно от общака освободить, к санчасти пристроить и сейчас согласовываю с командованием на предмет науного эксперимента.

— Ну, а руководство чего говорит по этому поводу? — поинтересовался я.

В голосе Тюлькина зазвучала неприкрытая обида:

— Понимаешь, Лукич, у меня такое впечатление складывается, что руководству нашему сейчас все до лампочки. Ни на какие новаторские предложения не реагируют. Долго молчали, а потом мою бумагу прислали с резолюцией —

работайте пока собственными силами. А какие у нас собственные силы? Шараг нет, чтобы такой тематикой заниматься. В зоне, правда, есть один профессор. Мотает 25 лет за парапсихологию. Я ему говорю: «Вот тебе материал для опытов. Бери, изучай». А он ни в какую. Боится второго срока. Ему 72 года, сидеть четвертную, вот он второго срока и боится! Что с людьми происходит? Ты что-нибудь, Лукич, понимаешь? А насчет посылки души за кордон тоже не все ясно получается. Душу можно просто так выпускать или надо на нее визу оформлять. И опять же, вдруг она всех нас за кордоном и сдаст. Тогда сам от вышака не отвертишься.

— Это точно,— соглашаюсь я,— тут надо очень осторожно работать. Шаг вправо, шаг влево — сам понимаешь... Потому и передай этого аса мне, со всеми этими вопросами разобраться. Не исключено, что именно по твоему все и закрутилось. Я с этим «асом» поработаю, а там посмотрим.

Подумал немного генерал Тюлькин и говорит:

— Ладно. Отдадим его тебе. Но уж, ты, Лукич, если все, как надо, получится, про нас-то не забудь. Укажи в рапорте, чья идея была. А то работаешь, работаешь, а ордена другим достаются.

— Не сомневайся,— отвечаю,— себя не укажу, тебя и кого ты скажешь — всех отмечу и представлю к правительственным наградам и досрочным присвоениям. Поскольку поручено мне выполнить правительственное задание особой

важности. Подробностей, сам понимаешь, никаких сообщить права не имею.

— Понимаю, понимаю,— кивает головой Тюлькин,— уж раз тебе поручено, то значит тайна государственная на «три нуля». Это уж ясно. Отдам тебе, Лукич, этого зека. Только тебе придется самому в Дальлаг съездить. Я тамошнего начальника — полковника Лукьянова — хорошо знаю. Он его на этап никогда не отдаст. Да и этапы сейчас никого оттуда до Москвы не доводят. Километров на двадцать отойдут, и все у них, как мухи, дохнут от сердечной недостаточности. И ничего не поделать — все оформлено, как надо, все справки в порядке. И никто не знает, что в натуре произошло: то ли всех перестреляли, то ли все разбежались. Или откупились. Так что поезжай сам.

Ну до того неохота мне было переть на Дальний Восток, что я спросил:

— Послушай, Тюлькин, а поближе у тебя никакого «аса» нет? Под Москвой, скажем?

— Нет,— ответил он,— под Москвой одни урки. Как социально близкие.

Вручил он мне запечатанный конверт на имя полковника Лукьянова и пожелал счастливого пути.

— Позвонил я своему генералу и доложил, как обстоят дела.

— Что же делать,— как бы посочувствовал генерал,— надо ехать, Лукич. Я тебе самолет выбью и дам директиву по линии на предмет полного содействия. Если понадобится, то ты этого Лукьянова имеешь полномочия расстрелять

на месте, а мы потом его оформим как перерожденца.— Засмеялся в трубку.

Потом я услышал, как он с кем-то переговаривается. Затем в трубке раздался хохот и снова — голос генерала:

— Вот тут мне подсказывают, как ее там, карнацию, что ли, можешь ему досрочно организовать. Что-то часто стал перерождаться. Так что оформляй карнацию, но только без кастрации.

Снова раздался хохот — явно в кабинете генерала гудели близкие друзья. Я даже услышал визгливое хихиканье Аннушки-пенометчицы. Через несколько секунд генерал, уже серьезно, пробасил:

— Давай, лети, Лукич! А то «гулаговцы» нас на мякине проведут. Сам знаешь, какие они хитрожопые.

Под утро я вылетел на Дальний Восток с нашего подмосковного аэродрома МГБ. Спасибо Лаврентию Павловичу — он тогда стал разворачивать военно-воздушные части МГБ — и у нас была своя авиация.

В те годы ждать какого-нибудь содействия от армии было пустым занятием. Особенно после того, как мы прошлись по дачам некоторых маршалов, начиная с Жукова, и обнаружили там сокровищ наворованных, как в пещере Али-Бабы. Но это другая история.

Долетел я нормально. Все было четко организовано. На месте прибытия ждал гидросамолет, который доставил меня на озеро всего в двадцати километрах от той зоны, где, по моим сведениям,

должен был в этот день находиться полковник Лукьянов.

Под началом Лукьянова были зоны, территория которых во много раз превышала Голландию и Бельгию, вместе взятые. Сам он обосновался в довольно крупном райцентре, поближе к железной дороге, где находились главная комендатура и основные службы этого куста лагерей. Куст Лукьянова был частью гигантского феодального домена — Дальлага, раскинувшего свои владения от Колымы до Амура.

В районном центре, где находилась лукьяновская комендатура, уже не было ни райкома, ни исполкома. Всех поглотила зона. В качестве власти выступала одна комендатура.

О зоне судят по ее центральной вахте, и, судя по всему, та зона, к которой мы подъехали на американском джипе, была показательно-образцовой. По арке, над несколькими рядами колючей проволоки алели слова: «Труд в СССР — дело чести, доблести и героизма!». Ниже красовался портрет товарища Сталина, украшенный яркими цветами.

Через ворота, колоннами по четыре, шли зеки, хором исполняя самую популярную в ГУЛАГе песню: «Я второй такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» Эта же песня гремела через громкоговорители, установленные на крыше административного барака. Конвой с огромными овчарками пересчитывал колонны, принимая зеков у внутренней охраны.

Чуть поодаль, подобно Суворову, наблюдающему за маршем своих чудо-богатырей, стоял

полковник Лукьянов с несколькими своими офицерами. По их позам можно было предположить, что марширующим зекам по меньшей мере приказано еще раз взять Берлин и наступать затем на Москву.

Хотя Лукьянов был оповещен о моем приезде — гидросамолет и джип принадлежали ему, — он при виде меня сделал вид, что страшно удивлен и даже обрадован.

— Лукич! — воскликнул он, открывая объятия, — вот не ожидал!

Мы обнялись и расцеловались. Действительно, мы с ним давненько не виделись, если виделись вообще.

— А у нас, — сказал Лукьянов, когда мы закончили поцелуйный обряд, — параша прошла, что тебя, Лукич, в прошлом году шлепнули по коминтерновскому делу. Мы даже тихонько за упокой твоей души выпили.

— Долго жить буду, — засмеялся я в ответ, — меня уже, Лукьяныч, раз пять шлепали да все мимо. Трудно в меня как следует прицелиться. А вот я никогда пока не промахивался.

Поскучнел он немного. Моему появлению никто обычно не радовался, поскольку все знали, что нигде я просто так не появляюсь, а только в рамках выполнения особо важных государственных заданий, по сравнению с которыми их личные судьбы ровным счетом не значили ни шиша. А уж коли я в такую глушь забрался, то можно было ожидать чего угодно.

Потому пальцы полковника Лукьянова заметно дрожали, когда он ломал сургучные печати на

пакете, который я ему вручил в местной комендатуре — уютном деревянном домике, украшенном портретами товарищей Сталина и Дзержинского, которые висели прямо над крыльцом как две чудотворные иконы. По приказу Лукьянова, все проходящие мимо военнослужащие должны были отдавать честь, а гражданские и зеки снимать шапки.

В пакете, который я передал Лукьянову, могло быть что угодно. Вплоть до приказа ликвидировать зону, а самому застрелиться. Поэтому, прочитав текст, полковник заметно повеселел. Но не надолго.

— Хакима у меня заберешь? — спросил он без всякого энтузиазма в голосе. — А вернешь?

— Постараюсь вернуть, — пообещал я, — а ты что — без него жить не можешь?

— Тебе Тюлькин говорил, какие у него таланты открылись? — вопросом на вопрос ответил Лукьянов, — это же прорыв в новые области науки. Нам о приоритете думать надо. А вдруг там, за океаном, нас опередят?

Тут надо заметить, что полковник Лукьянов к тому времени ухитрился защитить при Дальневосточном филиале Академии наук сразу две докторских диссертации: доктора юридических и экономических наук. А на Хакиме, видимо, нацелился на третью. Так ковались творцы нашей фундаментальной науки на много десятилетий вперед.

— А почему его Хакимом зовут? — поинтересовался я, уходя от прямого ответа о нашем приоритете в данной области.

— Его настоящее имя Хакамацера Имакадзе. А сокращенно зовем его Хакимом.

— Учетную карточку его посмотреть можно? — попросил я.

— Нет вопросов,— ответил Лукьянов и крикнул кому-то в окошко: — Лужников! Кончай курить! Карточку Хакима ко мне, быстро!

Через пять минут появился какой-то старшина. Приложив правую руку к пилотке, а левой подавая Лукьянову квадратную карточку учетной карточки заключенного с красной диагональной полосой, он доложил:

— Товарищ полковник, ваше приказание выполнено!

— Можешь идти,— буркнул Лукьянов, передавая учетную карточку мне.

Прежде всего я обратил внимание на то, что на фотоснимках, сделанных, как и положено, в фас и профиль, Хакамацера Имакадзе совершенно не похож на японца. Во всяком случае, как я их представлял. На что я и обратил внимание полковника Лукьянова.

— Потому и оставили его у нас в тылу шпионажем заниматься, что не похож на японца,— уверенно ответил полковник,— а если бы был похож, то какой дурак стал бы его в нашем тылу оставлять?

Логика тут была железная, и я возражать не стал.

Из учетной карточки я узнал, что Хакамацера Имакадзе — офицер Квантунской армии, был заслан в Тибет еще до войны с целью диверсионной деятельности и подготовки вторжения в эту

высокогорную область японских милитаристов. Внедрившись в местную среду, он много лет маскировался под тибетского монаха, распространяя всевозможные реакционные и лженаучные домыслы.

С началом советско-японской войны был отозван из Тибета для организации диверсионно-шпионской деятельности в тылу Дальневосточного фронта. Арестован Особым отделом фронта в Улан-Баторе в сентябре 1945 года. Во всем чистосердечно признался, вследствие чего военный трибунал счел возможным заменить ему высшую меру двадцатипятилетним сроком заключения. Год рождения — 1890, национальность — японец, место рождения — Япония, начало срока — октябрь 1945 года, конец срока — прочерк.

— Почему же он здесь сидит? — спросил я Лукьянова, — а не с японскими военнопленными?

На лице Лукьянова появилась снисходительная улыбка.

— Да ты что, Лукич? — скривился он. — Какой же он военнопленный? Он обыкновенный диверсант и на статус военнопленного не имеет права. Он сейчас каждый день своему японскому богу молится, что его не расстреляли. Военнопленный — это прежде всего тот, кого в собственной военной форме взяли. А этого, Хакима, взяли в нашей военной форме с погонами старшего лейтенанта. Так что все по закону.

— Ладно, — говорю, — это в общем-то значения большого не имеет. Оформи его, как положено. Сдай его мне. Нужно срочно в Москву возвращаться.

— Да не спеши ты! — смеется Лукьянов,— его еще в баньке помыть надо, подготовить к спецэтапу, бушлат новый выдать. А мы с тобой, Лукич, в баньке попаримся, коньячком сосуды расширим и многие другие удовольствия поимеем.

Только, если вы в Москве с Хакимом на большую науку выйдете, то не забудьте, кто этого Хакима нашел и, так сказать, путевку ему в жизнь выдал. Мне-то сейчас, по правде говоря, не до него. Большие дела грядут, Лукич! Придется науку временно отложить до лучших дней. А там я в Москву вернусь и подключусь к вашим опытам. Но Хакима ты в зону верни, когда закончите.

Лукьянов подозрительно поглядел на меня:

— Или вы хотите ему помиловку выбить?

— О помиловке ничего не скажу,— ответил я,— но, может быть, треть срока ему скосить придется.

— Это не страшно,— махнул рукой Лукьянов,— вы ему треть скосите, мы ему две трети здесь добавим на выездной сессии трибунала.

Лукьянов хотел было засмеяться своей шутке, но, видимо, о чем-то вспомнил, потому что снова стал серьезным и сказал:

— Ладно, не спеши его в зону возвращать. Пристрой лучше в какой-нибудь шараге. А то не будет меня, может он здесь и пропасть, потому как предвидится большая подвижка спецконтингента.

— О чем ты? — не понял я.— Ты переводиться куда-то собрался? Какая подвижка?

Вечером после баньки за коньячком разомлевший полковник Лукьянов поведал мне следующую историю.

Оказывается, товарищу Сталину, лично составившему проект Туркменского канала, чтобы превратить, на зависть всему миру, пустыню в цветущий сад, захотелось чего-нибудь более глобального. И он решил заняться освоением Антарктиды.

Ученые представили ему доклад, что подо льдами шестого континента золота и алмазов не меряно. Сколько — никто точно не знал, но много больше, чем, скажем, на Колыме. Это подтверждали и западные специалисты, как в открытой печати, так и на тайных совещаниях, подслушанных нашей разведкой.

Только на Западе, по причине общего загнивания их капиталистического строя, все сходилось на мысли, что при нынешнем техническом состоянии мира вырвать из-под льда сокровища Антарктиды не удастся. Что, мол, это дело далекого будущего.

Но у нас уже с десятков лет внедрялся лозунг «Не ждать милостей от природы, а взять их у нее». Конфисковать силой, что уже было доказано на примере Колымы. И товарищ Сталин приказал освоить Антарктиду и даже сам составил план добычи золота, драгоценных камней и редкоземельных элементов на две грядущие пятилетки. Разъяснил он, и каким образом, и какими средствами эти «богатства взять из-под земли». То есть, в данном конкретном случае — из-под льда.

В Антарктиду, указал вождь, надо свезти зек-ков из северных лагерей, особенно тех, кто имеет опыт выживания на Колыме или, скажем, в Норильске. Всех, кто уже отбыл срок, розыскать и дать второй срок, чтобы хорошо и долго там поработали. Установить им обычную норму — тридцать кубометров в смену — и пусть ломами лед разбивают. А другие на волокушах свозят его к берегу и в море сбрасывают. Передовиков можно — в виде исключения — расконвоировать.

Тут я с сомнением покачал головой и сказал Лукьянову, что вряд ли все это получится, особенно если лед на волокушах к берегу возить и в море сбрасывать.

— Почему не получится? — возразил Лукьянов, наливая в стакан коньяк из красивой бутылки с пятью красными звездами на этикетке и штампом «уплочено». — В Норильске получилось, на Колыме получилось, а почему там не получится? Должно получиться, если не будет саботажа. Сначала зоны построить, а там все пойдет, как везде.

Комендантом всех антарктических зон прочили назначить самого Лукьянова с повышением прямо в генерал-лейтенанты.

От перспектив и масштабности задач дух захватывало. Он уже начал складировать в дальневосточных портах сотни тысяч ломов, топоров, кирок и мотков колючей проволоки. Между прочим, в аккурат сорок лет там это железо пролежало, пока один лихой кооператор, как его там — вроде, Артем Бульбов одним махом все материальное обеспечение антарктических зон не отправил

за кордон. Слышал я где-то, что чуть ли не миллиард одних только партийных взносов внес в кассу. Так-то вот. Ну да ладно. Это все потом было.

Тем временем руководство Дальлага собирает в портах Приморья от Магадана до Корсакова пароходы, которые должны доставить в Антарктиду первую партию зеков и охраны. «Все получиться должно,— якобы сказал сам товарищ Сталин и грустно добавил,— если нам опять войны не навяжут».

— А разве Антарктида — наша территория? — удивился я, лихорадочно вспоминая, кому принадлежит шестой материк.

Лукьянов объяснил, что формально Антарктида ничья, но поскольку, как общеизвестно, она была открыта русскими моряками, то СССР имеет полное юридическое право заявить на нее свои претензии и добиться в ООН их удовлетворения. С точки зрения международного права приоритет Советского Союза несомненен.

— Куда они денутся? — усмехнулся Лукьянов.— Начнут корячаться, мы пригрозим, что всех евреев у себя перережем. Мигом согласятся! Ночью мне приснился сон, что я иду среди пингвинов и спрашиваю, есть ли у них душа. А они суют мне на подпись процентовки на колотый лед и отвечают: «У нас у всех одна душа!» и показывают на полковника Лукьянова.

5

Хаким, хотя и не был похож на японца, был, как и все японцы, маленьким, худеньким и очень

подвижным. Лицо его, окаймленные небольшой седой бородкой, было совершенно европейским. По-русски он говорил сносно, я бы даже сказал превосходно. Не хуже, чем полковник Лукьянов.

— Гражданин Имакадзе,— сказал я,— вы отобраны для проведения опытов государственной важности. Я знаю о некоторых ваших талантах, а потому прошу ими не пользоваться на этапе. Человек я нервный и могу расстрелять ваше тело, когда ваша душа гуляет неизвестно где.

— Ничего не получится, гражданин начальник,— говорит он мне,— в тело бессмысленно стрелять, когда в нем нет души. Единственный шанс перебить серебрянную нить, которой душа соединяется с телом.

— Что еще за нить? — спрашиваю я,— где она эта нить?

— Невидимая серебрянная нить,— поясняет Хаким,— она связывает тело с душой, когда та странствует по звездам. Если эту нить перебить, то душа улетает, а тело погибает. Но вот пулей это сделать очень сложно, лучше гранатой.

— Если потребует обстановка,— пообещал я,— то и за гранатой дело не станет. Но я не хочу крайних мер. А потому прошу вести себя прилично.

Фраза «Прошу вести себя прилично» у меня еще со времен ленинской зоны осталась. Этой фразой я часто увещевал Ильича, когда он расходился в пролетарской ненависти. И он всегда слушался и говорил: «Извините, батенька, погорячился!».

А потому эта фраза ко мне и прилипла.

— А скажите, гражданин Имакадзе,— спрашиваю я,— можете ли вы...

— Не называйте меня Имакадзе,— перебивает меня он,— зовите просто Хаким.

— Ладно,— соглашаюсь я,— так скажи мне, Хаким, умеешь ли ты различать прошлые инкарнации живущих ныне людей?

— Обижаете, гражданин начальник,— отвечает он мне,— читать прошлые инкарнации каждый дервиш умеет. Для этого на Тибете жить не нужно. Для этого достаточно свинины не есть. Я кое-что и похлеще могу, чем инкарнации читать.

— Вот как? — говорю я.— А ну-ка скажи мне, кем я был в предыдущей жизни.

— Никем не были, гражданин полковник,— улыбается Хаким,— душа ваша молодая. Живет в теле первую жизнь. Такие тело любят, а потому будете вы долго жить. Тем более, что душа у вас женская, любопытная, склонная к авантюрам, но в союзе с телом немного ограничена в своих поступках. Вчера, например, она летала ночью в Антарктиду, где встречалась с душой полковника Лукьянова, который собирается там строить зону...

— Стоп! — приказываю я.— Тихо, Хаким! А то нам обоим не сдобровать!

А сам пот со лба вытираю.

«Вот, думаю, и ответ, как быстро управляемая душа добирается до секретной информации. Можно сказать, до стратегических планов, еще вынашиваемых в правительстве».

— Только ничего не выйдет,— продолжает Хаким, игнорируя мой приказ замолкнуть.

— Почему же? — спрашиваю я.— Не выйдет. Все, что наметила партия, выполним. Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики, Хаким. Прикажут взять Антарктиду — возьмем и Антарктиду. Что нам помешать может?

Сам понимаю, что несу вздор, но на каком языке полковник МГБ может еще разговаривать с ЗК?

— Война помешает,— говорит Хаким.

— Война? — переспрашиваю я.— Будет все-таки война? Скоро?

— Скоро,— кивает головой Хаким.

Я верю, потому что и товарищ Сталин об этом предупреждал неоднократно.

— И кто победит? — спрашиваю я.

— Победит дружба,— отвечает Хаким.

— А яснее нельзя? — злюсь я.

— Яснее нельзя,— подтверждает Хаким,— и из будущего, и из прошлого нет ясных ответов. Язык оракулов иносказателен. Дружба — это тоже понятие растяжимое. В объятиях, порой, задуют быстрее, чем в драке.

— Ладно,— говорю я,— не умничай. Скажи лучше, с кем война будет? С американцами?

— Американцы далеко,— уклончиво отвечает Хаким,— война начнется в душах. Это самая страшная война, начальник, когда тело начинает сражаться с собственной душой. Тогда душа поворачивает энергию тела на что угодно, чтобы передохнуть. И вот тут-то все и начинается. Такие периоды уже бывали. Особенно в России.

— А где это ты так хорошо выучил нашу историю,— подозрительно спрашиваю я,— в разведцентре?

— Нет,— неожиданно ошарашивает меня Хаким,— ни в каком разведцентре я не учился. А историю России хорошо знаю, потому что сам я русский.

— Не лепи горбатого, — перешел я на зековский сленг,— а то обратно в зону отправлю. Какой-же ты русский, если в карточке ясно написано — японец. И место рождения у тебя указано — Япония. И приговор тебе зачитали на японском языке через переводчика. Ты мне голову не морочь, пожалуста. Потому что, если ты русский, то приговор твой могут пересмотреть. Так тебя судили как иностранного подданного, а так повесят еще измену родины в форме шпионажа. А это уже верный «вышак», хоть он сейчас и официально отменен.

Мы к этому времени уже до Москвы добрались обратно. На аэродроме меня мой генерал встречал с машиной.

— Золотой кадр,— докладываю я,— где мы его разместим, товарищ генерал? На Лубянке или на какой-нибудь точке?

— Ты рехнулся, Лукич? — спрашивает генерал,— вези к себе домой, держи на квартире, никуда не выпускай. Деньги мы на его содержание выделим. И, давай, работай!

Денег на содержание Хакима полагалось 3 рубля 70 копеек в день плюс еще 30 копеек как «лагкомандировочные». Генерал решил не мелочиться и сразу же отсчитал мне 300 рублей.

— Ничего не жалко,— заявил он,— только дай результат. И никому ни звука, пока я лично все не проверю.

Привез я Хакима к себе домой, поставил раскладушку, купил хлеба, сарделек и «маленькую», чтобы смазать взаимоотношения.

— Нет, нет,— отказался Хахим,— не пью я, гражданин начальник. В рот не беру. Капля алкоголя может привести к непредсказуемой катастрофе.

— Ну, будет,— увещаваю я,— какая там катастрофа! Отправим тебя в зону обратно или здесь расстреляем. И дело с концом. А в рапорте что-нибудь придумаем. Напишем, что отправили тебя проводить геологическую разведку в Антарктиду вместе с полковником Лукьяновым. Он, кстати говоря, хотел взять тебя с собой на первом пароходе. Вместе с ломami и колючкой.

— Не поедет в Антарктиду полковник Лукьянов,— отвечает Хахим,— не поедет. Потому что его диссертацией по экономике социализма интересуется сам товарищ Сталин. От этого полковник Лукьянов так разнервничается, что умрет в какой-то местной роскошной больнице.

«Интересно,— думаю я,— у нас на Лубянке почти все знали, что товарищ Сталин пишет книгу по экономике социализма. Не подсылал ли Лукьянов душу Хакима, чтобы подсмотреть тезисы вождя на предмет плагиатного использования в своей диссертации? Или Хахим инициативно прочел сталинскую рукопись и подсказал тезисы Лукьянову. Теперь с лукьяновской диссертацией ВАК доложил вождю, и Сталин, конечно, даст команду разобраться, каким образом документы с его стола стали известными какому-то полковнику Лукьянову из далекой сибирской

зоны. Разборка, разумеется, начнется с того, что Лукьянова возьмут. Он — в этом можно не сомневаться — тут же сдаст Хакима. Другими словами, и меня тоже».

«Да,— вздохнул я,— не дожить тебе, Лукич, с такими заданиями до 100 лет».

— Ладно,— говорю я Хакиму,— не пей, если душа не принимает. Я один выпью. А что со мной будет — можешь подсказать? Генерала получу?

— Нет,— отвечает Хаким,— не будете вы, гражданин полковник, генералом. И не мечтайте. Когда душа первую жизнь живет, тело никогда высоко не поднимается, но и в пропасть, вместе с тем, не срывается. Я говорил уже, что душа ваша женская, она интуитивно высоко не лезет, а больше приглядывается. Ей все интересно, потому вы, наверное, много всякого такого знаете, что другому знать не положено, да и вам тоже.

— Твое здоровье, Хаким! — поднял я стакан, чокнулся с бутылкой и выпил. Моя душа, хоть и женская, по утверждению Хакима, но приняла хорошо. Зажевал я сарделькой и спрашиваю Хакима:

— Значит, говоришь, что ты — русский? Как же тебе сподобилось в японца-то превратиться?

И рассказал мне Хаким такую историю.

Родился он в Петербурге. Зовут его Савелием Александровичем Волжским. В 1911 году окончил он факультет Восточных языков Петербургского университета. В следующем, 1912 году, уехал в Тибет, поскольку всегда интересовался

мистическими учениями Востока. Прошел полный цикл послушания в одном из тибетских монастырей, а затем стал монахом. Был даже приближен Далай-ламой. Был знаком с художником Николаем Рерихом и его женой. В это время его и застукал тогдашний иностранный отдел НКВД.

Под видом странствующего монаха бродил по тылам Квантунской армии, собирая информацию для нужд нашего Дальневосточного фронта. После событий на Халкин-Голе вернулся в СССР и служил переводчиком при штабе фронта в Хабаровске. С самого начала советско-японской войны был личным переводчиком генерала Пуркаева. Как-то был послан генералом в Улан-Батор договориться с монгольскими товарищами насчет кавалерийского фуража. В Улан-Баторе с криками: «Японец! Японец!» был арестован контрразведчиками маршала Чойбалсана, которые, к удивлению Савелия Александровича, изъяснялись только по-японски, и он вынужден был отвечать им на том же языке.

Монгольские особисты передали Волжского нашим, которые сразу начали обращаться с ним на японском языке. Все попытки Волжского начать говорить по-русски пресекались переводчиком Тихоокеанского флота. Этот же переводчик был при Волжском и на заседании трибунала.

Объяснения Савелия Александровича и захваченные при нем его личные документы послужили почему-то чистосердечным признанием и вещественным доказательством, что он — офицер Квантунской армии, при выполнении шпионско-диверсионного задания пользовался липовыми

документами на имя старшего лейтенанта Волжского.

Ему хотели пришить заодно и убийство Волжского с целью завладения его формой и документами, но, к счастью, проверка показала, что никакого Волжского Савелия Александровича в кадрах Дальневосточного фронта не значится. Поэтому Волжский отделался 25-ю годами лагерей.

Я налил себе еще стопочку и выпил. Зажевал хлебом.

— Занятно,— сказал я,— но не очень правдоподобно, дорогой Хаким. Ты мне эти сказки рассказываешь в надежде, что я не смогу их проверить. А, между тем, они проверяются в шесть секунд. Те, кто при больших штабах ошивался во время войны, все были на особом учете. Проверить ничего на стоит. Особенно переводчиков. Ведь их во время войны с Японией было человек семь.

— Проверяйте,— говорит Хаким,— вы убедитесь, что я говорю чистую правду.

Снимаю я при нем трубку и звоню кадровому особисту, прикомандированному в Управление кадров Министерства Вооруженных Сил. Он, можно сказать, с работы вообще не уходил, поскольку заявки сыпались из Кремля, как конфетти на новогоднем празднике. И каждая третья заявка — из аппарата товарища Сталина. То это выяснить, то другое. Где служил, откуда взялся, не пора ли посадить...

Узнал меня кадровик по голосу, говорит:

— Привет, Лукич, чего не спится?

— Дело есть маленькое,— отвечаю я,— посмотри, будь добр, переводчиков, которые при фронтовых штабах состояли на момент начала войны с Японией.

— А ты, часом, не знаешь, при каком генерале он работал? — уточняет особист,— тогда мигом найду.

— Знаю,— говорю,— при Пуркаеве.

— Можешь подождать у телефона? Сейчас скажу.

Пока он искал, я, не кладя трубку, спросил Хакима:

— А чего ты не жрешь ничего. Перекуси.

— Спасибо,— отвечает он,— не голоден я, начальник.

Он и в дороге ничего не ел, а от Лукьянова я слышал, что свою пайку в зоне другим отдавал.

— Ты вообще, что ли, можешь без еды обходиться? — поинтересовался я, но, прежде чем Хаким успел ответить, на том конце провода снова возник особист с информацией:

— Лукич, ты меня слушаешь? У Пуркаева было два переводчика: один — монгол. Сейчас прочту его фамилию: Шамлораторамсел. Он спился и умер. Похоронен в Улан-Баторе. Второй — грузин — Имакадзе. Имени нет. Только инициалы — Х.П. Ранее работал в ТАСС. Но он разоблачен как японский шпион, получил срок. Ищи его через ГУЛАГ.

Я поблагодарил коллегу, повесил трубку и спрашиваю:

— Хаким, а ты, случаем, не грузин?

— Нет,— отвечает он,— грузином был Има-

кадзе. А я русский. Волжский Савелий Александрович.

— Хорошо,— говорю,— а кто еще у вас в группе был переводчиком?

— Монгол один был. Двадцать восточных языков знал,— вздыхает Хаким,— звали его Шамлораторамсел. Ему однажды в чашку вместо молока спирту налили в виде шутки. Он выпил и умер. Я его гроб сопровождал в Улан-Батор, где и был арестован.

— И назвался Имакадзе.— продолжаю я.— Зачем?

— Ну зачем мне было называться Имакадзе,— почти взмолился Хаким,— когда у меня была при себе офицерская книжка на имя Волжского Савелия Александровича, командировочное предписание, аттестат и личное письмо генерала Пуркаева маршалу Чойбалсану, которое я сам переводил на монгольский язык. Сразу же после ареста они составили протокол на имя Имакадзе, японского шпиона. Так меня и начали с тех пор называть.

— А куда девался сам Имакадзе? — спросил я, чувствуя, как у меня ноет затылок.

— Вообще-то я не должен был вам этого говорить,— как-то виновато сказал Хаким,— но никакого Имакадзе среди переводчиков в штабе не было. Имакадзе — это теплый ветер, дующий с Японских островов, почитаемый корейскими, китайскими и японскими рыбаками во время ловли сайры...

— Хватит! — довольно грубо прервал я его.— Хватит мне уши тереть, Хаким. А то я рассержусь,

слово чекиста! Ты знаешь, что мы обычно делаем после того, как выслушиваем подобные сказки? Отправляем подумать над своим поведением в специальные камеры, где воды на полу сантиметров десять-пятнадцать и нет ни койки, ни табурета. Мне пока безразлично, кто ты такой и откуда взялся. Главное, чтобы ты сумел выполнить поставленную перед нами задачу.

— Понятно, начальник,— говорит он,— не буду вам больше про себя рассказывать. А в камерах таких, как вы говорили, я в общей сложности года два провел, да еще зимой при открытом окне.

— И чего? — спрашиваю я.— Понравилось?

— Вы не понимаете главного,— терпеливо объясняет мне Хаким,— что при блуждающей душе, тем более, если она управляема, внешняя среда не имеет никакого значения. Даже если бы меня с гирей на ногах бросили в воду или закопали живьем, ничего бы страшного не произошло. Возможно, где-нибудь на третьей неделе я почувствовал легкий дискомфорт и освободился.

С этими словами он снимает с плитки чайник и, прежде чем я успел достать пистолет, обливает себе руки крутым кипятком. Затем положил на ладони плитку спиральями вниз. На меня так и пахло паленым мясом. Но оказалось, как объяснил мне Хаким, показав совершенно неповрежденные руки, что с моей стороны это было всего навсего самовнушение.

«А ведь он на меня этот чайник мог бы вылить и сбежать,— подумал я, холодея,— чтобы я тогда сказал генералу?»

— Для того, чтобы сбежать,— прочел мои мысли Хаким,— мне вовсе не нужно выливать вам кипящий чайник на голову, гражданин начальник. Если я захочу, вы сами все сделаете, гражданин начальник. Вот, убедитесь. У вас в кармане заряженный пистолет. Сдайте мне его, пожалуйста.

Я, как дурак, вынимаю свой «Вальтер» трофейный и протягиваю ему. Он берет его, вынимает обойму и все вместе отдает мне обратно. Я сижу весь в поту.

— Так как же? — спрашиваю я,— ты с такими талантами столько лет в зоне припухал? И не сбежал? Или мятеж какой не поднял?

— Зачем? — удивляется он.— Зона, гражданин начальник,— самое лучшее место для таких, как я. Вам этого не понять.

— И много таких, как ты? — спрашиваю я.

— Где, — переспрашивает он,— в зоне?

— Нет,— говорю я,— в мире? Или в нашей стране?

— К счастью,— отвечает он,— не очень много. Очень сложная подготовка, но проходить ее надо, уже имея необходимые задатки. Вы, кстати, одного из наших шестнадцать лет в зоне стерегли. Он в зоне энергию аккумулировал. В других местах это гораздо сложнее.

Тут меня в жар бросило. Откуда он подобные вещи знает, о которых даже наркомам знать не полагалось? А если они сейчас подслушивают? Завал!

— Тихо! — прошу я.— Фамилий только никаких не называй, дурак! А то вместе пропадем.

А в голову разные эпизоды лезут. Я, правда, Ильича в камеру с водой и крысами никогда не отправлял, но, когда он особенно буянил, то наручниками его к водопроводной трубе, случилось, приковывал. А он на меня своими глазами неземной доброты смотрел и говорил: «Спасибо, Василий Лукич. Так меня и оставь суток на пять. Не появляйся. Поразмыслить надо». Да он же еще в царской тюрьме чернильницы глотал на глазах у надзирателей. Это потом уже сказку придумали, что они были из хлеба и молоком заполнены. А я сам документы читал, что это были самые обычные бронзовые чернильницы казенного образца, заполненные чернилами из скипидарного спирта с графитом на керосине.

— Этот человек,— снова прочитал мои мысли Хаким,— я имею в виду человека, чью фамилию вы, гражданин полковник, не разрешили упомянуть вслух, решил использовать священный Дар Неба и Земли, для того чтобы стать властелином мира, забыв, что этот дар можно использовать только для размышлений в поисках истины. Властелином мира в силу многих обстоятельств, стать совершенно невозможно. Но это другой вопрос. Главное — это дико неинтересно. Вы понимаете, начальник? Не понимаете? Ну, скажем в вашем подвале полно крыс. Захотите ли вы стать их властелином? Нет, конечно! Но если захотите, то весь остаток жизни вам придется с фонарем шнырять по подвалу, стараясь привести крыс к послушанию и беспощадно их при этом уничтожать. Это интересно? Вашему подопечному это пытались объяснить, но, тем не менее, он

решил попробовать, выбрав при этом самый темный подвал. Вы лучше меня знаете, что было дальше. Прошло всего несколько лет, как он понял, что это не интересно и попросился в зону. Вам известно, что он пошел туда добровольно?

— Мне известно только то,— ответил я,— что мне знать положено. А если мне чего знать не положено, то я и не интересуюсь.

— Вы, может, и не интересуетесь,— согласился Хаким,— но душа ваша прямо вся трепещет, как ей все узнать хочется. И тело ваше покидать не хочет. Где такое второе найдешь?

Допил я водку и говорю: — Ладно. Утро вечера мудренее. Пошли спать. Завтра начнем работать.

6

У меня была мысль на ночь Хакима пристягнуть за руку и за ногу наручниками к раскладушке, чтобы не сбежал. Но потом я эту мысль оставил. Сбежит — так сбежит. Может всем от этого лучше будет. Меня, правда, могут посадить, но и это еще под вопросом. Скорее генерала моего таскать будут: откуда вообще у меня в квартире мог взяться «зек» из Дальлага. Скорее всего пошипели бы немного и замяли. А я бы в академию вернулся грызть, так сказать, гранит науки. Потому лег я спать, пистолет, правда, под подушку сунул, но это прото для очистки совести. И заснул.

Утром глаза протер, гляжу — Хаким на раскладушке лежит, рот открыт, не дышит. Значит

душа его снова где-то шастает, вынюхивает государственные тайны. Пощупал я у него пульс — пульса нет, и пошел мыться и бриться.

Выхожу на кухню, а он там на линолеуме сидит по-турецки, глаза закрыты и что-то в полголоса напевает не на нашем языке.

Я для интереса снова в комнату заглянул посмотреть, чего там на раскладушке делается. Лежит Хаким на раскладушке, как и лежал, с открытым ртом, мертвый.

Я снова на кухню. Он уже там сидит, но с открытыми глазами.

— Здравствуйте,— говорит,— гражданин начальник. Как спалось?

— А на раскладушке там кто? — спрашиваю я.

— Вы не волнуйтесь. Он полежит, полежит и исчезнет. С фантомами свои проблемы. Я вам потом расскажу.

— Предупреждать надо,— проворчал я,— а он всю квартиру не провоняет пока исчезнет?

— Не беспокойтесь, гражданин полковник,— улыбается Хаким,— они излучают только озон.

— В следующий раз всажу в него пулю,— пообещал я.

— Только соседей перепугаете,— предупредил Хаким,— нет ничего глупее стрельбы по фантомам. Это все равно, что стрелять по облакам.

Я снова заглянул в комнату. Раскладушка была пустой, и ничем не воняло. Я хотел было сделать нам обоим яичницу, но эти шутки с фантомом отбили у меня аппетит.

— Завтракать будешь? — спросил я Хакима.

— Спасибо,— поклонился он,— я позавтракал.

— Ладно,— согласился я,— мне тоже что-то есть неохота. Так что это еще за фантом такой? Какова его функция во всей этой чертовщине?

— Он не функционален,— отвечает Хаким,— это своего рода прокладка между телом и душой. Его иногда называют астральным телом.

— Да, да,— буркнул я,— Анни Безант что-то про это писала. Только я ничего не понял.

— Вы зря начали свое обучение этому сложному вопросу с Анни Безант,— заявил Хаким,— дело в том, что она сама ничего не понимала, о чем повествовала в своих лекциях. Ее можно вполне считать испорченным телефоном.

— Ты-то больно много понимаешь,— окрысился я,— без дела книгу в спецфонд запереть не будут.

— И тем не менее,— продолжает Хаким,— нельзя учить других, не понимая не только деталей вопроса, но даже его сущности.

— А ты сам-то понимаешь? — все пуще злюсь я. Видно, спал плохо.

— Но я никого не учу,— возражает Хаким,— я стараюсь постичь суть великого круговорота души и тела. Скорее я это делаю для себя, а не для блага человечества. Я ведь книг не пишу и лекций не читаю. А если что и делаю, то только по просьбе других. Как в вашем случае. Я даже никаких тайных доктрин не проповедую, как, скажем, Блаватская.

— Кто такая? — интересуюсь я.

— Была такая,— объясняет Хаким,— жила в России. Тетушка известного вашего министра графа Витте.

— Шлепнули ее? — спрашиваю я.

— Нет,— отвечает Хаким,— сподобилась умереть до 17-го года. А Анни Безант сбежала за границу.

— Слушай, Хаким,— не понимаю я,— а ты-то зачем вылез из своих Гималаев и связался с НКВД. Жил бы там тихонечко в монастыре и горя не знал?

— Из ложных чувств патриотизма,— сознался Хаким,— я тоже в гордыню впал. Это неизбежно при поисках истины. Но попытка облагодетельствовать человечество знанием истины всегда в лучшем случае заканчивалась зоной. И знаете почему?

— Почему? — тупо переспросил я.

— Потому что истины не существует,— объявил Хаким.

— А чистосердечное признание — царица доказательств,— впервые за все утро рассмеялся я,— ты мне что — Вышинского цитируешь?

— Вышинского... — пробормотал Хаким,— Вышинский? Кто он такой?

Итак, я провел свой первый ответный гол.

— Один из великих посвященных,— важно сказал я,— в своих публичных лекциях, которых у него гораздо больше, чем у Анни Безант, он доказывал, что истины как таковой просто не существует, а потому и нечего стремиться ее достичь.

— Я не читал его,— честно признался Хаким,— даже не слышал. Но он не прав. Истина далеко, достичь ее при нынешнем состоянии умов невозможно, но стремиться к этому следует

постоянно. В противном случае человек быстро вырождается до уровня обычного млекопитающего, годного, по словам Сенеки, только для жертвоприношения.

Он помолчал, а затем спросил: — А где можно почитать этого Вышинского?

У меня на полке стоял томик лекций бывшего генпрокурора, взятый в академической библиотеке к какому-то семинару. Но я решил книгу Хакиму не давать, чтобы не испортить впечатление.

— Очень редкая книга, — соврал я, — но если будешь хорошо себя вести, я тебе ее постараюсь достать. Только непонятно, почему ты с ним споришь? Минуту назад ты сам заявил мне, что истины не существует.

— Действительно, — тихим головом ответил Хаким, — никто еще не мог доказать ее существование. Но это не значит, что ее нет и к ней не надо стремиться. Вот о чем я спорю. Мнение Вышинского — это типичное мнение черного язычника, отрицающего Божественное начало сущего...

— Тихо, тихо! — прервал я его. — Антисоветчину не носи! Мы же с тобой договорились?

Он замолчал.

— Вообще-то, — продолжал я, — на нашем языке это называется «сбивчивыми и противоречивыми показаниями». Видно, что в теории вы все путаетесь и толком ничего не знаете. Фактуры-то нет никакой. А то, что у каждого есть дар, как, например, у тебя, то вы и сами не знаете откуда вы его получили. Ведь так?

— Но человеческому разуму не дано пока

подняться выше известного предела, — сознался Хаким, — если бы он мог подняться до открытого Божественного откровения, то ему пришлось бы взорвать собственную черепную коробку. Я не вижу, гражданин начальник, здесь никаких противоречий.

— А душа? — не согласился я. — Душа, которая свободно гуляет, где ей вздумается. Она должна во всем разобраться и...

— Что «и»? — спросил Хаким.

— И доложить, — сказал я, — когда она возвращается в тело, она должна же доложить о своих впечатлениях и объяснить что к чему?

— Она пытается, — ответил Хаким, — но, во-первых, она никогда много и прямым текстом не рассказывает ничего, а, во-вторых, многое из того, что она пытается нам рассказать, мы просто не понимаем. Нам не охватить это рассудком, который еще совсем не развит и склонен к подозрительности.

— И он не уверен, говорят ли ему правду, — развил я мысль Хакима, — другими словами, человек никогда не знает, дурачат его или нет.

— Если дурачат, — согласился Хаким, — то по очень большому счету. Например, вашему подопечному — я точно знаю — постоянно пытались подсказать, что его вывод о неизбежности мировых войн в эпоху империализма, просто абсурден, поскольку человечество уже стояло на пороге открытия новых видов оружия, в частности, атомного. Но он отмахивался, потому что не понимал, хотя к идеям, связанным с массовым уничтожением, всегда относился, мягко говоря,

благосклонно. Он был уверен из-за неверной интерпретации сигналов, что к светлому будущему можно прорваться только через Эвересты трупов, как в сказке, когда сначала кропят мертвой водой, потом — живой, а потом все вместе кидаются в огромный котел с кипящей смолой. Но он был настолько в плену своих галлюцинаций, что даже представить не мог, что новое оружие появится первым не у него.

Я не стал развивать мысли Хакима относительно ошибок, совершенных вождем мирового пролетариата. Старик был совсем не так прост и глуп, как полагал Хаким. Все почему-то думают, что он работал во имя торжества социализма. А это совсем не так. И я, как свидетель, готов поклясться, что социализм являлся последним делом, о котором помышлял Ильич. Но, думаю, что понять подобные вещи Хакиму, с его идеалистическо-буржуазными воззрениями, было крайне тяжело, если не сказать — невозможно. Старик, как раз, сделал все, что в его силах, чтобы атомное оружие первым досталось американцам, а потом продал его нам за такие деньги, что ни о каком строительстве социализма, даже, если кто-нибудь об этом помышлял, уже не могло быть и речи. За идею «зон» товарищ Сталин схватился тоже не из-за хорошей жизни, а потому что после исчезновения Ильича в стране уже не было и ломаного гроша.

— Ваши качества и таланты,— сказал я Хакиму, не заметив, что назвал его на «вы», безусловно достойны восхищения и изучения. Но должен сказать, что многие ваши выкладки, основанные

на умозаключениях, очень страдают от недостатка информации. Значит, или вы сами также не можете точно понять, что вам сообщает ваша управляемая душа, либо она вам очень ловко преподносит дезинформацию с какой-то целью, известной только ей.

— Разве это так важно? — удивился Хаким.— Я могу ошибаться в каких-то деталях, на которые та же самая душа не обратила внимания, но не думаю, чтобы от этого очень пострадала сущность проблемы.

— Но нам с вами,— возразил я,— придется заняться именно деталями, ибо в полученном мною задании сущность проблемы известна каждому школьнику.

— Я знаю, что вы хотите у меня выяснить,— признался Хаким,— и если я еще ни слова не сказал по этому поводу, то только потому, гражданин полковник, что совсем не уверен в том...

Он замолчал.

— В чем вы не уверены? — спросил я.

— Видите ли, гражданин начальник,— начал Хаким неуверенным голосом.

— Не называй меня больше «гражданин начальник»,— потребовал я.

— А как мне вас называть? — не понял Хаким.— Товарищ полковник?

— Называй меня Василий Лукич,— поморщился я,— или просто Лукич. А то от твоей «фени» у меня голова болит.

— Так вот, Лукич,— продолжает Савелий Александрович,— существует такое понятие, как бремя знаний. Лишние знания никогда или почти

никогда не приносят пользы их владельцу. Особенно человеку вашей профессии.

— Ну, это как сказать,— не соглашаюсь я,— лишние знания очень даже помогают. Во всяком случае, мне. Так что я готов выслушать твою информацию и даже ее запротоколировать, как велено.

— Как хотите,— пожал плечами Хаким,— мое дело предупредить. Но вам придется еще, набравшись терпения, выслушать небольшую вводную лекцию. Для лучшего усвоения последующего.

— Я готов,— отвечаю я, усаживаясь поудобнее...

— Душа, Василий Лукич,— начал свою лекцию Хаким,— категория, как мы уже убедились, довольно странная. Она служит своему телу, но в одинаковой степени способна это тело возвысить и погубить. Чем она в этом случае руководствуется, трудно понять. Поэтому, чтобы не залезать в оккультные дебри, скажем, что душа руководствуется какими-то собственными капризами. Впрочем, как и любой учитель. Судьба любого ученика очень зависит от тех или иных капризов учителя. Вы согласны, Василий Лукич?

Я молча кивнул.

— Проследить или постичь все капризы души невозможно,— продолжал Хаким,— однако существует один, я бы сказал, главный каприз души, который стал очевиден оккультистам достаточно давно.

— И что же это за каприз? — поинтересовался я.

— Попытаюсь вам доходчиво объяснить,— отвечает Савелий Александрович,— и, если вы позволите, начну с достаточно избитого анекдота, услышанного мною впервые в кулуарах Петербургского общества любителей теософии еще, дай Бог память, году девятьсот девятом или десятом. Суть его такова: некто получил предсказание от цыганки, что ему суждено сгореть в огне. Именно этого он более всего боялся. А потому решил обмануть судьбу и в противовес полученному предсказанию решил утопиться. То есть, умереть не от огня, как ему предсказано, а от воды и как бы по собственному желанию. Мысленно простившись со всеми, он вышел на один из невских мостов и прыгнул в воду. В этот момент из-под моста появился пароход, и несчастный угодил прямо в его трубу. И сгорел в топке. Вы понимаете, что я хочу сказать, Василий Лукич?

— Что же тут непонятного,— говорю я,— есть старая народная мудрость — «чему быть, того не миновать».

— Вот именно! — обрадовался Хаким.— Чему быть, того не миновать! Подсознательная вера народа в предопределенность всего сущего. Но дело не только в этом. Вопрос этот несколько шире и, если хотите, выглядит более зловещим, чем кажется на первый взгляд. Дело в том, что основной каприз души проявляется именно в тот момент, когда она решает получить приказ навсегда покинуть то или иное тело.

— И в чем заключается этот приказ? — спрашиваю я, хотя уже и начинаю догадываться сам.

— А заключается в том,— отвечает самурай Имакадзе,— что она всегда это делает одним и тем же способом.

— Поясните,— прошу я.

— Поясняю,— говорит Хаким, и глаза его загораются,— одна душа любит уходить в огне, и все тела, в которых она находилась, сгорают. Не подумайте, что их потом кремируют. Нет. Они сгорают заживо при самых различных обстоятельствах: бытовой пожар, авто- или авиакатастрофы и прочее. Другая душа любит уходить через воду, и все тела, в которых она находилась в течение почти пяти тысяч лет, тонули при самых разнообразных обстоятельствах: от ванны до морских катастроф, от пьяного несчастного случая в пруду до гибели подводной лодки. Понимаете?

— Понимаю,— киваю я головой.

— Некоторые души,— продолжает Хаким,— любят те или иные болезни — я не буду их перечислять — другие — холодное оружие: ножи, мечи, шпаги, топоры, сабли, заточки; третьи — ударное оружие: палицы, кистени, булавы, кувалды, молотки, ломы, булыжники и кирпичи; четвертые любят, чтобы тело упало откуда-нибудь с высоты: нераскрывшийся парашют, выпадение из окна, срыв в пропасть, простое падение с дерева или лестницы...

— Достаточно,— прервал я его,— не перечисляйте. Я все понял. И не бывает исключений?

— Насколько мне известно, не было,— ответил он.

— Какой способ любит моя душа? — поинтересовался я.

— Ваша душа, как я вам уже говорил, живет первую жизнь. Ее капризы еще неизвестны,— развел руками Хаким.

— А ваша? — спрашиваю я.

— Моя душа,— краснеет Савелий Александрович,— любит навсегда покидать тело путем алкогольной интоксикации.

Он сказал это извиняющимся тоном, из которого вытекало, что ему очень стыдно за капризы своей души.

— Поэтому я в рот не беру и капли спиртного,— добавил он.

— И чем все это может закончиться? — любопытно я,— вы проживете вечно, как некоторые наши общие знакомые?

— Вы правильно сказали: «Чему быть, того не миновать»,— отвечает Савелий Александрович,— и этому не миновать. Когда-нибудь я перепутаю воду с водкой, выпью и умру. Или произойдет какой-нибудь другой случай. Мало ли. Один из моих предшественников, который носил в своем теле эту же душу, также был осведомлен о ее капризах и не брал в рот ни капли. В итоге его утопили в бочке с вином. Душа всегда найдет способ удовлетворить свой главный каприз.

— Это, наверно, было в средние века,— осведомился я предположить,— я даже что-то подобное видел в кино по какой-то пьесе Шекспира. Там один брат топил в бочке с вином другого. Это не ваш предшественник?

— Нет,— вздыхает Хаким,— моя душа никогда не посещала принцев. Вы говорили о средневековье. А попробуйте-ка ныне в зоне не выпить

за здоровье пахана, когда он тебе предлагает. Вы знаете, чем это может закончиться?

Я молчал, перебирая в уме разные ситуации, когда отказаться от выпивки совершенно невозможно.

7

— Если вы усвоили введение,— сказал Савелий Александрович,— то, наверное, понимаете, что все эти примеры я привел не для того, чтобы обсуждать свою душу или вашу.

— Да,— немного помолчав, выдавил я из себя,— я понимаю.

— И вы продолжаете настаивать,— спросил Хаким,— чтобы я перевел разговор с наших душ на, как бы это сказать, душу, которую имели в виду, давая вам задание?

— Где она была в прошлой жизни? — вопросом на вопрос ответил я, чтобы выиграть время.

— Поверьте, ничего интересного,— сказал Хаким,— мелкий вор и сутенер, промышляющий в трущобах Марселя.

Я почувствовал, как мурашки забегали у меня по спине.

— А в позапрошлой? — спросил я севшим голосом.

— Еще хуже,— заявил Савелий Александрович,— не очень удачливый мокрушник в Портсмуте. До этого — карточный шулер в Праге. Очень мелкий. Концов вы не найдете ни в каких справочниках. Разве что покопаться в церковных книгах и полицейских архивах, если они сохранились.

Я опустил голову на руки. И вовсе не потому, что так уж был ошеломлен услышанным, а потому что понял, в какую историю я влип. И пока выхода не видел.

— И у этой души также есть свой последний каприз? — глухо спросил я, не поднимая головы.

— Есть,— вздохнул Савелий Александрович.

— И какой он? — я поднял голову и оперся руками в стол.

Так садятся в машине, когда видят впереди большую колдобину. Но я видел не колдобину, а бетонную стену, в которую собирался врезаться на полной скорости.

— Итак, ее каприз? — повторил я вопрос. Моя душа, видимо, тоже обожала острые ощущения. Недаром жила первую жизнь и была еще непуганой.

— Ее каприз? — переспросил Хаким и ответил,— ее каприз — пуля!

— Пуля,— эхом ответил я,— значит все ушли через пулю. Другими словами, всех пристрелили?

— Да,— виновато признался Хаким,— всех. И важна еще одна деталь. Во всех случаях речь идет о пулях, выпущенных полицией. В одной из жизней — самой яркой — он был полицейским сержантом. Его пристрелили свои при какой-то разборке по поводу денег и женщин.

— И что это значит? — голос у меня совсем сел. Я вытащил из-за окна недопитую «маленькую», в аккурат на полстакана, и выпил залпом, занюхав пальцем.

— Ну, что ты замолчал, Хаким? — почти орал я.— Давай, договаривай!

— Что ты так разволновался? — поинтересовался Имакадзе с чисто азиатским садизмом, — он что — ваш родственник?

Эта, несколько циничная фраза японца, как ни странно, привела меня в чувство.

— Он общий родственник всех нас, — ответил я, — ибо, как тебе хорошо известно, он отец всех народов. И японского тоже.

— Значит, — в тон мне заявил Имакадзе, — мы все скоро осиротеем.

— Ты хочешь сказать, что его тоже застрелят, как и всех? — спросил я, удивляясь спокойствию своего голоса.

— К сожалению, это так, — сказал Хаким, — я вас предупреждал, что лишние...

— Замолчи, — прервал я его, — ты понимаешь, что ты несешь? Кто его застрелит?

— Полиция, как и всех, — спокойно произнес Савелий Александрович, — если хотите, Василий Лукич, это долг полиции уничтожать таких, как он.

— В нашей стране нет никакой полиции, — выпалил я, хватаясь за соломинку.

— Это обобщенное название, — пояснил Хаким, — во многих случаях она называлась по-разному. Речь идет не о названии, а о функции организации. Во все времена это были полицейские функции. Вы, Василий Лукич, тоже служите в полиции.

— Я служу в МГБ, — с некоторым вызовом заявил я, — а не в какой-то там вонючей полиции!

— Какая разница, — пожал плечами японец, — как это называть? Вы служите в политической

полиции. Ее можно называть еще тайной полицией, можно — полицией безопасности. Суть дела от этого не меняется.

— Ты хочешь сказать, — рассвирепел я, — что мы пристрелим товарища Сталина?

— Выходит, что так, — согласился он, — больше некому. Когда полицейского доводят до крайностей, он стреляет. Хотя бы потому, что не умеет ничего другого. Это его рефлекс, инстинкт, если угодно.

— Послушай, Хаким, — сказал я, — ты понимаешь, что ты говоришь? Мне же об этом нужно начальству докладывать. Никаких других доказательств, кроме твоих слов, нет. Значит сослаться в рапорте мне придется только на тебя. Ты представляешь, что с тобой будет, когда начальство все это дело раскручивать начнет? Поэтому, если ты решил надо мной посмеяться и все это придумал, мой тебе совет — подумай еще раз. Может, ты чего там перепутал? Ты же товарища Сталина в глаза не видел. Не могли ли тебе эти оккультные шутники кого другого подсунуть?

— Нет, Василий Лукич, — отвечает он со вздохом, — ошибка здесь совершенно исключена. Более того, все о чем я рассказал, произойдет очень скоро. И вы убедитесь, что я был прав. Есть карма, и от нее, дорогой Василий Лукич, никуда не денешься.

— Хорошо, — говорю я, — а если сейчас к твоим предупреждениям отнестись с должной серьезностью и принять все меры, чтобы оградить товарища Сталина от любого контакта с... Ну, с теми, кого ты называешь полицейскими?

— Мне бы не хотелось,— тусклым голосом произнес Хаким,— второй раз рассказывать вам анекдот о человеке, который, желая утопиться, прыгнул с моста и попал в трубу парохода.

— Значит ничего уже не предотвратить? — пытался выяснить я.

— Увы,— без особой скорби ответил Хаким.

— Так,— подвел я предварительные итоги,— теперь, гражданин Имакадзе,— все, что вы мне сообщили, изложите, пожалуйста, в письменном виде.

— Хорошо,— согласился он,— дайте мне ручку и бумагу.

— Пиши,— приказал я,— начальнику 3-го Управления МГБ СССР генералу-лейтенанту госбезопасности Белову Ю.А. Написал? Чуть ниже: от гражданина Имакадзе Х., осужденного по ст. 58-4, отбывающего наказание в учреждении п/я 7613. И излагай мне все, что сообщил устно. Можешь начать так: «Благодаря моим нетрадиционным способностям прогнозиста, мне стало известно следующее...» Двоеточие и излагай.

Он стал что-то писать, поминутно макая ручку в чернильницу, а я стал обдумывать сложившуюся ситуацию.

Итак, мне удалось, благодаря порученному заданию, приподнести товарищу Сталину очередной подарок ко дню семидесятилетия,— т.е. мне стало известно, что на товарища Сталина готовится покушение. Причем, не где-нибудь за океаном или в Белграде, а в недрах нашего родного ведомства. Как мне распорядиться полученной информацией, чтобы сохранить на плечах собственную

голову и предотвратить надвигающийся катаклизм в стране? Потому что убийство Сталина любой из ветвей нашей службы, по моему мнению, должно вызвать сильнейшее потрясение в стране.

Но как оградить товарища Сталина от общения с ним? Задав сам себе подобный вопрос, я быстро понял, что именно этого сделать совершенно невозможно. Охрана товарища Сталина — это мы, обслуга товарища Сталина — это опять же мы, врачи товарища Сталина — это мы, аппарат товарища Сталина — это опять же мы. Он сам создал подобную систему. Мы считались всегда боевым отрядом партии, но постепенно превратили саму партию в собственный идеологический орган, в какой-то маленький подотдел, в задачу которого входило исключительно оправдание наших действий.

Так что же мне делать? Добиться приема у самого товарища Сталина? Безнадежно. Мне открутят голову, когда я лишь об этом заикнусь. Доложить? Но кому? Генералу Белову? Представляю, что с ним случится, когда я произнесу первые слова. С кем же посоветоваться?

Тут я вспомнил, что у нас в академии сейчас работает преподавателем бывший шеф гестапо, группенфюрер Генрих Мюллер. Он у нас читал лекции по внутрикамерной разработке арестованных. Надо сказать, что в гестапо практика внутрикамерных разработок была куда лучше поставлена, чем у нас. Поэтому прежнего лектора, знаменитого полковника Родоса, из академии выгнали и из органов уволили, отдав кафедру

папе-Мюллеру, как его все любовно называли. Кроме того, Мюллер вел в академии интересный факультатив под названием «Теория заговора».

На факультатив почти никто не ходил, но я не пропускал ни одного. Я помогал ему все снимать и относить в технический кабинет. Он симпатизировал мне и ласково называл «Лукиц», поскольку нашу букву «ч» произносил плохо. По-русски папа-Мюллер говорил довольно сносно, а я в годы войны тоже более-менее нахватался по-немецки. Так что мы отлично друг друга понимали. Правда, папа-Мюллер был, как и все бывшие гестаповцы, немного заиклен на евреях, но это нисколько не портило его лекций. Скорее наоборот. «Для совершения переворота в любой стране,— учил Мюллер,— достаточно бросить булыжник в витрину какого-нибудь еврейского магазина. А там дело пойдет автоматически».

«Решено,— подумал я,— прежде чем что-либо предпринять, посоветуюсь с папой-Мюллером. Он точно подскажет, что делать».

Пока я размышлял, Хаким закончил свою работу и протянул мне два листка бумаги. Я взглянул и обомлел.

— Ты, что! Издеваешься надо мной?! — зарорал я, бросая листки на стол.

— А что вам не нравится? — удивился он.

— На каком языке ты это написал? — говорю я, тыча пальцами в иероглифы.

— На тибетском,— скромно признался Хаким.

— Почему на тибетском? — взвыл я.— Кто это будет читать?

— Потому что я не умею писать по-русски,— отвечает он.

— Что за ерунда! — возмутился я,— как это ты не умеешь писать по-русски, когда так отлично говоришь на нашем языке?

— Говорить я выучился в зоне,— продолжал он настаивать на своем,— а писать — нет. Согласно УПК, гражданин начальник, я имею право быть допрошенным на родном языке с переводчиком. Скажите спасибо, что я этим правом не воспользовался.

— Спасибо,— сказал я, подумав, что это даже очень хорошо, что показания Хакима написаны по-тибетски. Пусть читают! Никакого переводчика к этому материалу не подпустят и за версту!

Теперь что-то нужно было делать с самим Хакимом. Куда его девать? Не держать же его все время в моей квартире. Надо позвонить генералу Белову и попросить дальнейших инструкций. Я уже был слегка удивлен, почему мне он не звонит и не интересуется, как идут дела.

— Вы имеете что-либо добавить к своим показаниям? — спросил я Хакима больше для формальности. К таким показаниям, как говорится, не добавит и не убавит.

— Я еще раз хочу предупредить, что у вас совсем не так много времени, как вы думаете,— сообщил он.

Я прицепил его наручником к батарее парового отопления и пошел звонить генералу.

Долго никто не подходил. Затем ответил чей-то незнакомый голос. Я попросил генерала Белова к телефону.

— А кто его спрашивает? — поинтересовался голос.

Я назвал трехзначный номер кода связи.

Наступило молчание. Потом голос сказал: «Он на больничном». Трубку повесили.

Я набрал домашний телефон генерала. Опять долго никто не подходил. Наконец, сняли трубку, но не ответили, а где-то в отдалении я мог слышать истерический женский голос, кричавший: «Идиот! Я всегда знала, что ты идиот! Боже мой! Какая я была дура!» Затем твердый мужской голос, преисполненный значительности, властно сказал в трубку: «Алло!».

— Попрошу генерала Белова,— ответил я.

— Вас,— сказал голос, видимо, передавая трубку генералу.

— Слушаю,— раздался в трубке знакомый генеральский баритон.

— Здравия желаю, товарищ генерал,— бодро доложил я,— разрешите доложить, ваше приказание выполнено!

— Нет!!! — неожиданно завизжал генерал.— Я тебе... вам ничего не приказывал! Я вас вообще не знаю! Кто вы такой? Вы — провокатор!!! Вы мне вообще никогда не подчинялись! У меня свидетели есть, что...

Тут генеральский голос замолк, и снова раздался голос, преисполненный властью: «Лукич, это ты что ли? Что ты человека до инфаркта доводишь?».

И я узнал голос подполковника Зюганова.

— Зюганыч? — удивился я.— Ты что там делаешь у генерала?

— Обыск провожу, — сообщил Зюганов, — представляешь, Лукич, в той книге — четыре Белова — камергеры, два — генералы, остальные — белогвардейцы. Я по телефонному справочнику посмотрел, а там Беловых человек триста, если не больше. Звоню руководству, а мне говорят: «Начни-ка с этого адресочка». Его, правда, в телефонном справочнике не было, но зато этот камергеров потомок сумел в наши органы проникнуть! Представляешь, Лукич!

Я пожелал подполковнику Зюганову дальнейших успехов в его многотрудной деятельности и повесил трубку.

Не успел я еще очухаться от полученной информации от Хакима, как уже кто-то нанес удар по генералу Белову, давшему мне это задание и державшему его выполнение на своем контроле. Оставалось только гадать, почему этот удар был нанесен по нему, а не по мне или нам обоим? И какую роль в этой истории играет сам Хаким?

Что мне теперь делать с ним? Я мог отправить его в нашу внутреннюю тюрьму на Лубянке, зарегистрировав его таким образом, что никто, кроме меня, не мог бы вызывать его на допрос. Но если завтра меня самого возьмут (генерал меня наверняка сдаст), то Хаким превратится в очень нежелательного свидетеля. Мелькнула мысль отвести его куда-нибудь в Медведково и пристрелить от греха подальше, но я от этого отказался, во-первых, потому что уже знал, как непросто это сделать, а, во-вторых, Хаким мог мне еще понадобиться в качестве собственного оружия. Пусть пока остается у меня.

Я отвел его в ванну и приковал к водопроводной трубе.

— Зачем? — спросил он.

— Так положено, — ответил я, — я знаю, что тебе ничего не стоит освободиться. Но мне придется отвечать, и я скажу, что принял меры предосторожности... А если я их вообще не приму, мне здорово влетит, когда ты сбежишь. В принципе, я ничего против этого не имею. Убегай, если хочешь. Тем более, если верить твоим словам, Лукьянова тоже скоро арестуют и ему будет не до диссертации. Но лучше пока останься, ты мне еще можешь понадобиться. К телефону не подходи, на звонок или стук в дверь не реагируй. Ежели кто-то начнет дверь ломать, то сам реши, что делать. Но лучше всего выпусти душу и виси здесь как бы мертвый на наручнике. И постарайся потом со мной связаться с помощью разных ваших хитрых штучек. Понял? А мне надо срочно идти. На всякий случай — прощай, извини, если что не так. На том свете свидимся, сочтемся.

8

Прежде всего я убедился, что ни за моей квартирой, ни за мной никто не следит. Уметь обнаруживать слежку — это азы нашей профессии. Если вы этого не умеете, вам просто нечего делать в госбезопасности, где все следят друг за другом.

Убедившись в этом, я сел на трамвай и поехал в академию. Мне нужно было встретиться с папой-Мюллером и посоветоваться с ним.

Бывший группенфюрер СС и имперский шеф гестапо Генрих Мюллер жил в академии на служебной жилплощади, занимая две комнатки примерно в двенадцать квадратных метров каждая. Обстановка в комнатах была спартанская. Спал Мюллер на двухъярусной солдатской койке: одну ночь — внизу, одну ночь — наверху. Это был его каприз, поскольку в Германии он привык не ночевать более одной ночи в одном месте.

У папы-Мюллера я, к своему удивлению, застал Генриха Генриховича Ягоду — сына нашего бывшего наркома, который читал в академии курс спецхимии. Он о чем-то беседовал со своим тезкой Мюллером. Вокруг стояли упакованные чемоданы. Было очевидно, что папа-Мюллер куда-то переезжает.

Он вяло кивнул мне головой, в то время как Ягода при виде меня спросил:

— Василий Лукич, почему пропускаешь лабораторные занятия?

— В спецкомандировке,— доложил я.

— Смотрите у меня,— строго сказал Ягода,— я вам зачет не поставлю, пока не сдадите мне все лабораторные работы. Я тоже сейчас уезжаю в спецкомандировку. Вернусь примерно недельки через две и попрошу вас все академические задолженности ликвидировать.

— Слушаюсь,— дисциплинированно ответил я и обратился к Мюллеру,— вы куда-то собрались, Генрих Иванович?

— Уезжаю я, Лукич,— печально улыбнулся папа-Мюллер,— товарищ Сталин лично разрешил мне выехать на постоянное жительство в

государство Израиль по личной просьбе Голды Меир. А герр Ягода будет меня сопровождать до Тель-Авива и передаст там израильским властям.

Меня бросило в жар.

— Вас выдают израильским властям? — изумился я.

— Майн фройнд,— вздохнул Мюллер,— все определения всегда страдают от неточности. Русский язык богат: выдают, передают, возвращают, отправляют, высылают, командируют, посылают. Есть еще синонимы, но я их забыл. Майн Готт! Надо ли придавать значение подобным мелочам? Национальные и социалистические идеи, слитые воедино, дадут всходы на любой почве. Кроме того, я хотел бы немного отдохнуть в своем родном кибуце.

Я почтительно молчал, не зная, что сказать, и опасаясь быть обвиненным в космополитизме.

— Ты пришел сказать мне «ауфвидерзеен», Лукич,— спросил Мюллер.

— Нет,— ответил я,— мне нужно посоветоваться с вами, Генрих Иванович, по поводу решения одной теоретической задачи, с которой я столкнулся в процессе работы над диссертацией.

— О, яа, яа! — оживился папа-Мюллер.— Наука в нашем деле это есть зер гут! Я рад тебе помогать, Лукиц.

Ягода взглянул на часы и поднялся.

— Извините, товарищи,— сказал он,— мне надо еще многое успеть. Генрих,— обратился он к Мюллеру,— мы выезжаем завтра в 6 часов утра.

— Яволь! — ответил Мюллер и поклонился ко мне,— я весь внимание, дорогой Лукиц.

Я рассказал ему всю историю как ситуацию, не детализируя и не называя никаких имен.

— В какой стране все это происходит? — поинтересовался бывший шеф гестапо.

— Я имею в виду приложить эту схему к различным странам Восточной Европы, — соврал я, — но прежде всего мне бы хотелось начать, разумеется, с нашей страны.

— Тогда, — сказал папа-Мюллер, — мне очень не нравится слово «инкарнация». Ужасно не нравится.

— Чем же? — удивился я.

— От этого слова, — объяснил Генрих Иванович, — за целый километр несет заговором и не просто заговором, а сионистским заговором. Если бы это было в действительности, то я сделал бы вывод, что готовится убийство товарища Сталина и государственный переворот.

— И как бы вы поступили? — поинтересовался я.

— Сталкивался с похожей ситуацией еще до войны, — поведал мне папа-Мюллер, — я немедленно организовал «Хрустальную ночь» — массовые антиеврейские выступления трудового народа и увез фюрера на один из островков в Балтийском море, где он переждал опасный период. Заговор сорвался, но зато началась война.

Он криво улыбнулся.

— Вам было хорошо устраивать подобные мероприятия, — возразил я, — вы были группенфюрером, шефом всего гестапо, фельджандармерии и полиции безопасности. Вы имели практически свободный доступ к фюреру. А как бы вы

поступили, будь вы всего навсего ершайсенде оберстом?

Папа-Мюллер весело засмеялся.

— Хорошо сказано! — похвалил он меня, — ваша скромность, Лукиц, мне положительно нравится. Вы спрашиваете, что бы я сделал на месте этого несчастного полковника? Я бы застрелился, оставив посмертное письмо на имя непосредственного начальника.

— Зачем? — не понял я.

— Чтобы и его расстреляли тоже, — пояснил Мюллер, — потому что в этом случае необходимо ликвидировать всю вертикаль сверху донизу, в которую входило обозначенное в задаче лицо, включая родных и знакомых.

— И другого выхода нет? — спросил я, поскольку стреляться мне совсем не хотелось.

— Майн Готт! — вздохнул Мюллер, — все остальные варианты много хуже, поверь мне, Лукиц. Уж коли в ход пущено такое мудреное слово, как «инкарнация», все остальные варианты будут просто чудовищны на фоне незаметного самоубийства какого-то там полковника. Сдается мне, что обе стороны сейчас прицеливаются и маневрируют. Одна сторона, действуя по старой, отработанной методике, попытается спрятаться за еврейскими спинами, используя заимствованный у нас лозунг: «Евреи — наше несчастье!», что невозможно, или начинать войну.

— Войну? — охнул я. — С кем?

— Это неважно, — ответил папа-Мюллер, — противник не имеет значения. Главное сам процесс. Надо вести войну до тех пор, пока евреи,

которых использовали как оружие, не взорвутся в руках тех, кто решил этим оружием действовать. В лучшем случае этим умникам оторвет руки, но скорее — голову. А войну, если вести ее грамотно, можно всегда закончить.

— Но, может быть, это какая-то ошибка? — спросил я, — возможны же варианты с огромной погрешностью.

— Здесь не может быть ошибки, — улыбнулся Мюллер, — это действуют те же самые силы, что уничтожили Третий Рейх. И действуют по старой схеме: евреи и война. Они покончили с нами, теперь взялись за вас. Они разделяются и с вами, если вы будете повторять наши ошибки, а не придумаете что-либо нового. Я не уверен, что можно использовать евреев как оружие с появлением государства Израиль. Я не успел эту проблему как следует проанализировать. Это всегда было очень опасным, а теперь может стать опасным вдвойне. Но в любом случае я и все заинтересованные лица с интересом наблюдаем за вашим смелым экспериментом. Он не только смелый, но, я бы назвал его, в высшей степени дерзким.

Я уже был не в силах задавать группенфюреру вопросы, а лишь вопросительно на него смотрел.

— В самом деле, — увлеченно блеснул своими светлоголубыми глазами бывший шеф гестапо, — в использовании слова «инкарнация» я вижу смелый и новаторский ход. Дать понять вождю нации и партии, что он неизбежно падет под ударами собственных преторианцев — что может быть

эффетивнее. И заметь, дорогой Лукиц, что в теории заговора слово «инкарнация», хотя и является новым фактором, но как хорошо ложится во все известные нам формулы. Если это придумал ты, тебе должны присвоить степень магистра без защиты и оппонентов. Это просто — гениально.

— И, между тем, я же и должен застрелиться? — напомнил я.

— Почему тебя это удивляет? — покачал седой головой Мюллер.— Очень многие гениальные теоретики становились первыми жертвами практического воплощения в жизнь их смелых теорий. Зато это корректно и с научной точки зрения безупречно. Твои предшественники, например, свели с ума доброго, наивного и доверчивого Адольфа Гитлера одними гороскопами и сообщениями, что в прошлой жизни он был германским императором Карлом, который умер от несварения желудка, когда придворные перекормили его только изобретенными сардельками.

— Генрих Иванович,— честно признался я,— мне очень приятно, что вы столь высокого мнения обо мне. Однако я должен вас разочаровать. Я вовсе не являюсь автором теории «инкарнации». В данном случае, повторяю, я всего лишь исполнитель чьих-то замыслов.

— О, я знаю тебя, Лукич! — прищурился папа-Мюллер.— Ты — хитрый профессионал!

— Хитрый профессионал,— возразил я,— никогда бы не пришел именно к вам, группенфюрер, за консультациями по такой проблеме.

— Значит, ты — очень-очень хитрый профессионал,— не сдавался Генрих Иванович,— а те,

кто послал тебя, честно скажу, не стоят ни пфеннинга.

— Вот как? — обиделся я, — именно они запустили «инкарнацию», а вы утверждаете, что цена им — ломаный грош.

— Они хорошие теоретики, — пояснил Мюллер, — но на практике доверить такую информацию полковнику может только кретин. Тем более, что этот полковник, насколько я понимаю, не только не хочет застрелиться, но, напротив, громоздит сейчас что-то, напоминающее частное расследование. Частное расследование в системе даже такой архаичной службы, как ваша, является недопустимой роскошью. Последствия могут быть опустошающими для всей системы в целом. Она уже сейчас не в состоянии правильно реагировать даже на собственные инстинкты. А, если так, значит ее уже разбил паралич. Система, впавшая в паралич занимается самоликвидацией. Вот мой вывод, Лукиц, на предложенную тобой задачу. Полковник еще не расстрелян и сам не хочет застрелиться. Это уже энтропия, стремящаяся к бесконечности.

Старый группенфюрер был в чем-то, конечно, прав. Но его немецкому разуму было невозможно приложить предложенную мной задачу к реалиям, существующим в нашей стране. Эти реалии он знал чрезвычайно плохо, а проектировать на нас кальку Третьего Рейха было очень рискованно.

Мы не были Третьим Рейхом. Мы были гораздо круче, а стремящаяся к бесконечности энтропия делала нас непрогнозируемыми и способными на любую глупость.

Однако нельзя сказать, что беседа с папой-Мюллером ничего мне не дала. Дала и очень много! Та легкость, с которой я через ГУЛАГ разыскал Хакима, его липовая легенда и многое другое, что ясно вытекает из наших бесед у меня на кухне, натолкнули меня на очень сильное подозрение, что «проводника» мне подсунули, как подсовывают наседку в камеру.

А уже из самого этого факта вытекало, что «инкарнация» является изобретением товарища Сталина. Не госбезопасность объявила войну и готовит заговор против своего вождя и учителя, а как раз он сам собирается нанести удар по органам. А вернее уже нанес, ибо генерал Белов арестован, а возможно, и убит.

С помощью этой мистической схемы, которую преподнес Хаким, всей системе МГБ предъявлялось обвинение в готовности убить товарища Сталина. Причем, обвинение предъявлялось в такой форме, что парировать его было совершенно невозможно.

Значит, товарищ Сталин решил в очередной раз пустить органы под нож. Три предыдущих подобных кампании я отсидел в зоне с Ильичем, а ныне сразу же попал на передовую смертельной борьбы.

По здравому размышлению получалось, что Сталин всю свою жизнь ничем другим не занимался, как боролся с собственными органами безопасности и, надо отдать ему должное, первые два раунда выиграл, а третий раунд — Великую Отечественную войну — свел вничью, хотя и с большим трудом.

Сейчас начинался четвертый раунд смертельной схватки. Но вождь старел, а «органы» оставались молодыми и дерзкими, поскольку состариться на нашей работе почти никому не позволяли.

Позднее умные люди мне разъяснили, что моя схема была несколько упрощенной. В товарище Сталине, говорили они, вечно боролись два начала: созидательное и разрушительное. Все, что он создавал одной рукой, другой — уничтожал. Создав превосходную систему сельского хозяйства в стране, он неожиданно начал чуть ли не поголовное уничтожение крестьян. Создав великолепные вооруженные силы, он их сам вырезал. То же самое творилось и с нашими славными органами. Стоило им набрать силенок, как их немедленно уничтожали. На эти вопросы нет простого ответа, но мне лично сдается, что тут огромную роль сыграла несогласованность между сталинскими двойниками, которые до войны работали как вахтеры — сутки через трое — и каждый считал себя самым умным. А потому, заступая на «вахту», немедленно уничтожали все, сделанное накануне их сменщиками. Поэтому нашу страну и охватила вакханалия самоуничтожения.

Помнится, Ильич над этим посмеивался и говаривал: «Что такое, товарищ Василий, есть ликвидация классов и создание бесклассового общества? Это, батенька вы мой, означает самоликвидацию самого общества как такового. А они, глупцы, не понимают, что нельзя ликвидировать классы без уничтожения самого государства!» «Но вы же, Владимир Ильич,—

пытался возразить я,— сами подсказали им идею ликвидации сначала классов, а потом государства путем его постоянного укрепления». Он только весело хихикал, потирал руки и приговаривал: «А согласитесь, товарищ Василий, что это здорово придумано!». Я искренне соглашался.

К сожалению, объяснить все это стареющему группенфюреру Мюллеру было невозможно. Он был воспитан на исключительно прямолинейных лозунгах типа «Радость через силу» или «Один Райх, один вождь, один народ!» Для осуществления последнего лозунга им было достаточно ликвидировать 1% своего народа (евреев), а нам для этого пришлось перестрелять две трети населения страны. Правда, все знали, что нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики, но уже было видно, что весь процесс до неприличия затянулся и стал практически неуправляемым. И в надвигающемся хаосе, где снова на кону были наши головы, в ближайшем окружении Сталина вполне мог найтись кто-то, кто мог исполнить главный каприз души товарища Сталина, обожавшей покидать занимаемое тело через пулевое отверстие.

Значит Хаким, кто бы его не послал, был прав!

Во всяком случае разговор с папой-Мюллером дал мне понять, что при подобном развитии событий, выражаясь словами товарища Энгельса, «нет ничего невозможного».

— Группенфюрер,— сказал я ему на прощание,— желаю вам хорошо отдохнуть на своей исторической родине. Постарайтесь там издать

хотя бы на иврите свою «теорию заговора». Она будет служить пособием для многих грядущих поколений наших коллег. Та простота, с которой согласно вашей теории, сокрушается любое государство, ставит вас, дорогой Генрих Иванович, в ряды великих мировых мыслителей. Одни поднимают крик «Бей жидов!», другие в противовес начинают войну, и все летит в выгребную яму!

— И возрождается Израиль,— торжественно поднял палец Мюллер.

— Надеюсь, что это частный случай,— возразил я,— но это несколько не умаляет значение вашего открытия.

— Если бы кто-нибудь повторил твои слова, Лукиц, хотя бы на моих похоронах.— прослезился папа-Мюллер.— Прощай, майн киндер. Ты был самым способным из моих учеников.

Я чмокнул старика в седую щетину и поспешил обратно к себе на квартиру, чтобы уточнить с Хакимом некоторые детали. Хотя я сильно сомневался, что застану его еще у себя дома.

9

Так и случилось. Волосок, которым я уходя заклеил свою квартиру, был на месте, но Хакима в квартире не было. Наручники, которыми я приковал его к водосточной трубе в ванной, висели на гвоздике в прихожей рядом с запасными ключами от квартиры. Исчезла и раскладушка.

Но более всего меня поразила картина, которую я увидел на кухне. На кухонном столе белела сургучной головкой пустая бутылка «Московской»

водки и два пустых стакана, в одном из которых корчилась в предсмертных мучениях муха.

На столе лежал листок бумаги, на котором была нарисована непонятная мне схема, снабженная комментариями то ли на китайском, то ли на японском, то ли на тибетском языке. В любом случае для меня это была «китайская грамота». Часть комментариев была сделана рукой Хакима, но часть — совершенно незнакомым мне почерком, причем, красным карандашом. Комментарии красным карандашом всегда делают начальники. Значит, пока меня не было дома, Хакима посетил какой-то его шеф. Они что-то обсуждали, а затем смылись.

Самым поразительным во всей этой истории было то, что они при этом пили водку, опустошив целую бутылку «Московской». А подлец Хаким уверял меня, что в рот не берет спиртного, поскольку его душа имеет каприз навсегда покидать тело не иначе, как при сильном алкогольном отравлении.

И при этом еще украли у меня раскладушку, которая, грубо говоря была казенной, так как я сам ее в свое время уволок при переезде на эту квартиру из нашего общежития. Правда, с ведома коменданта.

Я стал рассматривать схему, нарисованную на листке, думая о том, приобщать этот листочек бумаги в качестве приложения к рапорту Хакима на тибетском языке или нет.

Схема мне казалась почему-то очень знакомой. Я точно ее уже где-то видел, причем не раз. Немного побрякав мозгами, я совершенно

неожиданно даже для себя самого, понял, что это схема движения от Большого театра на Садовом кольце до нашего здания на Лубянке.

Кто-то кому-то объяснял, как добраться до главного здания МГБ. Кто-то Хакиму или Хаким кому-то? И зачем? И почему у меня на кухне?

Ответить на все эти дурацкие вопросы я, конечно, был не в состоянии, а потому решил съездить на Лубянку и попытаться там отловить Хакима вместе с его дружкой. А затем сдать обоих в спецотдел на предмет тщательного выяснения личности и привлечения полковника Лукьянова в качестве свидетеля.

Тут я должен был признаться себе, что погорячился. Как и кому я все это объясню? Задание выяснить все реинкарнации товарища Сталина я получил от генерала Белова, которого уже арестовали. Ссылаться мне на кого? Я попал в самое глупое положение, и, видимо, кто-то уже это понимает, поскольку подобных шуток в отношении меня не позволял даже сам Ильич.

Но есть старый принцип — никогда не убегай от опасности, а всегда иди навстречу ей. А потому я решил все-таки поехать на Лубянку, чтобы хотя бы провести там кое-какую разведку.

Что я и сделал. План мой был таким: по возможности выяснить, что случилось с генералом Беловым и попытаться поймать там самого Хакима или его дружка, или их вместе. Я что-то стал сильно подозревать, что хакимов дружок — это как раз тот, что спал у меня на раскладушке, пока сам Хаким сидел на кухне. Или наоборот. Но это принципиального значения не имело.

Если понадобится, то я обшарю и подвал. Благо, я его хорошо знаю еще с тех пор, как мы по приказу самого Феликса Эдмундовича конфисковали здание страхового общества «Россия». Дзержинскому тогда очень понравились камеры подземной тюрьмы, построенной, по слухам, еще во времена Ивана Грозного, и ему очень хотелось, чтобы эта тюрьма снова заработала. Но ничего не получилось, потому что раньше заключенных в этой тюрьме стали умирать охранники — немцы, латыши и другие интернационалисты, совершенно не привыкшие к подобным условиям работы. Пришлось срочно строить внутреннюю тюрьму. Начальника нашего изолятора Ваню Абрамова я хорошо знал и надеялся с его помощью пошарить по пустым камерам, где вполне могли устроиться Хаким с его дружкой.

Я немного побаивался, что буду арестован, как только появлюсь в управлении, но ничего подобного не произошло. Мало того, стоявший на главном КПП комендант Лубянки подполковник Филя Бобков при виде меня чуть ли не полез целоваться:

— Лукич, — заорал он, — как я рад тебя видеть! Ты со своей академией совсем нас забыл. На кой черт тебе сдалась академия эта? Шибко грамотным стать хочешь?

— Враг умнеет, и мы должны умнеть, — ответил я, осторожно высвобождая руку из его медвежьей ладони.

— Оно-то так, — согласился Филя и добавил, — зайди, получи сапоги новые, хромовые. Для тебя специально пару отложили.

Поблагодарив его, я поднялся на третий этаж и пошел по красной ковровой дорожке, обдумывая план дальнейших действий, когда благосклонная судьба послала мне навстречу самого подполковника Зюганова.

С самым расстроенным видом он брел по коридору, держа в безвольно опущенной руке листок бумаги.

— Пропал я, Лукич,— прошептал он мне,— не знаю, что делать.

— Что случилось? — с участием в голосе заинтересовался я.

— Генерал этот,— воскликнул Зюганов,— размазня! Приказано было взять и допросить по всей строгости на предмет дворянского происхождения. Я ему раз врезал. Не сильно врезал, Лукич, слово чекиста! А он взял и помер.

И подполковник Зюганов зарыдал у меня на груди.

Выглядело это нелепо. Два старших офицера МГБ стояли посреди главного коридора Управления, и один рыдал на груди у другого.

— Ну, чего ревешь, как баба,— грубо зарычал я,— помер генерал — так помер. Все помрем! Ты мужик или нет?

Мне почему-то показалось, что Зюганову жалко генерала.

Но дело оказалось не совсем так. Не успел Зюганов доложить начальнику об этом происшествии, которое по тем временам было совершенно заурядным, как против бедного подполковника было немедленно выдвинуто обвинение в сознательном убийстве подследственного с тем,

чтобы тот не успел дать показаний. Тем более, что нигде не было запротоколировано, что подследственный отказывался от дачи показаний. Зюганова обвинили в преступном сговоре с подследственным с целью скрывтия истины от правосудия. Ему было приказано написать объяснительную на имя самого министра генерал-полковника Абакумова и лично предстать перед ним для выяснения обстоятельств дела.

Я встретил Зюганова как раз в тот момент, когда он брел на ковер к министру со своей объяснительной. Его можно было понять, ибо из кабинета Абакумова могли вынести и с простреленной головой.

Виктора Семеновича Абакумова я знал еще с довоенных времен. Одно время он был в моей команде фельдъегерем, осуществляя связь между моей спецзоной и Лубянкой. Кого я в зоне охранял — ему тогда (да, думаю, и сейчас) знать не положено, но он числился моим подчиненным. Он был хорошим парнем, спортсменом, и я, признаться, к нему очень хорошо относился. Именно я написал ему характеристику, после которой он и пошел в гору. С тех пор наши пути разошлись, и мы только случайно сталкивались в коридорах, всякий раз обмениваясь рукопожатиями и дежурными фразами о службе и здоровье, несмотря на разницу в чинах.

У меня мелькнула мысль, а не сходить ли мне к Абакумову и откровенно с ним побеседовать. Ведь, если сказанное Хакимом хоть в какой-то степени является правдой, то первой из голов, которой суждено покатиться к ногам товарища

Сталина, должна стать именно голова Абакумова. Он-то должен это понимать лучше других.

Приняв подобное решение, я взял под руку плачущего Зюганова и вместе с ним вошел в приемную министра, где важно восседал один из абакумовских адъютантов полковник Селезнев.

— Ага! — сказал он при виде Зюганова. — Поздно плакать! Проходи в кабинет, а я пока гроб закажу.

Зюганов громко всхлипнул и исчез за дверью.

— А тебе чего, Лукич, понадобилось? — спросил он меня. — Лучше держись отсюда подальше. Свирип сегодня, аки лев. От товарища Сталина утром вернулся.

— Гена, — попросил я его, — мне надо к Виктору Семеновичу на прием. Устрой мне это дело.

— По какому вопросу? — поинтересовался он.

— По личному, — соврал я.

— По личному вопросу министр никого не принимает, — сообщил Селезнев, — по личным вопросам принимает комендант в подвале.

Я вспомнил, что Филя Бобков приглашал меня зайти к нему за сапогами и поежился.

— Ты чем сейчас занимаешься? — прервал мои размышления Селезнев.

— В академии учусь, — ответил я.

— И учишься, — посоветовал Селезнев, — пока не шлепнули.

— Лукич, поверь, я тебе зла не желаю, — зашептал он, перегнувшись через стол, — ты знаешь, как мы сегодня живем? Сегодня жив, завтра — нет! Не появляйся Виктору Семеновичу на глаза.

В этот момент с треском открылась дверь

министерского кабинета, снабженная специальной системой звукоизоляции, и из кабинета вылетел подполковник Зюганов, провожаемый басом министерского рыка: «Пошел на..!»

Вид у Зюганова был ужасен. Один погон оторван с мясом, на втором сорвана одна звездочка, а под глазом наливался красно-фиолетовым цветом фонарь. Но на лице подполковника сияла счастливая улыбка.

— В майоры разжаловали! — радостно сообщил он. — Разрешили искупить на той же должности!

Тут в проеме двери во всей красе своего саженого роста неожиданно возник сам министр.

— Селезнев! — рявкнул он, — сколько раз тебе, твою мать, нужно говорить, что, прежде чем пускать в мой кабинет, ты должен убедиться, обосрался тот или нет. Завонял весь кабинет. Иди, форточки открой, проветри! Еще раз случится, ты у меня все сортиры в управлении языком вылижешь!

При виде меня министерская бровь удивленно взметнулась.

— Лукич? — с какой-то непонятной настороженностью в голосе спросил Абакумов. — А ты чего здесь?

— Хотел записаться к вам на прием, товарищ генеральный комиссар, — сообщил я, — поскольку имею доложить вам о деле государственной важности.

Министр какое-то мгновение помялся, потом, явно пересилив себя, сказал:

— Ладно. Пошли в комнату отдыха. А то в

кабинет невозможно зайти после разговора с Зюгановым.

Зажав нос рукой, Абакумов прошел через кабинет, где Селезнев уже открыл форточки. Я шел за ним, но не чувствовал никакого запаха, видимо, от напряжения.

Сталин с портрета, писанного в полный рост и при всех орденах, с иронической усмешкой косился на меня, когда я шел вслед за Абакумовым в соседнее помещение, предназначенное для отдыха министра.

Это помещение оказалось никак не меньше самого кабинета, но в отличие от последнего было обставлено весьма аляповато. Более всего бросалась в глаза огромная кровать со смятым покрывалом и горой самых разнообразных подушек. В глубине стоял старинный буфет из красного дерева, украшенный резными нимфами и весталками, прикрывающими свою наготу виноградными гроздьями. На буфете громоздились разнокалиберные бутылки и стаканы. На маленьком журнальном столике с золочеными резными ножками возвышалась бронзовая скульптурная композиция, на которой был изображен сюжет из греческой мифологии. С кем Абакумов общался все эти годы, что так испортил свой вкус, я и по сей день не знаю. Мемуаров он не оставил.

— Выпьешь? — спросил министр.

— Как прикажете, — уклончиво ответил я.

— Прикажу, — сказал Абакумов, доставая два не очень чистых бокала и наливая туда какой-то бурой жидкости из квадратной бутылки, на наклейке которой хищно зеленели готические буквы.

— Чего это? — поинтересовался я.

— Ты пей, а не разговаривай,— недовольно буркнул министр, поднимая бокал,— а то привык с Беловым водку глушить.

Он поднял бокал еще выше.

— Помянем Белова! — вздохнув, провозгласил он.— Никак не думал, что он так вот кончит. Помянули.

То, что министр начал разговор с поминального тоста в честь убитого Зюгановым генерала Белова, не сулило мне ничего хорошего. Я уже стал жалеть, что сам залез в эту пещеру. В нашем деле всегда было очень важно не попасться начальству под горячую руку.

Но министр неожиданно сменил тему.

— Ты о чем сегодня весь день с фашистом шептался? — спросил он.

— Это вы о Генрихе Ивановиче, товарищ генеральный комиссар? — вопросом на вопрос ответил я.

— Дураком-то не прикидывайся,— процедил Абакумов,— еще выпьешь перед смертью?

Когда начальство несет подобное, самое лучшее делать вид, что ты это не расслышал, либо не принял на свой счет.

— Он руководитель моей диссертации,— предпочел ответить я на предыдущий вопрос Абакумова,— научный руководитель.

— А ты диссертацию пишешь, Лукич? — изумился он и даже поставил бокал на стол. Я же ожидал, что он сейчас провозгласит тост за упокой моей души.

— Пишу! — с некоторым вызовом ответил я.

— А тема какая? — спросил министр, наливая в мой бокал.

— Теория заговора,— сказал я.

— От дурного глаза? — пошутил Абакумов.

— Вроде того,— в тон ему ответил я и, перехватив инициативу, поднял бокал,— ваше здоровье, Виктор Семенович, товарищ генерал-полковник!

Выпили.

Абакумов подошел к стоящему среди бутылок патефону, покрутил ручку и поставил пластинку.

«Простор голубой, земля за кормой. Гордо реет над нами флаг отчизны родной!» — завопил патефон.

— Ты знаешь, Лукич, что мне сказал вчера ночью товарищ Сталин? — вернувшись на свое место, наклонился к моему уху министр.— Ты не представляешь, придурок, что вы наделали с Беловым, земля ему пухом!

«Наши победы славные, помнят враги коварные!» — надрывался патефон.

— Товарищу Сталину,— продолжал шептать Абакумов,— поступила информация, что мы, чекисты, хотим его убить. Он, конечно, не поверил, а вы с Беловым это подтвердили. Хорошо еще, что Белов не успел дать никаких показаний. А если бы успел? Лукич, я от тебя подобного не ожидал.

«Потому что мы Сталина имя в сердцах своих несем!» — проорал последний раз патефон и замолк.

— Обожаю эту песню,— нарочито громко

произнес Абакумов, подходя к патефону и пере-
ворачивая пластинку. Он подкрутил ручку, и му-
зыка зазвучала вновь.

— Трофейный,— похвалился министр,— слы-
шишь, как орет? У наших звук совсем другой.

«Сталин — наша слава боевая! — загромыхал
патефон,— Сталин — нашей юности полет!»

— Кто дал Белову это задание? — спросил,
понижив голос Абакумов.— Это задание — про-
верить перемещение души товарища Сталина?

— Насколько я понял,— честно ответил я,—
в секретариате ЦК. Даже в Президиуме ЦК. Он
особенно на эту тему не распространялся, а я,
как вы понимаете, не спрашивал.

— А имена он при этом какие-нибудь назы-
вал? — лоб министра при этом коснулся моего
лба.— Говори правду, Лукич!

— Говорил,— признался я, упершись лбом в
лоб министра,— называл имя Суслова.

Абакумов откинулся в кресле. Его всегда ру-
мяные щеки поблекли. Примерно минуту ми-
нистр сидел, прикрыв глаза.

«С песнями, борясь и побеждая, наш народ за
Сталина идет!» — ревел трофейный патефон.

— Значит Суслов,— открыл глаза министр,—
это креатура Хрущева. Голова у меня плывет,
Лукич. Хрущев — человек Лаврентия Павловича
в окружении Маленкова. Маленков — ближай-
шее ныне лицо, удостоверенное доверием товари-
ща Сталина. А Суслов — координатор всех их
действий. И он через голову Лаврентия Павлови-
ча и мою передает Белову подобное задание,
подставляя нас под топор.

Абакумов встал и снова перевернул пластинку.

— Ты диссертации пишешь, Лукич,— продолжал он,— а простых вещей не понимаешь.

«В мире нет другой родины такой»,— заливался патефон.

— С одной стороны, мы получили приказ убить товарища Сталина, а, с другой стороны, нас сразу же и выдали, чтобы подстраховать на всякий случай собственные задницы.

«Вперед мы идем и с пути не свернем, потому что мы Сталина имя в сердцах своих несем!» — продолжал забивать мне гвозди в голову патефон.

— Что же делать? — прошептал я, смотря на Виктора Семеновича с неподдельным ужасом.

— Что делать? — переспросил Абакумов.— Попробуем по старой схеме, что вы с Мюллером разработали. Скроемся за дымовой завесой. Война — вот минимум, что пока нужно. Причем, такая война, которая шла бы из рук вон плохо, но не грозила бы особой катастрофой.

— Но ведь товарищ Сталин сам приказал снять блокаду с Западного Берлина, — напомнил я,— о какой войне вы говорите, товарищ генеральный комиссар?

— Уж не о третьей мировой, конечно,— криво улыбнулся министр,— что-нибудь помельче. Потом можно будет евреями почадить. Тоже дело хорошее. А иначе, как нам выполнить приказ, Лукич?

— Какой приказ? — пролепетал я, начав догадываться к чему клонит Абакумов.— Какой приказ вы собираетесь выполнить, товарищ генерал-полковник?

«Пусть нас освещает, словно солнечный свет, знамя твоих побед!» — гремел патефон.

— Не прикидывайся дураком, — жестко проговорил Абакумов, — ты только что спросил «Что делать?». А делать нечего, Лукич. Коль пошла такая пьянка — режь последний огурец! Раз эти умники решили нас подставить этими «инкарнациями» под нож, то нам не остается ничего другого, как стать орудием судьбы. То есть, единственным выходом для нас является выполнение предначертания.

Несмотря на рев патефона, я ясно расслышал в голосе министра торжественные нотки.

— И выполнить это, — продолжал министр, — должен ты, Лукич!

Я поперхнулся и закашлялся. К счастью, в этот момент зазвонил телефон. Абакумов снял трубку.

— Да, — мрачно сказал он, — передам.

— Комендант звонил, — обратился ко мне Абакумов, — там он тебе пару хромовых сапог оставил. У тебя аттестат где? У нас или в академии?

— В академии, — доложил я.

— Так зачем тебе наши сапоги? — поинтересовался министр. — Или пара — хорошо, а две — лучше? Впрочем, как знаешь. Мне для тебя сапог совсем не жалко, Лукич. Но жадность всегда губит фраеров.

— Спасибо, Виктор Семенович, — искренне сказал я.

По правде говоря, идти к Филиппу Бобкову за сапогами, о которых он мне объявил прямо на

вахте, я вовсе не собирался. Этот прием: «Зайди ко мне, получи сапоги», практиковался еще с тех времен, когда ВЧК находилась в Петрограде на Гороховой 2. Мало кто помнит, что такое была в те и многие последующие годы пара сапог для любого человека. От такой приманки не мог устоять никто. Он шел за сапогами и получал пулю в затылок. Все это знали и все, тем не менее, покупались, забыв, что выдачей сапог занимается вовсе не комендант. А те кто не ходил, с теми, хочешь верь, хочешь — нет, ничего не случилось. Насколько мне известно, последний раз этот способ использовали в Ленинграде в ноябре 1958 года. Перед праздниками.

Я еще когда входил в Управление, уже понял, что Бобков получил приказ меня шлепнуть. Борьба началась!

— Ты понял меня, Лукич? — настаивал Абакумов.

— Не совсем,— честно признался,— вы хотите, чтобы я выполнил приказ? Но каким образом? Я же не вхож в ближайшее, ни даже в дальнее окружение товарища Сталина. У меня даже нет пропуска сходить в Кремль, чтобы полюбоваться на Царь-пушку.

— Лукич,— ответил Абакумов,— я понимаю, что в душе тебе совсем не хочется выполнять этот приказ. Потому ты и несешь всю эту ахинею о пропусках в Кремль. Какие там могут быть пропуска? Честно говоря, мне еще больше этого не хочется. У тебя еще есть шанс в этом деле уцелеть, а у меня нет. Белов уже погиб, следующим могу быть я. Но выбора нет. Неужели такому

человеку, как ты, Лукич, я должен это объяснять? Идет война. В этой войне уже погибли, считай, все: Дзержинский, Менжинский, Ягода, Ежов. И мы погибнем с Лаврентием Павловичем. Я это чувствую. Но ты, Лукич, если уцелел со времен Дзержинского, то имеешь хороший шанс уцелеть и сейчас. Есть люди со счастливой военной судьбой. Как во время взрыва: две тысячи человек погибли, а один уцелел. Потому ты должен выполнить этот приказ, Лукич. Просто некому больше.

— Но кто отдал этот приказ? — чуть не завопил я. — Кто мог отдать приказ, который мы получили в виде «инкарнации»?

— Этот приказ, — ответил министр, — мог отдать только один человек. Сам товарищ Сталин.

— Зачем? — забыв о чиновничестве, я схватил Абакумова за портупею и притянул к себе. — Зачем ему было отдавать такой приказ?!

Абакумов с силой оторвал мою руку от своей портупеи.

— Чтобы убить всех нас, — прохрипел он, — во-первых, за намерение, а во-вторых, за невыполнение приказа. Но тут он просчитался. Мы выполним приказ вождя, Лукич! Мы уже не можем его не выполнить!

10

— Что ты несешь, Лукич? — ошалело спросил я, слушавший до этого рассказ ветерана с открытым ртом. — Ты что? Убил товарища Сталина? Ты же мне говорил, что в глаза его не видел!

— Для того чтобы кого-нибудь убить, совсем не обязательно с ним встречаться,— засмеялся Василий Лукич,— но ты успокойся. Конечно, я его не убивал. Я вообще никого в жизни не убивал. А убил Сталина полковник Зюганов.

— Как? — подпрыгнул я на стуле.

— Очень просто,— пожал плечами Лукич,— пристрелил. Как и предсказывал Хаким. Кстати, я могу тебя с ним познакомить. Он тебе расскажет подробности. Любит поговорить.

— Погоди,— попросил я, стараясь привести свои мысли в порядок,— погоди, Лукич; дай отдышаться. У тебя нет анальгина?

— Не пользуюсь,— отмахнулся Лукич,— могу полстакана коньяку тебе налить, чтобы сосуды расширились. Чего это ты разохался? Что тебя так удивило? А ты чего ждал? Что мы вцепимся в душу товарища Сталина и не дадим ей покинуть его тело?

— Ну и как вы это осуществили? — просто-напросто я,— ты так просто об этом говоришь, Лукич. Полковник Зюганов взял и пристрелил товарища Сталина. Как он до него добрался?

— Ты же историк,— насмешливо сказал Лукич,— ты должен знать, как развивались дальнейшие события. Не успели мы отпраздновать семидесятилетие вождя, как началась война в Корее. Ты об этом хоть знаешь?

— Это отвлекло внимание на некоторое время, а под шумок разгромили Ленинградскую партийную организацию, натравив на нее Маленкова,— продолжал Лукич, сменив тон своего повествования на менторско-профессорский,— а

пока Сталин разбирался с гнусными ленинградскими изменниками-сепаратистами, Виктор Семенович Абакумов сделал первую попытку нанести по вождю сокрушительный удар.

— Но не тут-то было! — Лукич назидательно погрозил кому-то пальцем, — Виктор Семенович, царство ему Небесное, страстотерпцу, совершил крупную ошибку. Она заключалась в том, что он ни за что не желал верить в главный каприз души покидать тело всегда одним и тем же способом, считая все это бабьими сказками. Он разработал свой план уничтожения товарища Сталина с помощью его личных врачей, которые, как ясно каждому школьнику, тоже входили в систему госбезопасности и, следовательно, подчинялись Лаврентию Павловичу и Виктору Семеновичу. Однако, если уж душа любит покидать тело через пулевое отверстие, она никогда не делает этого через липовый инфаркт или инсульт, сработанный медиками. Нечего говорить, что все медики погорели и были арестованы. И, конечно, первым сдали самого Абакумова, как он и предчувствовал. Виктор Семенович был арестован прямо у себя в кабинете специальной опергруппой во главе с Кобуловым.

— Погоди, — попросил я Лукича, — разве Абакумов не был арестован вместе с Берия после смерти Сталина по приказу Никиты?

— Историк! — вложив в это слово максимально возможное презрение, ответил Василий Лукич, — Виктор Семенович Абакумов был арестован по приказу Сталина в 1951 году, а расстрелян по приказу Хрущева аж в 1956-м!

— Так как же? — не понял я, — его Сталин посадил, а Хрущев расстрелял? Ведь он должен был считаться «жертвой сталинских репрессий», что автоматически влекло за собой освобождение, восстановление в партии, возвращение чинов, орденов и все такое прочее. А тут получается, что Хрущев выполнял то, что не успел выполнить Сталин?

— Вот тут ты прямо в точку попал, — согласился Лукич, — но это своя история. Мы еще к ней подойдем. А после ареста Абакумова и кремлевских врачей, которые в подавляющем большинстве были евреями, началась мощнейшая в нашей стране антисемитская кампания. А во время таких кампаний уже можно делать все что хочешь. Под крики «Бей жидов — космополитов!» разгромили внутренний кабинет и личную охрану товарища Сталина. В итоге он остался один: ни врачей, ни охраны, ни аппарата. Даже Поскребышев и Власик оказались в тюрьме. Бери его голыми руками! Так что пришел к нему как-то Зюганов и пристрелил. Произошло это 28 февраля 1953 года, а не 5 марта, как официально объявили о смерти вождя.

Почему Зюганов? Да потому что ему это поручили, пообещав восстановить в звании и новую квартиру. У него пять детей было. Мог и любой другой на его месте оказаться. Я, например. Но я таких дел не люблю. Можно сказать, осторожно уклонился. Впрочем, никто и не настаивал.

— А что с Хакимом потом стало? — спросил я. — Вы встречались еще?

— С Хакимом интересная история вышла,— улыбаясь начал Лукич,— ту бумагу, что он писал по-тибетски у меня на кухне, мы потом переслали в секретариат товарища Сталина незадолго до празднования семидесятилетия вождя. Уж, не знаю, кто там в аппарате ее переводил на русский язык, но оказалась, что это торжественная ода, славящая не самого товарища Сталина, а его прекрасную и смелую душу. Говорят, что она так понравилась вождю, что он приказал дать автору Сталинскую премию первой степени.

И Хаким на это купился. Полез эту премию получать вместе с золотой медалью. А оттуда их напрямик повели на банкет, на котором присутствовал сам товарищ Сталин. Вождь взял два стакана водки, подошел к Хакиму и сказал: «Хочу выпить за здоровье великого поэта».

Случилась именно одна из тех ситуаций, которых Хаким всегда боялся, когда отказаться от спиртного нельзя. Он выпил и тут же отдал концы. Его прямо из зала вытащили и немедленно кремировали прямо в кремлевском крематории.

— Но он же пил водку у тебя на кухне,— напомнил я,— и ничего.

— Нет,— покачал головой Лукич,— я об этом думал и пришел к выводу, что у меня на кухне имела место инсценировка. Из хулиганских побуждений, говоря официальным языком. Из тех же побуждений была украдена раскладушка. Ну, сам подумай, зачем Хакиму раскладушка?

— Не знаю,— вздохнул я,— ты все это, Лукич, так буднично рассказываешь, что даже противно. Взяли и пристрелили Сталина за новую квартиру.

— Это ты так воспринимаешь,— возразил Василий Лукич,— потому что для тебя, что Корейская война, что Ленинградское дело, что дело врачей, что арест Абакумова — все пустые слова. Ты даже не представляешь сколько только наших сотрудников во всех этих делах погибло. Но и это не самое главное. Мне казалось, что ты парень подкованный, грамотный и сам что надо додумаешься. Но если ты, извини меня, такой тупой, то я тебе доскажу эту сказку, чтобы тебе не казалось, что ты только время потерял, ее слушая.

— Тебе кажется,— продолжал ветеран,— что все это так просто было. Захотели — войну в Корее начали, захотели — ждановских посеребрышей в Питере передавили, захотели — кремлевских врачей пересажали и своего министра бросили на гвозди? Нет. От нашего хотения тут мало, что зависело. Во всем была железная воля самого Сталина. Даже в собственной смерти...

Я бы не прочь был на этом и закончить, поскольку голова уже разламывалась от хитроумных выкладок старого чекиста. Но, вспомнив, сколько сил пришлось потратить, чтобы разговорить этот железобетонный монумент памяти небывалой по интересу эпохи нашей страны, я решил дослушать до конца. И пусть Лукич сам определит, когда этот конец наступит.

— Тебя послушать,— дал я волю своему раздражению,— так получится, что Иосиф Виссарионович просто взял и покончил жизнь самоубийством?

— Во-во,— оживился Лукич,— ты почти прав. Только он все-таки из семинаристов — среднее духовное образование получил. Успели, наверное, в него вдолбить, что самоубийство — это смертельный грех.

— Что-то я не понимаю, о чем вы, Василий Лукич? — пробормотал я, окончательно раздавленный аргументацией ветерана НКВД.

— Что же тут непонятного? — искренне изумился Василий Лукич.— Товарищ Сталин, вечная ему память, всегда интересовался мистическими проблемами. Около него вечно крутились разноцветные маги вроде Гуржиева и Мессинга. И о своей душе он знал задолго до того, как появился Хаким. Я хочу сказать, что он давно знал главный каприз своей души. Знал, что пуля прилетит от чекистов. Потому-то всегда и уничтожал нас. А дожив до 70 лет, он решил разыграть подобную комбинацию, поставив нас в известность о предназначенной миссии, а заодно и проверить, подтвердится или нет информация о капризе его души, полученная из других источников.

Мне кажется, что это была его ошибка, поскольку МГБ держало всех «проводников» под контролем и эта информация не могла остаться неподтвержденной. Узнав об этом, товарищ Сталин понял, что обречен. Тут он начал нервничать и совершать ошибки. Ему не следовало убивать Белова и пить водку с Хакимом.

Когда же один за другим были локализованы три его двойника, он понял, что проиграл. Ему было очень обидно. Ведь это он сам превратил МГБ в гигантского монстра, он создал нас как

средневековые колдуны создавали демонов смерти, становясь первыми их жертвами. Но Сталин не был средневековым колдуном. Он был великим вождем всех народов. Раз созданный им демон волей рока должен был убить его, то и он решил этого монстра уничтожить. Он оставил приказ-завещание, который Матрена Ивановна лично передала в руки Хрущева, Маленкова и Жукова. Это был приказ о мщении за его убийство.

А что произошло дальше, ты знаешь. На нас обрушили всю мощь армии. Операцией руководили пять маршалов во главе с Жуковым. Были схвачены и расстреляны без суда и следствия: Берия, Меркулов, оба Кобулова, Деканозов, Цанова и многие другие. Всех не перечесть. А Абакумова расстреляли в 1956 году, потому что он был в списках, составленных лично Сталиным за сорок восемь часов до получения пули.

— Но,— пытался возразить я,— а как же XX-й съезд, секретная речь Хрущева, десталинизация, реабилитация и прочее?

— Это произошло только через три года после смерти вождя,— ответил Лукич,— а в 1953 году вся эта хрущевско-маленковская компания была просто не в состоянии не выполнить приказ Сталина, даже отданный с того света. Ты вообще не можешь представить себе, что такое ПРИКАЗ СТАЛИНА, отданный кучке своих приближенных! Это уже потом они стали выходить постепенно из оцепенения, трусливо оглядываясь по сторонам, а весь 1953-й год Сталин еще полностью оставался для них живым. Я даже скажу

тебе больше. Ты когда-нибудь задавал себе вопрос: почему это сталинские маршалы такие, как Жуков, Конев, Соколовский, Малиновский и прочие, действовали с такой стремительностью и решительностью во время переворота 1954-го года? Почему такие люди, как Лаврентий Павлович и его окружение, имея в своих руках такую мощную карательную машину, которая через систему особых отделов могла в две минуты парализовать всю армию и ликвидировать этих самых маршалов, вдруг так нелепо дали себя схватить и истребить? Да потому, что и тем, и другим, был предъявлен приказ Сталина! Вот такие, брат, дела!

— Ну, хорошо,— сказал я,— а почему тогда полковник Зюганов уцелел и не был наказан?

— Во-первых, его не было в списках. Товарищ Сталин понимал, что Зюганов — всего лишь орудие судьбы,— объяснил Лукич,— а во-вторых, он наказан был. Получил выговор с занесением, кроме того, его уволили из органов и перевели на партийную работу.

— Ну, а ты сам, Лукич, как открутился? — не унимался я.— Тебе-то как удалось выбраться из этой передраги?

— Меня, к счастью, тогда в Москве не было,— улыбнулся Василий Лукич одной из своих хищных улыбок,— я Ким Ир Сена в Пхеньян этапировал.

— Этапировал? — икнул я.— Откуда ты его этапировал?

— С Лубянки,— ответил Лукич,— из внутренней тюрьмы. Товарищ Сталин приказал посадить

его в пятьдесят первом году вместе с Абакумовым.

— За что? — заорал я. — За что посадили Ким Ир Сена?

— За многое ему полагалось, — уклончиво ответил Лукич, — но официально за то, что, заполняя анкету, в графе «национальность» написал «кореец», когда в действительности был чукчей. Товарищ Сталин очень строго к таким вопросам относился. Для него анкета была священным документом. Мне потом рассказывали, что он в пятьдесят втором году три раза мое личное дело запрашивал. Уж не знаю для чего. Но поскольку там значилось, что я был расстрелян, то он его все три раза возвращал с пометкой: «Малладцы!».

— Так что можно сказать, что тебе повезло? — спросил я.

— Относительно, — согласился Лукич, — но из органов меня все равно выгнали. После пятьдесят пятого года я, можно сказать, превратился в первого частного сыщика «по деликатным вопросам государственной важности». Но это уже другая история.

Лукич помолчал, вздохнул и добавил:

— Но и мне в этом деле тоже не все до конца ясно. Почему они использовали слово «инкарнация»? Не наше это слово. Как оно сразу папе-Мюллеру резануло по ушам! Не подброшено ли оно из-за границы, чтобы еще раз проверить всю нашу социалистическую систему на прочность?

ЛЕНИНСКИЙ ЮБИЛЕЙ

Я обратил внимание на то, что Василий Лукич постоянно носит на пиджаке медаль, выпущенную к столетию со дня рождения Ленина в 1970 году. Этими медалями в тот год награждали повально всех. С моей точки зрения, эта медаль была шедевром безвкусицы. Аляповатая, выполненная из стилизованного под золото алюминиевого сплава, на красной ленте — она отдаленно напоминала старорежимные бляхи извозчиков. Сейчас ее мало кто носит. Даже ветераны партии предпочитают разные экзотические значки с претензией на участие во второй мировой войне, чем юбилейную ленинскую медаль, от которой за версту сквозит фальшаком.

Как-то я не удержался и спросил Василия Лукича, чем ему эта медаль так понравилась, что он ее постоянно таскает, перецепляя с одного пиджака на другой.

— Так она же золотая! — ответил старый чекист.

— Да ты что, Лукич! — изумился я, — какое же это золото? Ты действительно веришь, что она из золота?

Вместо ответа Василий Лукич перевернул медаль и показал мне 96-ю пробу, выбитую на ее оборотной стороне.

Потом снял ее с лацкана и подал мне, чтобы я ощутил всю тяжесть благороднейшего из металлов.

Я был повержен, растоптан и размазан.

Кроме пробы на оборотной стороне медали был выбит личный трехзначный номер, красовалась эмблема чекистского «щита и меча», была и надпись о том, что обладатель этой медали пользуется теми же льготами, что и кавалер ордена Славы всех трех степеней.

— Лукич,— спросил я, придя в себя и заикаясь,— это что — спецмедаль?

— Поднимай выше,— засмеялся ветеран,— с ней связана совершенно фантастическая история. Даже не знаю, как ее тебе рассказать. Ты и более простые вещи понимаешь с трудом.

Я обиделся:

— Когда вы рассказываете о своей службе, я иногда не могу понять, где там правда, а где ваш вымысел или фантазия. В этом случае я, конечно, ничего понять не могу. Но это не потому, что я такой глупый, а потому...

— ...Что ты не жил в это время,— закончил за меня Василий Лукич,— а время, я тебе скажу, было действительно фантастическое. Как тогда пели: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!» А как я тебе уже говорил, во всех песнях того времени содержался диаметрально противоположный смысл. И в итоге быль превратили в такую сказку, что и не снилась самым известным нынешним сценаристам фильмов-ужасов. Вот послушай. Случилось это где-то незадолго до празднования в честь столетия со дня рождения

Владимира Ильича Ленина. Лезу я как-то к себе в почтовый ящик и достаю оттуда повестку. Приглашают меня на Лубянку в связи с реабилитацией как невинно пострадавшего от репрессий в годы культа личности. Я сразу обратил внимание, что повестка адресована не мне лично, поскольку фамилия написана во множественном числе. Как бы всей семье. Я в те годы работал в университете...

— В университете? — удивляюсь я. — Кем?

— После расскажу, — невольно морщится Лукич, — не перебивай, а то собьюсь с мысли и ничего рассказывать не буду.

— Извините, Василий Лукич, — смущенно бормочу я, — больше не буду.

— Значит, — продолжает Василий Лукич, — прихожу я в приемную КГБ, сдаю повестку. Мне говорят: «Посидите немножко. Сейчас выйдет сотрудник, он вами займется».

Я сижу и думаю: «Я вроде никаким репрессиям не подвергался ни при каких властях. Что же это происходит? Спутали меня что ли с кем-то?».

Тут выходит сотрудник — молодой, красно-рожий, широкоплечий, в модном костюме. В руках моя повестка, подмышкой толстенная папка с надписью «НКВД СССР», а ниже «Личное дело №» и куча всяких фиолетовых и черных штампов.

Сотрудник мне головой кивнул и говорит: «Идемте со мной».

Зашли мы в какой-то кабинет, усадил он меня за стол, кладет передо мной папку и велит: «Ознакомьтесь с делом». А сам за другой стол садится,

берет какой-то журнал и записывает туда что-то из моей повестки.

Я гляжу — это мое личное дело. Вернее, его часть, потому что на обложке написано: «Начато: 4 июля 1919 года. Окончено: 18 марта 1941 года». А ниже штамп: «Приведен в исполнение 18 марта 1941 года», а под ним совсем свеженькая печать: «Реабилитирован в связи с отсутствием состава преступления 19 октября 1969 года».

“Ничего себе, думаю, пироги! Что же все это значит?”

Открываю дело и сразу же натыкаюсь на «Служебную записку». Почерк до боли знакомый. Пробегаю глазами. Батюшки! Так это же сам Владимир Ильич! Точно. И подпись его — Ульянов (Ленин). Правда, без даты, но зато с номером. На всю жизнь запомнил: «Служебная записка № 18. Совершенно секретно». В ней вождь мирового пролетариата дает мне характеристику как перерожденцу и, отмечая накопившийся у меня огромный объем секретной информации, предлагает «товарищам» принять безотлагательные превентивные меры, чтобы избежать потенциальной утечки этой самой секретной информации.

Чернила черные. У нас в зоне все время были фиолетовые чернила. Только один раз я на складе черные получил. Было это в конце тридцать девятого года.

«Ничего себе, думаю. Вот это номер! Высший класс!»

Далее смотрю: предписание о моем расстреле, подписанное уже Всеволодом Меркуловым: «Со-

гласно решению коллегии НКГБ и на основании «Служебной записки № 18». Затем все чин чинном: акт за подписью Ивана Фомича — коменданта, о том, что я расстрелян, и расписка директора кладбища, принявшего труп для захоронения.

«Ну,— думаю,— спрошу у Ивана Фомича, что это за шутки». Он со мной сейчас в одном доме живет, только в другом подъезде. Мы с ним летом часто козла забиваем во дворе.

Но особенно меня убило то, что я был расстрелян по служебной записке Ильича 18 марта 1941 года (дата из расписки Ивана Фомича), что в течение шестнадцати лет, находясь под моей охраной, Владимир Ильич умудрился написать по моему поводу восемнадцать служебных записок. То есть по одной каждый год, а в 1939 году — целых три. То, что он их писал, ладно. Но как он их передавал?

Вспомнились мне его слова: «Конспирация, Василий Лукич, и еще раз конспирация!». Действительно, такого мастера конспирации я еще не знал.

А сотрудник, который что-то с моей повестки списывал в регистрационный журнал, меня спрашивает:

“Вы кем приходитеесь покойному?”

“Кому?” — не понял я, продолжая изучать дело и восхищаться.

“Реабилитируемому, то есть,— подсказывает сотрудник,— кем ему приходитеесь?”

“Не понял,— говорю я,— что значит кем прихожусь?”

От моей тупости сотрудник даже стал нервничать.

“Что тут непонятного? — размахивает он моей повесткой, — я, кажется, ясно спрашиваю: в каких родственных связях вы находитесь по отношению к невинно репрессированному? Сын? Брат?”

“Никем не прихожусь,” — признаюсь я.

“Это как же? — аж подпрыгнул сотрудник на стуле. — На каком же тогда основании...”

“Так это я и есть,” — говорю я, улыбаясь и продолжая читать служебные записки вождя мирового пролетариата. Обратил внимание, что ни под одной нет дат.

У сотрудника, видимо, на какое-то мгновение, как говорится, в зобу дыхание сперло. Пошел он красными пятнами и таким строгим учительским тоном мне выговаривает:

“Вы мне прекратите тут острить. Не забывайте, где находитесь. Я тут с вами не в игрушки играю. Это серьезнейшее дело, я вы мне тут цирк устраиваете. Даже и не солидно в вашем возрасте. Еще раз спрашиваю: в какой степени родства вы находитесь с реабилитируемым, с осужденным на высшую меру?”

“Это я сам и есть, — повторяю я, — и нечего мне нотации читать. Сопляк еще!”

Это я для того ругаться стал, чтобы время выиграть и успеть еще почитать документы дела, пока он у меня его не отнял.

— Не забывайте, где находитесь? — передразниваю я его, продолжая листать дело. — Д”а я здесь находился со времен Менжинского. Когда

тебя, дорогой товарищ, и в проекте не было. Когда твои мама и папа еще под себя ходили!”

Тут он красными пятнами пошел, вскакивает из-за стола и не говорит, а сипит как-то (горло ему, наверно, перехватило):

“Ваш паспорт! Паспорт, говорю, предъявите! Сейчас пятнадцать суток оформлю за хулиганство и на годы ваши не посмотрю!”

“Пожалуйста,”— отвечаю я и подаю ему паспорт, продолжая листать дело. Ну, Владимир Ильич! Но и молодец! Настоящий вождь! Так кто кого в зоне охранял: я его или он меня?

А между тем мой собеседник паспорт листает и того пуще красными пятнами покрывается. Затем опомнился, шаст и дело у меня выхватил, и положил к себе на стол.

“Извините,— возмущаюсь я,— но я еще до конца не ознакомился с документами. Почему вы дело отобрали?”

Оказывается, как он объяснил, не положено. Если бы я был родственником репрессированному, то положено, а раз это я сам, то не положено категорически. Тем более для тех, к кому была применена высшая мера. Им строжайше запрещено знакомиться с делами.

Объясняя так несвязно, он какую-то таблетку достал из нагрудного кармана и проглотил, запив водой из графина. Видно, у него крыша ехать стала и он ее на место задвинул.

Помолчал. А потом явно через силу говорит:

“Значит, вы утверждаете, что являетесь именно тем самым лицом, о котором идет речь в указанном личном деле?”

“Утверждаю,— отвечаю я,— могу еще и пенсионное удостоверение показать.”

Посмотрел он мое пенсионное удостоверение, и вижу, что пора ему уже неотложку вызывать. Но парень молодой, сильный, быстро оправился. Возвращает мне паспорт и удостоверение и спрашивает:

“Что же получается? Выходит вы с Лениным непосредственно работали. Владимир Ильич ни о ком, кроме Маркса и Троцкого, столько не писал, сколько о вас.”

Я скромно так помалкиваю. И сам об этом только-только узнал.

“Сколько вы с Лениным работали?” — интересуется сотрудник.

“Шестнадцать лет,— отвечаю я,— чуть больше даже.”

Теперь он замолчал. Вижу что-то обдумывает.

“Так как же это получается,— прервал он наконец молчание,— везде значится, что вы 1904-го года рождения. Правильно?”

“Правильно,— киваю я головой.

“Так как же вы могли шестнадцать лет работать с товарищем Лениным, если вам в 1917 году было всего тринадцать лет?” — недоумевает сотрудник.

“Возраст работе не помеха,— отвечаю я,— главное любить работу.”

“Вы были по линии ВЧК рядом с Лениным?” — продолжает допытываться он.

“Нет,— отвечаю я,— по линии НКВД.”

“Но ведь НКВД образовали только в 1934 году,— блеснул познаниями сотрудник.

“Совершенно верно,— согласился я,— а до этого было ОГПУ.”

“— Вы работали в охране вождя?” — несколько обалдело поинтересовался реабилитирующий сотрудник.

“Точно,— подтвердил я,— именно в охране. Начальником охраны.”

“А после смерти Ленина вас репрессировали и держали в тюрьме до марта 1941 года?” — нервно хихикнул сотрудник.

“А потом расстреляли,— продолжил я,— как сказано в деле. 18 марта 1941 года.”

Он помолчал снова и говорит:

“Извините меня, но сдается, что вы надо мной просто смеетесь. Демонстрируете как бы презрение к нам, комитетчикам, которые являются продолжателями вашего дела. И напрасно. Как человек, работавший столько лет с товарищем Лениным, вы имеете право на персональную добавку к пенсии и улучшение жилищных условий. Поэтому вот вам лист бумаги и подробно опишите, как вы встретились с товарищем Лениным, как с ним работали и тому подобное. Вам понятно?”

“Ничего писать не буду,— отвечаю я,— а надбавка к пенсии мне не нужна. Живу я один, мне мне мало надо. Да и пенсий у меня две.”

“Вы зря запираетесь,— жестко говорит сотрудник, как будто я прохожу свидетелем по какому-то уголовному делу,— зря, говорю, вы запираетесь. Мы ведь и так все выясним. Вам же будет хуже. Вы же не думаете, надеюсь, что можете победить Комитет?”

“Может хватит? — спросил я.— Реабилитировали меня и слава Богу. Извините, мне пора домой.”

“Значит отказываетесь отвечать?” — злое-ще спрашивает сотрудник.

“Говорить-то не о чем,— отвечаю я,— перед вами мое личное дело. Там все сказано. Мне добавить нечего, дорогой товарищ.”

“Там сказано,— почти орет он,— что вас расстреляли. А вы вот сидите передо мной. Почему же вы сидите передо мной, если вас расстреляли? А знаете ли, я придерживаюсь мнения, что в те годы без причины и не расстреливали, и не сажали! Так за что же вас расстреляли?”

“Как за что? — спрашиваю я.— В деле же все указано. Дело-то почитайте. По представлению товарища Ленина.”

“И следствие шло аж до марта 1941-го года?” — шипит сотрудник.

“Вы считаете, что здесь есть моя вина?” — интересуюсь я.

“Думаю, что есть,— говорит сотрудник,— вы, видимо, также запирались и не желали говорить правду, как и со мной. Недаром вас приговорили к расстрелу. И даже сейчас вы не хотите сказать правду. У меня создается впечатление, что вы закоренелый преступник.”

“Но меня же реабилитировали,— удивляюсь я,— вот тут написано: «за отсутствием состава преступления». Как же вы можете утверждать, что я преступник. Я был им до реабилитации. А сейчас я честный советский гражданин и в качестве такового напишу на вас жалобу в прокуратуру по надзору за органами.”

Вместо ответа он вдруг вынимает из ящика письменного стола телефон и начинает что-то вполголоса бурчать в трубку. Потом говорит «есть!» и направляется к выходу.

“Посидите здесь,— приказывает он,— я сейчас вернусь.”

Оглядывается он по сторонам, убирает все со стола, запирает стол, выходит из кабинета и закрывает меня на ключ. Мое личное дело, конечно, унес с собой.

Я скучаю один и смотрю на портрет Ленина, а Ильич, в свою очередь, хитро прищурившись, смотрит на меня со стены.

«Эх, Владимир Ильич,— думаю я,— ну и заварил ты кашу! Я же тебе две спецпайки вместо одной выдавал, свет в камере никогда не отключал, лампу тебе настольную принес из комендатуры, а ты на меня, оказывается, все эти годы стучал и, можно сказать, подвел под “вышак”. Не ожидал я этого от тебя!»

Тут ключ в замке поворачивается, дверь открывается и входит другой сотрудник. Постарше. Лицо круглое, улыбчивое. Очки в золотой оправе, серая тройка и галстук с золотой булавкой.

“Здравствуйте,— представляется он,— кандидат юридических наук Карташов Владлен Вилорович. Очень приятно с вами познакомиться, дорогой Василий Лукич. Знаете, я люблю работать с ветеранами. Ветераны — это тот фундамент, на котором стоит все наше социалистическое общество. Не правда ли?”

Я молчу.

“Тут мне коллега рассказал,— продолжает

он, что вы, Василий Лукич, работали много лет с самим товарищем Лениным и из ложной скромности не хотите никому рассказывать о тех незабвенных днях, которые вы провели с основателем нашей партии и государства. Отказываюсь верить, что это так. Коллега, наверное, что-то не так понял или ошибся. Ведь так?"

Я молчу.

"В вашем личном деле,— горячится Владлен Вилорович,— обнаружено восемнадцать собственноручных писем Владимира Ильича Ленина, в которых вождь нашей партии дает вам, Василий Лукич, развернутую характеристику. Это тем более странно, что из текста ленинских писем явствует, что вы были чуть ли ни ближайшим советником вождя мирового пролетариата.

В последнем письме товарищ Ленин требует принять к вам меры высшей социальной защиты как к лицу слишком много знающему.

Это просто невероятно, особенно учитывая ваш возраст и описываемое время. И сейчас, когда весь советский народ, я даже сказал бы,— весь мир, готовится отметить столетие со дня рождения товарища Владимира Ильича Ленина, вы, Василий Лукич, в своем родном ведомстве, которое, можно сказать, вас вывело в люди, не хотите все чистосердечно и правдиво рассказать. В конце концов, у вас должно быть чувство обыкновенной человеческой благодарности. Ведь именно вас мы реабилитировали и восстановили во всех правах советского человека. Поэтому я уверен, что вы мне все расскажете."

"А если нет?" — спрашиваю я.

“Василий Лукич,— говорит кандидат юридических наук,— мы вас реабилитировали, но мы можем и пересмотреть наше решение. Скажем, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. И тогда в полном диапазоне прав, предоставленных нам законом, мы можем начать следствие о том, что вы делали при Ленине, пока не были разоблачены лично им.”

«Во, влип»,— думаю я.

“А затем,— продолжает Владлен Вилоревич,— мы разберемся, как вам удалось избежать той кары, к которой вы были приговорены в 1941-м году, и исправить ошибку, допущенную тогда нашими товарищами по причинам ложного гуманизма или каким-то другим. Я понятно выражаюсь? Или есть какие-нибудь вопросы?”

“Все это так,— соглашаюсь я,— но вы, наверное, обратили внимание, что предписание о расстреле подписано Всеволодом Меркуловым, который, вам известно, тоже был расстрелян по делу Берия, разоблаченным в качестве агента английской разведки. Имеют ли подобные предписания юридическую силу, о которой вы говорите, не утруждая себя бременем доказательств?”

“Дорогой мой,— улыбается дипломированный юрист,— разве дело в том, кем были эти люди? Главное — документы, которые они успели подписать. А я хочу честно вам заявить, что предписание о расстреле вместе с актом о его исполнении является серьезнейшим юридическим документом. И лица, активированные подобным образом, подлежат исключительно посмертной реабилитации. Вы же претендуете на

то, что являетесь живым? Это я не собираюсь оспаривать. Но этот же факт делает вашу посмертную реабилитацию юридически ничтожной. Вы понимаете мою мысль? Чтобы быть реабилитированным, вам необходимо пройти через процедуру, предусмотренную в вышеуказанном предписании и акте. Я бы очень хотел, чтобы вы осознали серьезность вашего положения.”

“Так что вы от меня хотите? — спрашиваю я,— чтобы я застрелился? Ведь активировать меня сейчас у вас нет возможности.”

“Почему же? — улыбается Владлен Вилорович,— возможность есть. Конечно, подобные вопросы решаю не я, но многое зависит от того, как я доложу руководству.”

“И меня расстреляют?” — интересуюсь я.

“Я этого не говорил,— покрывается пятнами Владлен Вилорович,— я говорил, что вас могут активировать. Юридический смысл этого термина весьма широк и зависит от многих сопутствующих обстоятельств.”

“Например?” — спрашиваю я.

“Например, от степени помощи следствию со стороны лица, предполагаемого к активированию,— отвечает кандидат юридических наук,— и от решения руководства, а также от хода самого следственного процесса.”

“Значит,— говорю я,— мы с вами, Владлен Вилорович, не беседуем, а участвуем в следственном процессе?”

“— О чем я вам и толкую,— оживляется кандидат юстиции,— а вы все прикидываетесь, извините, что ничего не понимаете.”

“Выходит,— пытаюсь разобраться я,— меня вызвали не для реабилитации, а на допрос?”

“Простите,— снова улыбается Владлен Вилоревич,— вас никто сюда не приглашал. Если вы внимательно прочтете присланную вам повестку, то убедитесь, что она послана не вам, а вашим родственникам, выжившим до настоящего времени. Если бы пришел кто-нибудь из них, то у нас никаких вопросов к ним и не возникло. Они расписались бы в получении справки о реабилитации и смыли бы с себя пятно членов семьи врага народа, став обычными и полноправными советскими гражданами. Но, поскольку сюда, к большому нашему удивлению, пришли вы сами, ситуация в корне изменилась. Как я уже вам говорил, лица вашей категории подлежат только посмертной реабилитации. А так как вы живы, ни о какой реабилитации не может быть и речи. Вывод: вы остаетесь врагом народа, следствие против вас автоматически продолжается. Тем более, что возбуждено это дело по настоянию самого товарища Ленина! Это как бы завет вождя. И он требует довести дело, как и все его прочие славные дела, до победного конца. Вы хоть это способны осознать? Еще раз прошу вас не усугублять своего положения, демонстративно отказываясь отвечать на вопросы следствия.

“А в качестве кого я участвую в следственном процессе,— недоумеваю я, — обвиняемого или свидетеля?”

Кандидат юридических наук на мгновение задумался, а затем говорит, но без прежней уверенности в голосе:

“Пока в качестве свидетеля.”

“Но, согласно УПК,— парирую я,— я не могу участвовать в качестве свидетеля в уголовном деле, возбужденном против меня, да еще, если верить вам, самим товарищем Лениным. А если я обвиняемый, то имею право не отвечать на вопросы.”

“А вы, что, УПК почитывали? — подозрительно спрашивает меня Владлен Вилорович, так он мне представился,— с чего это вы его почитывали?”

“Владимир Ильич,— отвечаю я,— всегда учил, что процессуальный кодекс является главным оружием буржуазии в борьбе с диктатурой пролетариата. А потому его надо знать на зубок. «Василий Лукич,— говорил мне вождь,— ваша юридическая малограмотность способствует реставрации власти помещиков и капиталистов в нашей стране».

“Правильно он вам говорил,— согласился Владлен Вилорович,— и чтобы подобной реставрации не произошло, я готов вам объяснить, что стать из свидетеля обвиняемым проще простого. Сейчас, скажем, вы свидетель, а через секунду уже стали обвиняемым. Причем, что наиболее важно, даже сами этого не заметили. В этом есть сущность и искусство следственного процесса. Теперь же, после того как мы вместе прошли юридический ликбез, я спрашиваю вас, свидетель, будете ли вы давать показания по существу заданного вам вопроса?”

“Я уже позабыл вопрос,— признаюсь я,— повторите, пожалуйста.”

“Хорошо,— говорит Владлен Вилорович,— как и при каких обстоятельствах вы оказались в окружении Владимира Ильича Ленина? И с какой целью? Ну, так я жду.”

“И совершенно напрасно, как говаривал Владимир Ильич,— отвечаю я,— не дождетесь.”

“Вот вы и стали обвиняемым,— радостно сообщил мне Владлен Вилорович, — поскольку свидетель несет уголовную ответственность за отказ от дачи показаний.”

“И какую меру пресечения вы мне выбираете?” — спрашиваю я.

В этот момент в ящике стола зазвонил телефон. Владлен Вилорович вытащил из ящика трубку и сказал: «Карташев слушает. Молчит, товарищ генерал. Да, товарищ генерал. Конечно, товарищ генерал. Не беспокойтесь, товарищ генерал». Затем прячет трубку в стол и обращается снова ко мне:

“Будь моя воля, я без колебаний взял бы вас под стражу и оформил бы задержание. Поскольку человек, которого просил посадить сам товарищ Ленин, безусловно, представляет повышенную опасность для общества. Однако руководство, учитывая ваш преклонный возраст и надеясь на ваше благоразумие, решило дать вам возможность поразмыслить, предоставить вам шанс явки с повинной. А пока идите домой. Мы вас вскоре вызовем.”

“Паспорт-то мой отдайте,” — прошу я, собираясь уходить.

“Паспорт пока останется у нас,— отвечает Владлен Вилорович,— для надежности.”

— Идиотизм какой-то! — сказал я, когда Василий Лукич замолчал, откинувшись в кресле,— неужели что-либо подобное могло произойти в те времена? Что-то мне не верится.

— Погоди,— ответил Василий Лукич,— происходило и не такое. То, что я рассказал, — это только начало. Вернулся я тогда домой и начал вспоминать, а что же со мной происходило тогда в марте 1941 года. В частности, именно 18 марта. В январе пришел приказ о ликвидации спецзон, и я стал готовить своих подопечных к этапу. Куда их этапируют, я не знал.

С Ильичем в апреле, 4-го, отметили его семидесятилетие. Он, помню в газетах зарылся, все про себя читал и языком цокал от удовольствия. Обнялись мы с ним на прощание. Он даже прослезился: «Прощайте, Василий Лукич. Едва ли придется снова встретиться». Я-то тогда не придавал значения этим словам, а теперь-то понимаю: знал Ильич, что меня скоро расстреляют, а потому так тепло со мной и прощался.

2

— Потом меня откомандировали в распоряжение отдела кадров НКВД, а в феврале наш наркомат разделили на два: на наркомат внутренних дел и на наркомат государственной безопасности. Бардак по началу был страшный, поскольку никто не знал, в каком наркомате находится и кому подчиняется. Наркомом госбезопасности был назначен Всеволод Меркулов — человек интеллигентный, образованный и очень

сентиментальный. Волосы темно-каштановые, волнистые, как сейчас помню — так волнами и идут со лба на затылок. Красивый был мужчина. Но сентиментальный, как Красная Шапочка. Говорит, например, о поголовном уничтожении врагов народа, а у самого слезы текут. Оказывается, ему их деток жалко. «Детки, всхлипывает он, в чем виноваты? И где им с таким клеймом жить? Тоже гуманнее расстрелять. Или уморить во младенчестве, чтобы не успели осознать своей преступной сущности. Это важно особенно сейчас,— подчеркивал он,— когда, благодаря гению товарища Сталина, вот-вот должна осуществиться завещанная нам еще Ильичем мечта о мировой революции». И снова плакал. Уж, больно ему было жалко, наверное, разных там голландских и французских ребятишек, которым суждено было стать детьми врагов народа.

И вот, вспоминаю я, что вроде именно 18 марта меня Меркулов и вызвал к себе. Ну, такой, казалось бы, незначительный эпизод, что я тогда не обратил на него внимания. А сейчас стал вспоминать, как же все было? Усадил он меня на стул против себя и, помнится, говорит:

“Как служба, Лукич? Чем сейчас занимаешься?”

Докладываю, что откомандирован в распоряжение управления по кадрам, жду назначения.

“Да, да,— кивает своей красивой головой Меркулов,— готовим тебе новое назначение, Василий Лукич. А пока отдыхай. Путевочку не хочешь куда-нибудь? На недельку или на две?”

«А чего» — думаю, — в зоне своей я уже совсем одичал. Почему и не съездить недельки на две в Крым? Хоть не сезон сейчас, но все-таки.» Соглашаюсь.

Товарищ Меркулов явно обрадовался. Достает из ящика конверт заклеенный и говорит:

“Вот, Лукич, путевка тебе. Отнеси ее Ивану Фомичу — коменданту, он все оформит. И отдыхай на здоровье. Только сам конверт не вскрывай. Иван Фомич этого не любит. Может плохую путевку выдать.”

Взял я конверт и готовлюсь уходить. А у него вдруг слезы на глаза навернулись.

“Василий Лукич, — всхлипывает он, — а детки у тебя есть?”

“Нет, — отвечаю, — деток нет.”

“А что так, — удивляется сквозь слезы товарищ Меркулов, — ты же давно женат?”

“Ну вот так, — развожу я руками, — давно женат, а деток нет.”

“Это даже хорошо, — говорит он, вытирая глаза платком, — что деток у тебя нет. А у меня, видишь — пятеро детей.”

А фотографии всех наркомовских детей в отдельных рамочках стояли у него на столе.

“Пятеро, — снова всхлипывает нарком. — Кто о них позаботится?”

Гляжу — сейчас разрыдается. Но пересилил себя, встал, троекратно меня расцеловал, руку пожал и подтолкнул к дверям:

“Иди, Лукич, отдыхай. Ты это заслужил.”

Спускаюсь я по лестнице в подвал к Ивану Фомичу. Там у него был кабинет. Нужно было

на второй этаж спустится, а оттуда уже из другого крыла шла вниз железная лестница, наподобие пожарной, но с пролетами. Надо было два пролета вниз спустится, а там железная дверь с табличкой «Комендант» и со звонком. Звонишь — тебя пускают.

Иду я по коридору второго этажа, значит, к этой лестнице и вдруг гляжу — навстречу мне шествует собственной персоной сам Серега Шпигельглаз. В полной форме с двумя ромбиками на петлицах. Я аж попятился, а потому что имел сведения об аресте Сереги еще в ноябре 1938 года и о его расстреле. Я даже точно знал дату его расстрела: 12 февраля 1940 года, то есть почти ровно год назад.

Он меня тоже увидел и вроде обрадовался:

“Здорово, Лукич! Куда торопишься?”

“К коменданту иду,— отвечаю я,— к Ивану Фомичу. Путевку надо оформить.”— И показываю конверт.

“Успеется,— говорит товарищ Шпигельглаз,— там опозданий не бывает.”

Берет у меня конверт, останавливает какого-то сотрудника, что шел по коридору, и приказывает: «Отнести конверт коменданту. Немедленно!»

“Слушаюсь!” — отвечает тот, берет конверт и убегает в подвал.

“Следуй за мной, Лукич! — обращается он ко мне.— Вопросов не задавать.”

«Плакал мой отпуск»,— думаю я и покорно иду за Серегой, недоумевая, как же ему удалось открутиться от вышакана? Да еще при этом получить второй ромб на петлицы?

Между тем выходим мы на улицу. Серега подходит к шикарному «фордику». Какой-то молодец выскакивает, открывает перед ним дверцу одной рукой, а второй берет под козырек. Я тоже хотел в машину сесть, но он на меня так посмотрел, что я, словно на какую-то невидимую стенку наткнулся, и остановился.

А Серега мне, не оборачиваясь, говорит: «Езжай, Лукич, домой. О нашей встрече никому ни слова. С тобой свяжутся».

Поехал я домой, а вернее пошел. Жил я тогда неподалеку в общежитии комсостава НКВД, кварталах двух от Лубянки, где мне полагалась комната в десять квадратных метров. Ведь был я уже тогда майором НКВД и носил четыре шпалы **армейского** полковника.

Прихожу, ко мне дежурный подлетает: «Товарищ **майор**, срочно к телефону. Уже весь телефон оборвали. Вас ищут». Иду к телефону, беру трубку, слышу голос начальника управления кадрами.

«Василий Лукич! — кричит он, — это ты? Как я рад слышать твой голос. Думал, не успею. Мне доложили, что ты отпуск собрался в Крыму проводить. Хорошо, что не уехал. Слушай меня внимательно — ты остаешься в кадрах НКВД, а НКГБ не имеет к тебе никакого отношения. И в отпуск они тебя не имеют права отправлять. Только мы имеем права, но мы этого не сделаем. Твой отпуск отменяется. Завтра утром срочно выезжай в Минск. Там тебя ждет запечатанный пакет с особым заданием. Прочти то, что в пакете и уничтожь! Понял?»

“Так точно, — вздохнул я, — понял.”

И 19 марта вылетел в Минск. Что было дальше, уже к этой истории отношения не имеет. Однако в любом случае ясно, что у меня, наверное, было два личных дела. Одно хранилось в НКВД, другое — в НКГБ. И 18 марта 1941 года, как ни крути, было последним днем моей работы в НКГБ. И именно в этот день они зафиксировали мой расстрел. Впрочем, такие случаи бывали. Возникали ситуации, когда имитировали расстрел, а самого расстрелянного с другими документами посылали куда-нибудь на выполнение особого задания, изменив предварительно его внешность.

“Пластическая операция?” — спросил я.

“Необязательно,” — ответил Василий Лукич, — человек ведь запоминается по определенным стереотипам. Если, он скажем, носил бороду, ее сбривали. Если нет, то, наоборот, заставляли отпустить. Это меняет лицо до неузнаваемости. Представь себе Карла Маркса без бороды. Тысячи людей видели царя после 1918 года, а не узнали. Почему? Стереотип его образа был полностью разрушен. Усы, бороду, шевелюру — под бритву. Мундиры, которые он всю жизнь носил, отобрали. Выдали пиджак, косоворотку, штаны и скороходовские ботинки. И поди узнай! Даже, если он сам бы стал уверять, что царь, Кто бы ему поверил? То же самое с Лениным. Без усов и бороды — вылитый Ким Ир-Сен. В зеркало глянет на себя и плачет. Когда по особому ходатайству разрешено ему было бороду отпустить «а ля Толстой» — вождь стал походить на Распутина Григория

Ефимовича. Родная мама не узнала бы. У меня самого временами голова плыла: Ленин это или нет? Так это я говорю о людях, внешний вид которых был известен всему миру.

А если взять к примеру того же Серегу Шпигельглаза, то кто его знал вне Лубянки? Да никто. Его можно было хоть каждый день расстреливать. Но при этом все-таки предупреждали. А меня, как говорится, шлепнули без предупреждения. Ни фамилию менять не заставили, ни бороду отпускать.

Все это было не совсем понятно, а потому я решил все выяснить в одном доме, но в разных подъездах. Сейчас Иван Фомич уже помер. А тогда еще был молодец. Косая сажень в плечах и пролетарская ненависть в глазах. Выпить любил. Если честно, то всегда пьяный ходил, но безобразий себе никаких не позволял. Пить «умел». «Это вы, чистоплюи, по кабинетам в тепле сидели,— говаривал он, наливая себе стакан прямо за игрой в домино,— а у меня в подвале вечно сыро и холодно. К тому ж сквозняки от вентиляции. И работа — сам понимаешь. Кабы не спирт, то все бы там копыта откинули.»

Решил я сам поговорить с ним, чтобы выяснить все эти непонятности.

Обычно, когда мы с ним встречались, то о прошлой службе почти никогда не разговаривали. А если и разговаривали, то больше о похоронах. Например, примет Иван Фомич стаканчик, кулаком его занюхает и говорит: «Лукич, помнишь такого-то?». Я головой киваю— пом-

ню. «Так помер позавчера,— докладывает Иван Фомич,— в одночасье». Все молчим. Помер так помер. Все помрем. Царство ему Небесное!

У нас не принято было прошлое обсуждать. Да и о настоящем предпочитали помалкивать.

Вхожу, значит, я во двор, вижу Иван Фомич с коляской гуляет и голубей из пакетика какими-то зернышками кормит: гули-гули. В коляске то ли внучка, то ли правнучка сидит. Не везло Ивану Фомичу с потомством: три дочки и шесть внучек. Одни девки. И вроде уже правнучка родилась. А он все о сыне мечтал. Хотел династию создать, пристроить его на Лубянку на свое место комендантом. Но не судьба. «Отказал в этом Господь»,— сокрушался Иван Фомич. Он в конце жизни очень набожным стал. Поговаривали даже, что в церковь втихаря хаживал. Крестился, правда, все левой рукой. В правой стакан, а левой крестится и приговаривает: «Ничего со мной и на том свете не сделают, потому что евреи, оказывается, Бога нашего распяли». До этого он евреев не любил за то, что его самого после «Дела врачей» из органов турнули и чуть не посадили, но ограничились строгачем без занесения и перевели на парработку.

Так вот, гуляет Иван Фомич с коляской во дворе. Подхожу я к нему и приветствую:

“Здорово, Фомич!”

“И тебе, Лукич, не хворать. Спаси тебя Христос.”

“Дело,— говорю,— у меня к тебе есть, Фомич.”

Он голубей продолжает кормить, взглядом в меня стрельнул и бурчит:

“Что за дело у тебя ко мне? Дела все на Лубянке в архиве остались.”

“Во-во,— отвечаю ему в тон,— дела там остались, а мы с тобой, Фомич, здесь оказались и знать ничего не знаем.”

“А о чем ты знать хочешь? — удивляется Фомич и добавляет,— меньше знаешь — больше живешь.”

“Дело-то оно пустяковое,— улыбаюсь я,— касается меня лично. В марте сорок первого ты, Фомич, по линии своей службы обо мне чего такого не слышал?”

“Вот ты о чем,— усмехнулся Иван Фомич,— меня самого давно подмывало спросить тебя, Лукич, как же ты таким хитроумным оказался, что кого-то другого вместо себя под расстрел подставил? Помню, помню. Приходит ко мне какой-то молодец и подает конвертик от Севы Меркулова. В таких конвертиках мне передавали предписание о расстреле. Гляжу, а в предписании твоя фамилия, но стоишь передо мной вовсе не ты. Мое-то дело маленькое, но подумал: «На особо секретное задание, наверное, Лукич уходит, раз такая катавасия». Вопросов мне никаких, сам понимаешь, задавать не положено. Принял я предписание, отправил молодца на тот свет, оформил, как положено, акт и дело с концом.

“А как его фамилия была?” — спрашиваю я.

“Откуда ж я знаю,— удивляется Иван Фомич,— я думал, ты знаешь. Ты же его вместо себя послал.”

“Не посылал я его,— честно признаюсь я,— меня тогда в коридоре товарищ Шпигельглаз остановил, конверт отобрал и тому передал, приказав срочно отнести к тебе. Он вроде совсем случайно мимо по коридору проходил.”

Тут Иван Фомич побледнел и руки у него задрожали так, что кулек, из которого он голубей кормил, выпал из рук на землю и рассыпался.

“Кого ты говоришь встретил тогда в коридоре? — хрипло переспросил меня бывший комендант,— Шпигельглаза? Сергея?”

“Его самого,— подтвердил я,— он в форме был с двумя ромбиками на петлицах. Я хорошо запомнил.”

Иван Фомич несколько раз перекрестился справа налево и слева направо и говорит:

“Как же ты, Лукич, мог его встретить, когда я его еще за год до этого на распыл пустил вот этой самой рукой!” — И показывает мне свой здоровенный кулак.

Я покосился на его кулачище и отвечаю:

“Ну, не знаю, кого ты на распыл пускал, а я его встретил в коридоре второго этажа. После чего мы вместе из управления вышли и он уехал на новом «Форде».”

“Куда уехал?” — спрашивает Фомич и вижу, что у него губы трясутся.

“Не знаю куда,— говорю я,— знаю только, что уехал на «Форде». А куда не знаю. Он мне не докладывал.”

“А т-ты ч-чего делал потом?” — интересуется Иван Фомич, заикаясь.

“Я чего делал? Домой пошел. В наше обще-

житие. Он мне так приказал: «Иди, Лукич, домой. С тобой свяжутся».

Гляжу — Иван Фомич одной рукой за сердце схватился, а другой пачку валидола из кармана тянет.

“Пойдем, Лукич, на скамейку,— говорит он,— что-то сердце мне прихватило от твоих воспоминаний.”

Он так разволновался, что чуть коляску с внучкой в садике не позабыл.

Сели мы на скамейку, закурил Иван Фомич и говорит:

“Вот это еще в 1938 году началось. Оприходовали мы тогда человек по пятьсот за смену. Спирта нам выдавали немеряно. А не было б спирта, то все бы в дурдом попали. Сильно пили, скажу я тебе. Вот тогда и началось. Шлепнем кого-нибудь, скажем, сегодня, а завтра глядим— он по подвалу бродит да еще разные слова антисоветские произносит, за слушание которых тоже можно было по тем временам высшую меру схлопотать. Стали мои ребята бояться своего боевого поста. Подходит как-то ко мне боец и говорит: «Иван Фомич, сходи посмотри — там товарищи Ягода и Дзержинский вместе по подвалу бродят и что-то говорят». А мне чего делать? Или у него уже белая горячка из-за спирта или умом тронулся при выполнении служебных обязанностей? Беру свой маузер, иду смотреть. Гляжу — в самом деле. Оба в шинелях, у товарища Ягоды на петлицах звезда генерального комиссара. Я тоже спиртом не брезговал. За рабочий день не менее двух литров выпивал,

чтобы не подохнуть. Ты знаешь, Лукич, как мы изматывались. Каждого шлепни, каждого погрузи на машину, на каждого акт напиши. И все конвейером, ни присесть, ни передохнуть. До сих пор радикулит мучает. Так что к середине дня я уже хорошо был под мухой.

Подхожу к ним и, как положено, рапортую: «Комендант управления. Кто разрешил без спецпропуска находится на объекте?». «Не уйдем,— оба говорят хором, пока Владимира Ильича не дождемся». «Товарищи! — говорю я им.— Не выдумывайте зря. Владимир Ильич скоро уже как пятнадцать лет в мавзолее лежит. Разминувшись вы видно с ним по случайности». «Нет, Ваня,— отвечает Феликс Эдмундович,— у нас не разминешься. Нет его у нас. Дурят вас, народ трудовой». И протягивает мне листочки, а на них что-то ленинской рукой написано. «Отнеси,— приказывает товарищ Ягода,— эти листочки самому товарищу Ежову».

Тут слышу кто-то сзади меня зовет: «Товарищ комендант! Иван Фомич! Дело срочное». Глаза открываю. Оказывается я в каком-то темном углу подвала к стене прислонился и заснул. А будил меня боец: «Еще сорок человек поступило! Нужно оформлять!». Смотрю, а в руке у меня листочки, которые товарищи Ягода и Дзержинский приказали передать товарищу Ежову. Я их, не читая, в конверт запечатал, вызываю помощника и приказываю отнести, как было велено, в приемную наркома. И командую: «За работу!».

Выпили мы еще по полкружки и приступили. В разгар действия звонок в дверь. В ту, желез-

ную, что в подвал вела, и крик караульного: «Смирно!». Вбегает в подвал сам товарищ Ежов с наганом в руке.

«Изменник! — кричит мне, — расстреляю! Сдать оружие! Где эти листки взял?».

«Вот они передали», — говорю я и показываю в дальний угол подвала. Он ринулся туда. Слышу хор: «Не уйдем пока Владимира Ильича не дождемся». И крик наркома: «Вон отсюда, негодяи! Ленин жил, Ленин жив, Ленин вечно будет жить!».

Что они ему ответили на это я не расслышал, но нарком вдруг издал страшный вопль, наган уронил и бегом из подвала, причитая: «Я говно, я говно!». Адьютант его у входа ждал (у него пропуска в подвал не было), хотел товарища Ежова перехватить. Да куда там! После рассказывали: прибежал он к себе в кабинет, на бумажке написал: «Я говно», прицепил к гимнастерке, сорвал золотые шнуры с кистями со знамени ВЧК-НКВД и на них повесился. И тут адъютант, как всегда, бежит снимать его, но звонок телефонный остановил. Адьютант взял трубку и слышит голос товарища Сталина: «Нэ снимать. Пусть повисит». Адьютанта этого тоже никто потом не видел...

“А листки, — спрашиваю я, — листки эти, которые ленинской рукой написаны. Они куда девались?”

“Я почему знаю, — отвечает Иван Фомич, — я вообще не сильно грамотный, подписывать бумаги с трудом научился. Так я на комиссии и показал.”

“На какой комиссии?” — поинтересовался я.

“Вскоре после этого случая комиссию образовали,— продолжает Иван Фомич,— вроде как бы аттестационная. Вызывают меня и говорят: «Тебе, Иван Фомич, партия оказывает великую честь. Тебе разрешено прочесть в нашем присутствии работу Ленина «Империализм и...»— дальше забыл. Слово больно мудреное. Словом, оказывают мне доверие прочесть работу Ленина в подлиннике вслух перед комиссией. И суют листки какие-то с ленинскими рукописями, взятыми ради меня из архива под расписку. «Это, говорят, новый способ поощрения особо достойных товарищей.» Я сразу про те листки вспомнил. Поблагодарил за доверие, но признал, что по-письменному читать не умею. Начал, было, ходить в вечернюю школу, но там всех учителей позабирали и школу закрыли. Так и не научился. И слава Богу, как говорится. Не знаю, что со мной было бы, если бы узнали, что я ленинский почерк могу разобрать. А так отпустили с миром и очередное звание присвоили. «Трудись, Фомич, на славу социализма.»

Фомич еще раз перекрестился левой рукой.

“Но на этом дело не кончилось,— продолжал отставной комендант,— эти безобразия во вверенном мне подвале продолжались. Немного позднее к нам пожаловал сам Лаврентий Павлович. Долго по подвалу бродил один. За ним идти запретил. Слышно было, как он восклицает: «Ай! Вах! Вах! Вах!». И что-то по-грузински кричит. Никто не понял. А потом совсем странный случай произошел. Сам Лаврентий Павлович привел

в подвал попа, который во внутренней тюрьме сидел по громкому делу с высшей мерой. Этот самый поп все углы в подвале окропил, после чего Лаврентий Павлович приказал его шлепнуть и лично в моей каптерке выписал предписание. И хочешь верь, Лукич, хочешь не верь, но с тех пор эти безобразия в подвале прекратились. Так вот в подвале прекратились, а по всему зданию начались. Расползлись они по управлению, как тараканы после мора. Так что, может, и в правду ты Шпигельглаза встретил в коридоре...”

Я хотел еще что-то спросить у Ивана Фомича, но тут спавшая в коляске внучка проснулась и стала вопить так, что у меня заложило уши.

“Мокрая небось? — победно заявил Фомич и быстрым голосом добавил,— извини, Лукич, я побежал, а то бабы меня на куски разорвут.”

И бегом с коляской скрылся в подъезде. А я остался сидеть на скамейке, пытаюсь привести в какую-то систему все услышанное от Ивана Фомича.

То, что Иван Фомич уже трижды лечился от белой горячки, знал весь дом, поэтому далеко не все из рассказанного им следовало понимать дословно. Многое могло просто присниться бывшему коменданту или почудиться.

Но, с другой стороны, Серегу Шпигельглаза видел в коридоре управления не Иван Фомич, а я сам. Более того, я с ним разговаривал, и мы вместе покинули НКВД. Все проверки, которые позднее мне удалось предпринять, безоговорочно показывали, что Сергей Шпигельглаз был расстре-

лян 18 февраля 1940 года и, по логике вещей, никак не мог мне повстречаться в марте 41 года.

Но он не только мне повстречался, но спас меня самого от расстрела. Не повстречай я его, то прямиком бы проследовал к Ивану Фомичу и вручил ему конверт о моем расстреле. Что, без всякого сомнения, тут же и привели бы в исполнение. Значит, призрак Шпигельглаза спас мне жизнь? А зачем? Мы с ним не были близкими друзьями и даже не работали вместе. В молодости, правда, в одно время пришли в ВЧК, но он работал в иностранном отделе, а я в спецгуглаге, никак друг с другом не соприкасаясь.

Но, возможно, его послал Ленин, которого под конец заела совесть за то, чем он отплатил мне за все хорошее? Значит, Ленин имел с этими духами прямую связь, а, может быть, и власть над ними. Вождь писал на меня доносы и передавал их через этих ребят на Лубянку.

Я никак не мог придумать для них точного названия или термина. Такие слова, как «призрак», «привидение» или «дух» я, конечно, знал, но нутром чувствовал, что эти слова не совсем пригодны в применении к этим конкретным существам. «Призраком» мог стать тот, кто когда-то был человеком. Но были ли они людьми — я сильно сомневался. Они приняли человеческий облик, но какими монстрами они были изначально, не знал никто. Только сверхсущества из времени и пространства могли с такой легкостью провести на подобной «чернухе» миллионы людей. А когда их час настал, они ушли, а простые люди, отказавшиеся от Бога во имя них,

пытавшиеся действовать их приемами, сразу все довели до ручки. И все развалилось. Дьявольский эксперимент может проводить только дьявол. Прежде всего потому, что только для дьявола не значат миллионы человеческих жизней ничего. Людям до таких высот никогда не подняться.

Кем же в данной ситуации был сам Ильич? Я был совершенно убежден, что, даже находясь в строжайшем заключении у меня в зоне, официально умерший в 1924 году, он снабжал своими идеями Кремль еще по меньшей мере шестнадцать лет, а, может быть, и больше. Потому что мне ничего неизвестно, куда он девался, когда мою зону расформировали в начале сорок первого года, а меня решили ликвидировать.

Так я размышлял, оставшись один на скамейке у дома Фомича. Ничего путного я так и не придумал, кроме осознания значения основного лозунга минувших десятилетий, оставшегося неизменным при всех колебаниях генерального курса партии: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!». Я никогда серьезно не вдумывался в этот лозунг, считая его одним из не очень умных приемов оболванивания простых людей.

Но сегодня, поразмыслив, я понял, что никто и не пытался скрыть страшной государственной тайны: факт, что Ленин жив! Он куда-то там пропал, передав полномочия товарищу Сталину, но он жив! Более того, он будет вечно живым, ибо он не простой смертный и не существует никакой возможности с ним разделаться известными

человеку средствами. И поэтому он будет вечно жить, постоянно искушая своих новых учеников достигнуть вечного счастья путем повсеместной электрификации, проводящейся параллельно с поголовным уничтожением.

— Так причем тут золотая юбилейная медаль? — спросил я, когда утомленный своим рассказом Василий Лукич откинулся в кресле, полуприкрыв глаза.

— Погоди,— вздохнул ветеран,— дойдем и до медали.

— После разговора с Иваном Фомичем,— продолжал Лукич,— я решил подобными размышлениями больше голову не засорять. И без того ясно, что столь мощная система, как НКВД, а позднее МГБ, обдурит любого из своих работников, независимо от занимаемой должности. У нас на таких хитростях было многое построено. Говорят, скажем, «последни за таким-то» — ты и стараешься вовсю, и невдомек тебе, что тот, за которым тебе приказано следить, получил приказ следить за тем, насколько ты старательно выполняешь полученный приказ. И оба вдохновенно стучат друг на друга, и оба при деле, и начальство довольно, поскольку оба при этом выполняют еще и текущую работу.

Вот так-то. И получается, что, кто кого охранял — я Ленина или Ленин меня, — вопрос в принципе философский. И я, и он в одной зоне просидели шестнадцать лет. И я, наверняка, больше нервов истрепал, чем вождь мирового пролетариата. Тем более, что он «вечно живой»,

а мне к тому времени уже стукнуло шестьдесят шесть лет. Сейчас-то об этом думая, понимаешь, насколько это мало, а тогда казалось очень много. Да и чувствовал я тогда себя довольно скверно.

Словом, живу дальше. Как и было обещано, приходит ко мне новая повестка с Лубянки. Я ее выбрасываю в сортир. Приходит еще одна — то же самое делаю. Правда, недоумеваю, что они мне повестки в почтовый ящик суют, а не вручают под расписку. А не расписался — значит, и не получал. Настроение, конечно, тревожное. Не зря они у меня про Ленина выпытывали. Что-то, значит, про все эти дела пронюхали, а меня, возможно, прощупывали, расколюсь я или нет. Но не на того напали. Я эти шутки хорошо знал.

Много было таких операций и событий, которые останутся секретными на веки вечные. Но выполняли-то их обычные люди, которых по тем или иным причинам не успели или не смогли во время ликвидировать. Вот при Андропове обо всех и вспомнили.

Вызывают старика на Лубянку и, к примеру, говорят: «Здравствуйте, Иван Иванович. Слышали мы, что в старые героические времена вы занимались тем-то и тем-то. Не могли бы вы нам рассказать поподробнее». А старый дурак и рад, что о нем вспомнили, и давай языком чесать, забыв, какую подписку он лет сорок назад давал. И находят его умершим от инфаркта. Или в парадняке кто-нибудь его по голове благословит в срочный отпуск. А умные,— кто службу нашу

давно сердцем понял, те ни на какую лесть не поддадутся. «Не помню ничего»,— и дело с концом. А еще лучше: «Никогда этим не занимался. Перепутали меня с кем-то, дорогие товарищи». Тем даже пенсию повышали.

Меня-то хитро пытались подловить, пригласив якобы для посмертной реабилитации. Но я был доволен, что все-таки не купился.

Проходит еще несколько дней. Столетие все ближе. По радио — Ленин, по телевизору — Ленин, в газетах — Ленин.

Выкопали каких-то стариков и старух, которые вроде видели Ленина, и заставили их чуть ли не круглосуточно вещать на радость двумстам миллионам развесивших уши. Публика мелкая — Ленина-то, если и видели, то только из толпы, да и то врут на три четверти.

Наконец, наступил сам день Столетия. Я уж и радио боюсь включать, а телевизор тем более. Газеты, не читая, выбросил в мусоропровод.

С утра взял авоську и пошел в булочную, что через дорогу. Купил сайку и пачку чая. Выхожу — вижу: большущая машина прямо против булочной стоит с открытыми дверцами и двое молодых людей в модных пиджаках и галстуках облокотились на машину и широко улыбаются. Мне улыбаются.

По улыбкам и глазам их стеклянным все было ясно. Можно было и удостоверений у них не спрашивать.

“Здравствуйте, Василий Лукич,— говорит один из них,— садитесь, подвезем.”

Я было уже собрался что-то ответить, глянь, а еще один у меня прямо за спиной объявился и брюхом меня подталкивает в сторону машины.

“Садитесь, папаша,— говорит,— не заставляйте меня нервничать.”

“Ах ты, сопляк,— отвечаю я ему, не оборачиваясь,— ты думаешь, я тебя сильно боюсь! Сайку жалко, а то бы перепахал ты у меня рожей весь асфальт.”

“Это да,— соглашается он,— я с вами согласен. Перепахать асфальт рожей — дело не хитрое и лихое, а сайку растопчем — грех большой, ибо треть населения планеты голодает.

Пока мы таким образом беседовали, я уже в машине оказался. На заднем сиденье между двумя сопляками. А третий за руль сел.

Поехали. Выехали на кольцевую и поехали куда-то в сторону Балашихи. Нырнули в какой-то тоннель, вынырнули и остановились у железных ворот, пробитых в глухом заборе из белого кирпича высотой метра три. Посигналили.

Створки разошлись, открыв другие ворота, метрах в пятнадцати от первых. На вторых воротах надпись: «Стой! Стреляют без предупреждения!»

Въехали. Первые ворота за нами закрылись.

“Василий Лукич,— обращается ко мне один из сопляков,— вы машину водить умеете?”

“А что?” — осторожно осведомляюсь я.

“Дело в том,— объясняет сопляк,— что у нас нет допуска через вторые ворота проезжать. Придется вам самому. Если водите машину, то проезжайте. Если нет — то пешком идите. Там недалеко.”

“Интересно,— говорю я,— у вас допуска нет, а у меня, выходит, есть?”

“Нам сказали, что у вас есть,— объясняют они мне,— сами убедитесь. Если не пристрелят, значит, допуск выписан. А если нет, то...”

В этот момент вторые ворота разошлись тоже, открывая натянутый между деревьями красный плакат с надписью: «Добро пожаловать на съезд!».

Тут сопляки сразу засуетились и повыскакивали из машины, скуля:

“Пересаживайтесь за руль, Василий Лукич. Не подводите нас под монастырь.”

Делать нечего. Сел я за руль и проезжаю ворота. Там аллея дубовая. Ворота за мной закрылись, еду по аллее. Никого не вижу. Ни тех, кто стрелять должен без предупреждения, ни тех, кто гостей съезда приветствовать обещал.

Два шлагбаума проехал. Шлагбаумы подняты, вокруг — никого. И тишина, как в склепе. Только мотор «Волги» урчит на малой скорости. Наконец, аллея кончается и открывается вид на трехэтажный особняк позднесталинской постройки. На греческом портике лепниной изображены «щит и меч». На одной половинке щита начертано ВЧК, а на второй — КГБ. Ну, а меч, он и в Африке меч... Но это, так сказать, дело привычное. Значит, привезли меня на какую-то «спецточку» КГБ. Я таких спецточек за службу повидал достаточно. Этим меня не удивишь.

Удивило другое. Слева от дома — большая вертолетная площадка, а на ней большущий вертолет с белой звездой на фюзеляже и

надписью: «US AIR FORCE». То есть — Военно-воздушные силы США. И три негра в комбинезонах, блестя белоснежными улыбками, вокруг крутятся. Это были первые живые существа, которых я увидел на этом «спецобъекте». Думал — мерещится. Глаза протер — нет, все на месте... А один из негров, у которого на спине было написано по-ихнему «офицер», улыбаясь подходит к машине, поднимает сжатый кулак вверх и кричит: «Рот фронт, товарищ!».

Я стекло в машине опустил и спрашиваю: «Ты откуда здесь взялся, чумазый?»

А он кулаком машет и повторяет: «Рот фронт! Ленин! Карашо. Вери велл...»

Понятно — русского языка не понимает. Жестами предлагает мне выйти из машины и показывает на вертолет. Выключил я мотор, иду к вертолету... Негры вокруг меня крутятся и щечечут: «Рашен! Карашо! Ленин! Квикли! Бистро ходить нада!».

Влез я в салон вертолета, негры люк закрыли. Тот, который офицер, погрозил мне пальцем и сказал: «Ноу смокинг!».

И полетели... Куда — не знаю. Но недалеко, потому что примерно через полчаса сели. Вокруг лес. Из пилотской кабины вылезает какой-то молодец в шлеме, показывает в иллюминатор: «Вот дорожка. Пойдете по ней. Шаг вправо, шаг влево — сами понимаете — огонь без предупреждения на поражение».

Я настолько удивлен был, что и не понял, по-русски это было сказано или нет. Впрочем, я в академии английский учил и кое-что понимал.

Негры трап вывалили, прокричали: «Рот фронт!» и выпихнули меня из вертолета.

Иду я по асфальтовой дорожке среди могучих елей и выхожу к небольшому каменному строению. Домишко одноэтажный, но добротный. Двери полуоткрыты, а над ними надпись: «Опытная сельскохозяйственная станция Академии наук СССР».

Только я подошел к крылечку, как вдруг оттуда выбегает низкорослый полный мужчина и плачущим голосом причитает:

“Ну, Василий Лукич! Ну что же вы опаздываете? Разве можно так долго? Все уже заждались!”

Хватает меня за руку и тянет внутрь. Успел я заметить, что в прихожей сложен разный сельхозинвентарь: грабли, лопаты, вилы, мотыги и косы. В коридоре пол из досок. На дверях таблички типа: «Старший агроном», «Отдел семян», «Сектор удобрений». На стене газета «Наши достижения».

Подводит он меня к двери с надписью: «Кладовая органических удобрений». Дверь в кладовую была закрыта на маленький висячий замок. Даже не закрыта, поскольку замок был открыт и просто висел дужкой на петельке. Товарищ в халате снял замочек, и мы вошли в кладовую, заставленную картонными коробками разных габаритов, бумажными мешками и бочками.

У противоположной от входа стены стоял большой железный шкаф, украшенный черепом и костями с надписью: «Опасно для жизни!» Чуть ниже висела табличка «Ядохимикаты. Не вскрывать

без респиратора. Ответственный тов. Митрофанов».

На полированных стальных дверцах шкафа с ядохимикатами переливался никелированными кнопками наборный замок. Человек в халате, не произнеся ни слова, стал нажимать кнопки наборного замка и, прежде чем я успел опомниться и спросить респиратор, дверцы шкафа разъехались в стороны, открыв вход в довольно обширное помещение, куда незнакомец буквально втащил меня за руку.

Дверцы шкафа с ядохимикатами бесшумно закрылись за нами, и зажегся яркий свет скрытых в потолке ламп. Сопровождавший меня наклонился к одной из стенок и пробормотал что-то вроде: «Третий уровень», и тогда я понял, что мы в лифте... Я вспомнил, что домишко одноэтажный — значит, лифт может идти только вниз, если не собирается, как в популярном мультфильме, лететь в тридевятое царство.

Впрочем, я находился в таком состоянии, что мысль у меня работала не совсем четко и правильно оценить обстановку я не мог.

Похищение у булочной, поездка по каким-то странным дорогам, таинственная «спецточка» КГБ, где дежурил американский вертолет и, наконец, шкаф с ядохимикатами, оказавшийся лифтом,— все это никак не настраивало на хладнокровное осмысление происходящего.

В этот момент стальные двери шкафа для хранения ядов снова разошлись и еще более яркий свет ударил мне в глаза. Это был свет нескольких хрустальных люстр, освещавших зал, которому

мог бы позавидовать и Георгиевский зал в Кремле. В зале был накрыт огромный стол, ломящийся от обилия сказочных яств. Вокруг стола в белоснежных ливреях суетились стройные негры с подносами. А на стене висел огромный транспарант: «ЛЕНИН ЖИЛ, ЛЕНИН ЖИВ, ЛЕНИН ВЕЧНО БУДЕТ ЖИТЬ!» и под ним стоял бюст вождя из красного камня.

Я облегченно вздохнул, решив, что всего на всего приглашен на какой-то закрытый банкет по случаю ленинского юбилея, но здорово ошибся, поскольку товарищ в белом халате протащил меня за руку мимо столов с яствами, суетящихся негров, потом втолкнул в небольшую дверь с надписью «Выход на сцену. Левая сторона».

Он закрыл за мной дверь и исчез, а я оказался в полутьме кулис. С моего места можно было видеть какой-то президиум, над которым возвышалась огромная цифра сто на фоне красной лавровой ветви и столь же красного профиля вождя.

Выступавшего с трибуны я мог видеть только со спины, но его голос заставил меня вздрогнуть и попятиться. Я хотел убежать обратно в банкетный зал, но дверь, в которую меня только что втолкнули, оказалась запертой. Вернее — я вообще никакой двери не обнаружил.

Мне стало страшно, как никогда в жизни. И вообще, я не знаю, что произошло бы со мной, если бы мне в ухо не засвистел чей-то пронзительный шепот:

“Проходите на сцену и садитесь в президиум. Там для вас оставлено место с краю. Здесь стоять не положено. Не оглядывайтесь!”.

Но я все-таки оглянулся и, хотя никого за своей спиной не обнаружил, все-таки неровным шагом направился к выходу на сцену, внутренне треща от голоса, вещавшего с трибуны.

“Нет, нет, нет и еще хаз нет, товагищи! — обращался выступавший к залу, отчаянно при этом жестикулируя.— Вопгос на данном этапе заключается не в том, как гхабить нагхабленное, а в том, как сохганить и пхеумножить то, чем наша пагтия владеет на совегшенно законном основании! А как вам известно, некотогые холуи, пегевехтыши и хенегаты, не говогя уже о политических пгоститутках, пытаются поставить под сомнение саму законность существования нашей пагтии как таковой! Как вам все это нгавится, товагищи?”

В зале раздался гул, говорящий о том, что всем присутствующим подобная постановка вопроса совершенно не нравится. Я посмотрел в президиум. Там, положив голову на руки, сидел сам Андропов, а справа от него — генералы армии Цвигун и Чебриков. Слева одно место было свободным, затем сидел доктор Чазов — начальник Четвертого Управления Минздрава и какой-то тип с холеным, явно нерусским лицом. Именно этот тип взглянул на меня, когда я вышел из-за кулис, и жестом показал мне на свободное место рядом с собой.

Взглянул я в зал — мать честная! В первом ряду сидят одни «мокрушники». Все в генеральских мундирах и, как елки, сверкают орденами. Убийцам орденов, видно, не жалели. Даже на несчастного Михоэлса, которого в Минске убирала

целая бригада,— а его ладошкой можно было прихлопнуть, не постеснялись выделить два ордена Боевого Красного Знамени, три ордена Отечественной войны Первой степени и три ордена Красной Звезды! Представляешь, Отечественной войны Первой степени, Боевого Красного знамени! За что? За то, что двадцать рыл задавили «студебеккером» маленького несчастного еврейчика на собственной территории!

А уж можешь себе представить, какие награды сыпались «мокрушникам», когда они заваливали кого покрупнее, да еще за бугром! Тут уж полководческие ордена сыпались: Кутузова, Суворова, Александра Невского и Богдана Хмельницкого. А ордена эти сверкают бриллиантами, как звезды на камзолах вельмож.

Сидят они один к одному — всех хорошо знаю: Судоплатов, Огольцов, Эйтингон, Лебедев, Шубняков, Косырев и, конечно, мой друг сердечный Женечка Питовранов.

С ним вообще смешная история вышла. Он бить подследственных не любил. Все говорил, что надо переходить на цивилизованные методы допроса: током пытать, кислотами разными, а не разводить средневековье с палками и кулаками. Даже предлагал паяльники каждому следователю выдать или хотя бы электроутюги, коль нет специального оборудования. Даром в тридцать лет уже генерал-майора получил.

Пришел к нам на Лубянку и стал свою идею о «цивилизованных» допросах в жизнь проводить. Нашел в хозчасти какую-то машинку «для убыстрения следственного процесса», которую

нам немцы еще до войны подарили в знак дружбы. Сдул с нее пыль и решил применить на первом же допросе. Да перепутал какие-то клеммы или провода и устроил во всей Лубянке короткое замыкание. Дошло до самого Сталина. Отношение Питовранова к этой диверсии было самое прямое. Он и приказал его посадить. Я об этом знаю, так как сам допрашивал по делу.

“Лукич,— просил он меня,— помоги, доложи товарищу Сталину, что у меня план мощнейший есть. Если его в жизнь воплотить...”

“То вся Москва без света останется,— спрашиваю я,— или весь план ГОЭЛРО пустишь на коротыш?”

“Нет,— почти плакал он,— не об этом речь. У меня есть план, как с евреями бороться. Тут даже можно вообще без электричества обойтись. Я, например, больше даже к настольной лампе на своем столе прикасаться не буду. Так и передай, Лукич, товарищу Сталину — нашему отцу и учителю.”

Мое дело маленькое — я передал, а что потом было — хорошо известно. И полугода Сталин не прожил, как план Женечки Питовранова стали в жизнь проводить.

А рядом с Питоврановым — кто бы ты думал? Сам сосед мой — Иван Фомич восседает. Но более всего меня удивило не то, что Иван Фомич здесь находится, а то, что он — генерал-лейтенант. Вот никогда бы не подумал. Как он им стал? Должность-то вроде полковничья. Может, он не только комендантом был? Одни сюрпризы!

Но главное — все знакомые. Посторонних нет даже в президиуме, поскольку ведь и доктор Чазов имел чин генерала КГБ. Вот только мой сосед справа меня немного смутил, но он был еще молодым, и я мог его просто никогда не видеть.

Кроме партера в зале имелся еще и балкон, на котором сидели какие-то типы в масках. А на балюстраде был натянут еще один плакат: «Привет участникам 1-го съезда радикальных революционеров!».

Пока я пытался сообразить, куда я собственно попал — на собрание по случаю ленинского юбилея или на первый съезд радикальных революционеров — выступающий с трибуны продолжал свою речь.

“Товагищи! — кричал он, — я обогащаюсь сейчас к вам не как глава нашей пагтии и ее основатель, а как гхаждаин Соединенных Штатов Амегики. В качестве такового я хочу вас увежить, товагищи, что в стхане с газвитой и контхолихуемой банковской системой гохаздо надежнее хганить деньги, чем в стганах, котохые пхинято называть тоталитагными.

Вот вы, товагищ, — обратился он к кому-то в зале, — как вы хганите свои деньги? Совершенно вегно — замурованными в подвале загогодной дачи. А зачем, позвольте вас спхосить? Потому что боитесь их тгатить. Или вам их тгатить не на что, поскольку вы живете на госудагственном обеспечении. Это архиважно понять, товагищи, что живя таким образом, вы обкрадываете себя и нашу пагтию. А потому нашей главной целью на

данном этапе является перевод всех денег из «кубышек», где они сейчас находятся, на счета ведущих западных банков, список котогых имеется у товагища Андропова. Это приумножит капитал и отобьет желание у некоторых ретивых пгавдолюбцев, страдающих пгавым оплотунизмом, бегать и искать эти деньги, как-будто они фининспекторы, а мы с вами нэпманы!

Гром аплодисментов заглушил последние слова выступавшего.

В этот момент сидевший рядом со мной незнакомец наклонился ко мне и спросил:

“Как здоровье, Василий Лукич?”

“Вы меня знаете?” — вместо ответа поинтересовался я, несколько приходя в себя.

“Я много слышал о вас от своего клиента,— пояснил он, кивая головой в сторону выступающего.— Собственно, по требованию моего клиента вы здесь и находитесь. Вас не предполагали сюда приглашать, поскольку этот клуб предназначен только для генералов известного вам ведомства. А вы таковым, к сожалению, не являетесь.”

“Вот как? — изумился я,— а вон та шантрапа в масках, что сидит на балконах,— это тоже генералы?”

“Это даже больше, чем генералы,— зашептал мне прямо в ухо незнакомец, — это маршалы. Есть даже несколько генералиссимусов. Мой клиент не возражал против их присутствия, хотя у них статус гостей.”

“Вы говорите «мой клиент»,— зашептал я в ответ,— но если я не ошибаюсь, это же сам...”

“Тс-с-с,— прервал меня незнакомец,— здесь запрещено произносить какие-либо фамилии! Иначе вы можете поставить всех в глупое положение. А кому нужны скандалы в день собственного рождения?”

“Тем более в юбилей, — согласился я, — а у меня здесь тоже со статус гостя съезда?”

“Нет, нет,— быстро зашептал он,— вы вызваны по настоянию моего клиента в качестве свидетеля. Дело в том, что местное руководство при определении того, что мы, адвокаты называем долей конечного продукта, пришло к результату, с которым мой клиент не совсем согласен. Он надеется, что ваши свидетельские показания помогут выяснить это мелкое недоразумение. Кроме того, ему стало известно, что вас хотели изолировать. Он очень возмущался, поскольку все это подтверждало самые худшие опасения моего клиента, что, изолируя одного из ключевых свидетелей, они попытаются сохранить статус-кво, несмотря на очевидную абсурдность. Поэтому, воспользовавшись юбилеем, мой клиент принял решение во всем разобраться лично с посильной помощью таких людей, как вы, уважаемый Василий Лукич. Понимаете мысль?”

Я кивнул головой, хотя ровным счетом не понял ни единого слова из того, что мне пытался рассказать адвокат. Я просто хотел, чтобы он от меня отвяжлся, так как мне очень хотелось послушать его клиента.

Рукоплескания в зале тем временем перешли в овацию. Все встали и что-то громко скандировали. Что именно — я не мог разобрать, потому

что сидевшие в первых десяти рядах «мокрушники» вскочили и завопили «Ура!».

В этот момент Женечка Питовранов увидел меня в президиуме, поперхнулся и закашлялся. Видимо, вспомнил, как в октябре 1951 года я также незаметно появился в президиуме расширенного партсобрания Министерства госбезопасности и увел его оттуда в камеру внутренней тюрьмы по приказу самого товарища Сталина.

По вполне понятным причинам он решил, что и мое нынешнее появление в президиуме связано с тем же. Вижу, толкает он локтем Судоплатова и показывает глазами на меня. А Судоплатову еще хуже пришлось. Он после смерти вождя всех народов попал под горячую руку жены товарища Молотова и получил пятнадцать лет срока, который отсидел фактически от звонка до звонка. Посмотрел он в мою сторону, узнал и за сердце схватился, а по первым рядам пошло: «Лукич в президиуме! Лукич в президиуме! Западня! Нас снова предали!».

Откуда обо мне такая мрачная слава пошла — не понимаю. Половина из них меня вообще знать не знала. Но всех объял какой-то ужас. «Лукич,— бледнея от ужаса, передавали они друг другу,— в президиуме Лукич!» Среди «мокрушников» началась паника... Они уже не слушали доклад, а помертвевшими от страха губами не шептали, а почти кричали: «Лукич! Лукич! Лукич!». Некоторые, сорвавшись с мест, бросились к выходу.

Выступающий как раз перешел к очень интересной теме о том, что «диктатура пролетариата»

является не самоцелью, а средством первоначального накопления капитала, необходимого для научно-технической революции в мировом масштабе. А революция в мировом масштабе никогда бы не была возможной без социалистической революции в одной, отдельно взятой, стране. Заметив смятение в зале, он, как всегда, мгновенно оценил обстановку и принял единственно правильное решение — отмежеваться.

“Спокойствие, товагищи! — обратился он к паникующим «мокрушникам», — я не знаю, кто пригласил сюда Василия Лукича, но заверяю вас, что он не имеет никаких полномочий!”

“Он никогда не имел полномочий!” — завизжал в ответ Питовранов, пытавшийся перелезть через застрявшего между кресел Судоплатова.

“Он никогда не имел полномочий, а меня только пытал!” — надрывался Женечка.

Услышав этот крик Питовранова, галерка разразилась аплодисментами и заскандировала: «Лукич! Лукич!».

“Я вижу, — снова наклонился ко мне адвокат, — что вы тоже гусь что надо, хоть и не генерал. Вас все, оказывается, знают и, как я вижу, далеко не с лучшей стороны. Чего это они так переполошились?”

“Все приказы я от Лукича получал! — вопил застрявший в проходе Судоплатов, — я пятнадцать лет в зоне отбухал, а он в президиуме сидит!”

“Лукич! Лукич! — вопили с балкона маршалы и генералиссимусы в масках, — Вива ле коменданто Лукич!”

“Товарищи! — вскочил в президиуме Андропов,— мы собрались тут вовсе не для чествования Василия Лукича, а в честь столетнего юбилея со дня рождения Владимира Ильича Ленина! Я прошу тишины или прикажу очистить зал. Товарищ Питовранов! Успокойтесь, сядьте на свое место. Товарищ Судоплатов! Помогите ему кто-нибудь, сводите в туалет. Товарищи на балконе, прекратите истерику! Что вы орете «Лукич!». Вы хоть знаете, что такое «Лукич»? Нельзя же так себя вести!”

“Он меня током пытал!” — снова завопил Женечка Питовранов, так и не сумев перелезть через Судоплатова.

Адвокат смотрел на меня с неподдельным интересом.

“Лукич! Лукич! — бесновались маршалы на балконе,— Вива, Лукич! Лукич — да, янки — нет!”

Мне стало неудобно.

“Не пытал я током никого,— сознался я адвокату,— и Судоплатову никаких приказов не отдавал. Клевещут от страха.”

“Знаем, знаем,— тонко улыбнулся адвокат,— мой клиент под присягой дал показания...”

Тут уж я не выдержал, вскочил да как заору. А голос у меня командный, и в зале еще какая-то особая акустика. Так получилось у меня — прямо глас Божий!

“Женя! — ору я Питовранову, как же я мог тебя током пытать, когда вся Лубянка по твоей вине была обесточена? Ты забыл, за что тебя, мудака, посадили тогда? Когда мы все по твоей вине сидели с керосиновыми лампами и свечками?”

Я тебе мог только в задницу горящую свечу засунуть!”

Адвокат схватил меня за рукав и стал тянуть обратно на стул, шепча:

“Не опровергайте, Василий Лукич! Не разочаровывайте балкон. На балконе сидит будущее мирового рабочего движения.”

Я опустил на стул и сказал адвокату:

“Пусть учатся работать без электричества. А то наделают дел похлеще Питовранова.”

Как ни странно, но после моего краткого, хотя, возможно, и излишне эмоционального выступления с места, в зале наступила тишина, нарушаемая лишь всхлипываниями Судоплатова, на котором сидел тяжело дышавший Питовранов. Кому-то удалось смыться из зала, поскольку вдруг образовалось много свободных мест.

“Вы испугались Лукича, товагищи? — задал утихшей аудитории вопрос выступавший.— Нет, товагищи! Вы испугались не Лукича. Уж кто-кто, а я знаю, что Лукича не надо бояться! Вы испугались не Лукича, а перспективы вытащить, извините, из «кубышек» хранимые там ценности, включая золотые коронки и пхотезы, вырванные из подследственных прямо на допхосе, сдать их в банк и начать цивилизованный обхаз жизни. Ведь так, товагищи?”

“Он меня лампой керосиновой жег,”— прошептал Питовранов, теряя сознание.

“Сегодня уже рано,— подвел итог выступающий,— или уже поздно, что одно и то же.”

Захватив листки с конспектом своего выступления, оратор направился на свое место в президиуме.

Только тогда я заметил, что на нем форма бригадного генерала армии США времен Второй мировой войны со знаками различия капеллана.

Я пытался подсчитать, когда же он успел дослужиться до бригадного, но сбился и только подумал, что действительно здесь все генералы кроме меня и, наверное, адвоката.

“Вы тоже генерал?” — поинтересовался я у него.

Со смесью величавости и снисходительности он кивнул головой:

“Разумеется. Я генерал-майор израильской армии и представляю ее финансовую службу, которая курирует денежные дела моего клиента. Мы вмешиваемся только тогда, когда возникают недоразумения в международном масштабе.”

Тут встает Андропов и объявляет: «Товарищи! Торжественную часть, посвященную столетию со дня рождения товарища Ленина, объявляю закрытой. Прошу всех проследовать в банкетный зал. Юбилейные медали лежат рядом со столовыми приборами. Прошу каждого взять только одну медаль. Товарищам, которые по известным причинам не смогли приехать на съезд, медали будут выданы позднее».

Открылись замаскированные тяжелыми портьерами двери, и все с шумом стали покидать зал. Кто-то замешкался, но последовало объявление по трансляции: «Просьба всем покинуть зал. побыстрее, товарищи. В зале будет проходить закрытое заседание президиума!»

Какие-то молодцы в буденовках вытащили за руки и за ноги тех, кем овладела паника во время

клеветнической истерии, направленной против меня. Я, было, тоже хотел смыться в банкетный зал, так как, откровенно говоря, успел здорово проголодаться, но адвокат попросил меня задержаться еще на несколько минут.

Тут я вспомнил о сайке, которую купил утром в булочной, и понял, что она пропала вместе с авоськой. Жаловаться было некому. Скорее всего, я сам ее оставил в машине, когда пересеживался из чекистской «Волги» в американский вертолет.

Между тем Андропов, Цвигун и Чебриков окружили главного докладчика и стали что-то возбужденно ему доказывать, на что тот, заложив обе руки за спину, отвечал: «Вздор! Вздор! Все вздор!».

«Извините,— сказал мне адвокат,— посидите пока здесь. Я должен участвовать в беседе, поскольку мой клиент не всегда отвечает за свои слова, а тем более — поступки. В этом, собственно, вся суть вопроса. Еще в старые времена группа ведущих швейцарских психиатров сделала официальное заключение о его полной невменяемости. Вам хорошо известно, к чему это привело. Однако почему-то никто не принял во внимание огромное состояние моего клиента и не учредил опеку над собственностью, ограничившись только его изоляцией. Только Соединенные Штаты через посредство нескольких ведущих банков догадались сделать это во время. И в настоящее время, то есть, я хотел сказать — буквально до настоящего времени, Москва пытается оспорить юридическую безукоризнен-

ность учрежденной опеки, основываясь опять же на полной невменяемости моего клиента. Но это нонсенс.

Адвокат посмотрел на Андропова, и генералов, окруживших его клиента, и торопливо проговорил: «Простите. Кажется, мне пора. Оставайтесь на своем месте!».

Схватив папку с какими-то бумагами, адвокат поспешил на выручку. Он это сделал вовремя, поскольку обстановка на «закрытом совещании президиума» явно накалялась. Оттопыренные уши Андропова были красными, как вареные раки. Цвигун и Чебриков размахивали руками и брызгали слюной, а клиент моего знакомого адвоката, который был почти на голову ниже их всех, стоял невозмутимо, заложив большие пальцы рук за ремни португалии своего американского мундира. В тот момент, когда к ним присоединился адвокат, я стал прислушиваться к обрывкам долетавших до меня фраз:

“Все это вздор! Откуда взялись эти пять процентов?”

“Не пять процентов, извините, а семь!”

“Хорошо. Семь процентов. Откуда они взялись, я вас спрашиваю?”

“Но сами взгляните на документы!”

“Вздор! И не суйте мне эти бумажки. В них вздор и инсинуации!”

“Успокойтесь! Что значит, вздор? Посмотрите и убедитесь!”

“Не желаю смотреть! Это чистой воды мошенничество, батенька!”

“Мошенничество? А валенки?”

“Какие еще валенки?”

“Как какие? Вот — восемь пар. Из расчета одна пара на два года!”

“Не было никаких валенок!”

“Как вы можете такое утверждать, когда есть живой свидетель?”

И тут все стали показывать пальцами на меня.

В этот момент клиент левой рукой вlepил генералу Чебрикову по физиономии и заорал: «Расстреляю!».

Правой рукой он хотел сделать то же самое с Цвигуном, но тот вовремя отпрыгнул.

“Господа, господа! — заверещал адвокат, — напоминаю вам, что мой клиент не несет никакой юридической ответственности за свои поступки. Кроме того, он гражданин США, и все это может привести к прискорбным последствиям...”.

Генерал Чебриков, держась за щеку, подошел ко мне и спросил:

“Василий Лукич, вы выписывали валенки на зону со складов Осоавиахима или получили их из фондов стахановского движения?”

“Никак нет, — ответил я, — мы получали унты со складов полярной авиации.”

“Вот видите, — завопил клиент, — что я вам говорил? Вот вам ваш живой свидетель! Что вы теперь скажете? Какие валенки вы еще на меня повесите?”

“Господа, объявил адвокат, на лицо чудовищное нарушение союзного договора. Я хочу официально предупредить вас от имени страны, осуществляющей опеку, что мой клиент в качестве владельца контрольного пакета акций име-

ет вполне законное право расторгнуть Договор от 30 декабря 1922 года, объявив его юридически ничтожным...”

“Разгоню всех к чертовой матери! — пообещал клиент, — если еще раз смухлюете или в срок не перечислите.”

Тут Андропов побагровел так, что мне показалось — сейчас его хватит удар. Лицо его исказилось и он начал орать на Цвигуна и Чебрикова:

“Я говорил вам, что этим кончится! Почему не расстреляли, когда был приказ? Почему врали в донесениях, что приказ выполнен? Видите, что теперь получается? Где нам взять деньги? Я вопрос о вас поставлю на Политбюро!”

Чебриков молчал, держась за щеку, а Цвигун плаксивым голосом начал было оправдываться:

“Мы-то тут причем, Юрий Владимирович, если в личном деле были все документы о приведении в исполнение? Разве с нас за это спрашивать? С Ежова надо спрашивать.”

“С Ежова? — забрызгал слюной Андропов, — Ежов давно расстрелян, к вашему сведению.”

“Тогда с Меркулова, — не сдавался Цвигун, — ему было приказано!”

“Меркулов тоже расстрелян, — проорал Андропов, — и Абакумов расстрелян и товарищ Берия расстрелян. А этот жив!”

“Я вечно буду жить, — ответил клиент, — или вам это неизвестно?”

“Не о вас речь, — раздраженно ответил Андропов, — а о нем.”

И указал на меня. Я молча следил за перебранкой.

“А в чем дело?” — любопытствовал клиент.

“А разве не он настучал?” — спросил я.

“Выбирайте выражения, любезный! Что значит настучал? Настучать должны были вы! Вам пахтия доверила ответственный пост. Для чего я вас спгашиваю? Чтобы кто-то стучал за вас? Или чтобы вы сами стучали, извините за откровенность? Кто мне должен был представить баланс? Он или вы? Я к вам обгащаюсь, товагищ. Или вам что-нибудь непонятно?”

“Так денег же нет,” — выдавил из себя пунцовокрасный Андропов.

“Это меня не касается,— продолжал клиент,— это ваши проблемы. Что значит нет денег. А куда они, разрешите узнать, девались? А? А вы пошарьте по подвалам дач перерожденцев и, уверяю вас, мигом наберете требуемую сумму. А если не наберете, я договор двадцать второго года аннулирую, и живите как хотите! Вы вообще Маркса читали? Только не говорите, что читали. Если бы читали, то знали, как у Маркса сказано: «Взять все!». Именно так: брат, брат, брат!”

“Но Леонид Ильич считает,”...— начал было объяснять Андропов.

“Господин Брежнев,— напомнил адвокат,— не имеет права финансовой подписи. А поэтому ссылки на него неуместными.”

“И вообще мне на него наплевать,— разошелся клиент.— С него взятки гладки. Он за всю жизнь не подписывал финансовых документов, а только расписывался в ведомостях на зарплату

и брал взятки. Весь спрос с вас! Даю вам двадцать пять лет, нет двадцать лет. Не погасите вексель — распускаю Союз!”

“Чтобы погасить вексель,— уныло сказал Андропов,— мне нужно стать генеральным секретарем.”

“Ради Бога,— пожал плечами клиент,— разве я против. Хотите стать генеральным секретарем, пожалуйста, хотите — предсовнаркома, пожалуйста, хотите митрополитом...”

“Мой клиент имеет в виду,— встрял адвокат,— что он не будет возражать и против изменения политического режима на вверенной вам территории. Только не нарушайте платежные обязательства.”

“Но никакой контрреволюции, вредительства и саботажа! — взвизгнул клиент,— за это расстрел на месте!”

Он ткнул пальцем в Андропова:

“Тебя первым расстреляю!”

Андропов побледнел.

“Тебя вторым!” — он ткнул пальцем в отшатнувшегося Цвигуна и повернулся к Чебрикову. Тот закрылся руками.

“Не обижайся, геноссе! — ласково сказал клиент,— не всегда удается сдержать пролетарскую ненависть.”

Андропов, продолжая бледнеть, вдруг сунул руку в задний карман брюк и с криком: «Задавитесь!» вынул оттуда пачку сто долларовых банкнот и протянул их клиенту.

“Хорошо,— сказал клиент, принимая пачку,— тебя вторым. Первым его.”

И указал на Цвигуна.

“Мой клиент хотел сказать,— вмешался адвокат,— что подобное развитие событий возможно, если вы будете продолжать так грубо попиравать имущественные права моего клиента. Возможно, он выражается излишне резко, но вы не будете отрицать полное право моего клиента сменить нерадивых управляющих принадлежащей ему собственности. Если и это не поможет, то Договор от 30 декабря 1922 года становится, извините за прямоту, просто смешным. Не правда ли?”

Все трое, к кому был обращен этот вопрос, уныло помалкивали. Глаза их потеряли азартный блеск. Было очевидно, что им совершенно нечем крыть.

“Двадцать лет,— прошептал Андропов,— всего двадцать лет...”

“Вы считаете, что это мало — двадцать лет,— полюбопытствовал адвокат, — я согласен, что это немного, особенно, если учесть, что в распоряжении моего клиента вечность. Но, поскольку вы не можете оперировать такими категориями, как вечность, то предоставленный вам двадцатилетний срок для покрытия кредита выглядит вполне внушительно. Я бы даже сказал, что это срок наибольшего благоприятствования, принятый в цивилизованном мире.”

При слове «срок» клиент пришел в некоторое добродушное оживление. Он потрепал Андропова по щеке и радостно проговорил:

“Двадцать лет с пгавом переписки, а потом высшая мера — хазве не пгекрасный пример

гхеволуционной целесообхазности? Почитайте комментарии к пятидесятому тому полного собрания моих сочинений и вам станет намного легче. Там ясно указано, что вы не можете существовать в условиях капиталистического окужения. Вам было дано достаточно вгемени, чтобы это осознать. Сейчас вгемя заканчивается. Вы помните лозунг: «Или победим мы, или — они. Тгетьего не дано». Мы не победили. Делайте выводы.”

“Я читал 50-й том, признался Андропов,— там в комментариях приводятся слова товарища Троцкого: “Путь на Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии...”

“Что вы говохите? — изумился клиент,— он так писал? Какая умница Лев Давидович! Попробуйте. Возможно, это единственный выход.”

“Нужно подготовиться,”— пробормотал Андропов.

“Двадцать лет у вас еще есть,— клиент похлопал Андропова по плечу,— готовьтесь.”

“Я хотел бы вам напомнить, — обратился адвокат к своему клиенту,— что наше время на исходе. От имени своего клиента, господа, я хочу поблагодарить вас за прекрасный прием и сотрудничество. К сожалению, у моего клиента еще много дел.

“Да, да, да,— встрепенулся клиент,— поспешим. Агхиважно успеть повсюду и габотать, габотать и габотать!”

Оба они шмыгнули за кулисы, как пара котов мышиноного цвета, и исчезли.

“Пошли на банкет,— вздохнул Андропов,— я думал, что хоть в юбилей он расслабится. Ни одной копейки не списал.”

Шеф КГБ вытер пот со лба и, сопровождаемый Цвигуном и Чебриковым, двинулся из конференц-зала в банкетный.

Я, было, тоже двинулся за ними, поскольку страшно проголодался. С утра я даже не позавтракал, поскольку был схвачен в тот момент, когда покупал сайку и чай в булочной.

Я подошел к двери, которая оказалась закрытой. Но в ней был глазок, как в тюремной камере. Я постучал.

“Что вы хотите?” — услышал я через закрытую дверь приятный женский голосок.

“Я хочу пройти в банкетный зал,” — пояснил я.

“Не положено,” — ответил голос.

“Почему не положено? — возмутился я — Если я не генерал, то не положено?”

“Свидетелям не положено, — терпеливо разъяснил женский голос, — разве вы не знаете, что свидетелям не положено находиться в зале во время закрытого слушания? Вас допросили?”

“Да, — растерянно ответил я, — вроде допросили.”

“Тогда идите домой, — посоветовал женский голос, — или вы хотите дать дополнительные показания?”

“Нет, — сказал я, — показаний я давать не хочу. Я есть хочу. Где у вас можно перекусить?”

“Не говорите глупостей, гражданин, — в ее мелодичном голосе зазвучало раздражение, — у нас же не столовая и не ресторан. Идите домой,

пока мы вас не привлекли за хулиганство и неуважение к трибуналу.

“Но я не знаю, как мне выйти отсюда?— почти взмолился я, но глазок захлопнулся, и я снова очутился перед наглухо закрытой дверью.

Я вернулся на сцену и прошел в правые кулисы. Дверь была открыта, и я попал в небольшое помещение, где за простым канцелярским столом сидел мужчина средних лет в нарукавниках.

“Вы еще тут? — удивился он,— я уже хотел отпустить машину.”

Мы пошли по длинному коридору. Я все время ожидал, когда меня запихают в тот самый хитрый лифт, поднимут на сельхозстанцию Академии наук и посадят в американский вертолет.

Но ничего подобного не произошло.

Мы вышли на широкую мраморную лестницу, спускающуюся вниз двумя маршами. Внизу был обширный холл, украшенный портретами членов и кандидатов в члены Политбюро. На стене золотыми буквами выложено: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин вечно будет жить!» Эта надпись такими же золотыми буквами была дублирована на языках всех народов СССР. Мне бросилась в глаза узбекская вариация лозунга: «Ленин тыш, Ленин кыш, Ленин тохтамыш!».

“Что это за здание?” — спросил я своего провожатого.

Тот одарил меня весьма странным взглядом:

“Дворец пионеров. Вы же были приглашены на встречу актива пионерской организации столицы с ветеранами нашей партии в честь столетнего юбилея Владимира Ильича Ленина. Мне

самому очень понравился ваш рассказ о том, что у Ильича не было денег, чтобы купить валенки и вам пришлось их доставать на складе ВЧК. Только вы задержались. Все уже разъехались.”

“Я заблудился,”— честно признался я.

Он сочувственно покачал головой: «Годы, годы... Я понимаю».

И деликатно замолчал.

“Простите, поинтересовался я,— а здесь нет еще какого-нибудь входа? Скажем, черного хода...”

“Это и есть черный ход,— пояснил он.— Парадный уже закрыт.”

Между тем, мы вышли на улицу, вернее, на площадь, где каменный Ильич в священном порыве протягивал нам руку с зажатой в ней кепкой.

Мой проводник подошел к стоявшему одиноко старенькому «Москвичу» и сказал шоферу: “Подвези ветерана до Электrozаводской. К семи утра будь на месте.”

“Завтра у меня отгул,— ответил тот,— Леша за меня поработает.”

Я не стал выяснять, почему меня везут на Электrozаводскую, когда мне надо на Краснопресненскую, а молча втиснулся в машину, и мы поехали по темнеющим улицам. Моросил дождь.

Наверное, я задремал, потому что очнулся от слов водителя: «Приехали, папаша. Вылезайте».

Мы стояли у станции метро Электrozаводская. Дождь продолжался... Подняв воротник куртки, я стал вылезать из машины, шаря по

карманам в поисках пятака на метро. Захлопнув дверцу «Москвича», я уже приготовился бегом проскочить до входа в метро, когда услышал позади окрик шофера:

— Эй, батя! Склероз, что ли, у тебя? Авоську забыл!

Я обернулся. Водитель, приоткрыв дверцу своего «Москвича», протягивал мне авоську, в которой лежали моя сайка и пачка чая, купленные утром в булочной. Я машинально взял авоську, сказал «спасибо» и, плохо соображая, побрел через лужи к метро.

Добравшись, наконец, до дома, я вскипятил чай, а когда стал нарезать сайку, то почувствовал, что нож звякнул обо что-то твердое. Весьма удивленный, я решил, что получил очередной привет с хлебозавода. По телевизору часто показывали, как многие граждане находили в хлебе и булке шайбы, гайки, болты. А один даже обнаружил в батоне новенький немецкий штык. Сейчас, значит, пришел и мой черед.

Переломив сайку пополам, я к великому своему удивлению обнаружил там вот эту юбилейную медаль и записку, написанную до боли знакомым почерком: «Спасибо, товарищ Василий!». Записка была без даты... Какие могут быть даты для того, у кого впереди вечность?

А медаль — вот она: золотая, номерная. И номер на ней не просто стоит. Но об этом я тебе как-нибудь после расскажу.

— Н-да,— промычал я,— рехнуться можно от твоих сказок, Лукич. Мистика какая-то!

— Мистика, говоришь? — хохотнул Лукич.— Это еще не мистика! Я тебе похлеще кой-чего расскажу,— вот это будет мистика! Да и в этом рассказе мистика еще не вся. Когда я домой вернулся, то тоже крыша у меня поплыла... Что же со мной произошло? Где же я в действительности провел день ленинского юбилея? Потом вспомнил: там же и Иван Фомич присутствовал. Надо с ним поговорить.

Выхожу следующим утром в садик, что у нас во дворе. Пенсионеры сидят за столиком на скамеечке и юбилейными медалями друг перед другом хвастают. В жилконторе получили. Я подхожу и спрашиваю: «А что это Ивана Фомича-то не видно?».

«Беда, отвечают, с Иваном Фомичем на почве злоупотребления алкоголем. Вчерась перебрал, напялил на себя генеральскую форму — а ведь всего навсего майор — и пошел куда-то отмечать ленинский юбилей по чужому пригласительному. А там, видно, еще добавил и умом тронулся. Стал всем врать, что лично Ленина видел в день юбилея. Его и отправили в дурдом. А в какой — неизвестно. Жена плакала, говорила, что уж, наверное, и не выйдет Фомич из дурдома».

Да,— думаю,— все сойдется... Значит, и мне не померещилось. Погорел Фомич из-за своего тщеславия.» А ты говоришь мистика. Какая это мистика, если я Ивана Фомича своими глазами в генеральской форме видел в первом ряду?

— Лукич,— спрашиваю я,— ты хоть понимаешь, что означает слово «мистика»?

— Ты меня все каким-то малограмотным

дураком выставить хочешь,— без особого раздражения отвечает он,— а я с твое-то понимаю. Мистика — это когда произошло какое-то событие, а объяснить его, как ни крути, никто не может. А какая же тут мистика, если все логично и ясно?

— Что ясно? — почти закричал я.— Мне, например, ничего не ясно. Скорее, наоборот. Я от твоих рассказов скоро сам в психушку попаду.

— Ну, что же тут непонятного,— снисходительно ухмыльнулся Лукич,— давай вспомним: в семьдесят девятом мы в Афганистан влезли? Влезли. В восемьдесят первом Цвигуна шлепнули? Шлепнули. В восемьдесят втором Андропов стал генсеком? Стал. В восемьдесят третьем его хлопнули? Хлопнули. В девяносто первом Договор от 30 декабря 1922-го года аннулировали? Аннулировали. Прямо как на плакате: «Все завещанное Лениным выполним!». Какая же это мистика?

— А этот? Как его? Клиент! Откуда он-то взялся? — почти простонал я.

Василий Лукич любовно погладил золотую юбилейную медаль у себя на лацкане.

— Ты разницу между временем и вечностью понимаешь? — спросил он,— Эйнштейна читал?

Я, конечно, Эйнштейна не читал, но спросил Лукича, снова начав заикаться:

— В-Василий Лукич, ты что — Эйнштейна читал?

— Мы его в академии проходили, ответил ветеран,— пытались состыковать его теорию относительности с лозунгом «Ленин жил, Ленин жив, Ленин вечно будет жить!».

— И что у вас получилось?

— Я тебе отвечу словами Эйнштейна,— засмеялся Лукич.— Если бы у меня было время тебе это объяснить, то потребовалась бы вечность, прежде чем ты это понял!

ПЬЯНЫЙ ДИСПУТ

Точно помню, что было это 21 декабря 1995 года. Оказавшись в тот день на улице, где жил Василий Лукич, я решил зайти к нему, благо повод казался мне убедительным: в этот день многие заслуженные ветераны-чекисты отмечали день рождения Отца всех народов — Иосифа Виссарионовича Сталина.

«Наверняка,— подумал я,— Лукич порадует меня еще какой-нибудь историей в жанре социалистического сюрреализма. Ну, например,— мечтал я,— расскажет, наконец, как Матрена Ивановна пестовала двойников вождя или как писала завещание настоящего Сталина.

Я стоял перед витриной ларька с интригующей вывеской «Шейх», раздумывая, какой из крепких напитков принесет наименьший вред здоровью ветерана. На «Абсолют» по цене пятьдесят тысяч рублей за бутылку у меня явно не хватало, «Кремлевская» не внушала доверия, «Московская» была подозрительно дешева.

Мое внимание привлекла наклейка, на которой свирепого вида азиат размахивал то ли палкой, то ли мечом, а название, расшифрованное мной как «Тибетский нектар», положило конец сомнениям. В соседнем ларьке мне взвесили по

паре огурцов, помидоров и несколько луковиц. Не забыл я купить и любимое лакомство чекиста — лимонные вафли.

— Кто там? — неожиданно сердитый голос Василия Лукича донесся из-за двери, когда я нажал кнопку звонка.

— Василий Лукич, это я, узнали? Мимо проходил, решил зайти.

— Почему не позвонил? — буркнул старик, пропуская меня в прихожую, — а может, у меня гость какой или я, например, в гости собираюсь?

— Лукич, не сердись, я на минуту. Вот, поздравить тебя пришел, держи.

Я вытащил из портфеля бутылку, овощи и протянул ветерану.

— Наверняка ведь отмечаешь годовщину Сталина!

— Ну, отмечаю, а тебе-то что?

— Думал с тобой вместе отметить. Нынче этот день редко кто празднует.

— Гость у меня нынче будет. Бывший сослуживец, издалека приехал. Телеграмму прислал. Сижу вот, жду.

— Все, Лукич, ухожу. Еще раз извини, что не вовремя.

— Да что ты, как красна девица: «Извини, извини»! Чего уж там? Пришел — значит, проходи. Может, и к лучшему, что не позвонил. А позвонил бы, может, я тебе и сказал бы, что, извини, мол, занят. Ты бы и не поехал. А так, значит, будешь гостем без телеграммы.

— Незванный гость я, выходит. Говорят: «незванный гость хуже татарина».

— Ты же с выпивкой. Значит, лучше. Мой синоптик — сослуживец — тоже незванный будет.

— Что за синоптик? В гидрометеослужбе работал? — начал расспрашивать я Лукича, явно, не к месту, — ты мне ничего не говорил про метеослужбу.

— Какая там метеослужба, — махнул рукой старик, — в отделе прогнозирования он работал. Статистикой занимался разной. А какой конкретно — по-моему, он и сам не знал. Но болтать любил. Да и работа у него вся — таблицы, графики и болтовня на совещаниях. Прогнозировал все, что угодно. И каркал вдобавок. За глаза его еще звали Каркушей. А когда он накаркал, что Семичастному тяжело придется — это когда Светлана сбежала за кордон, — стали прямо в глаза говорить — Каркун. Сколько раз бывало, что из-за его карканья отдел то премии лишали, то без распределителя оставляли. А бывало и похлеще — кое-кто и в Туркестан отправлялся по разнарядке районные показатели выправлять.

Рассказывая о своем госте, Лукич не терял времени. Бутылка «Тибетского нектара» заняла свое место на столе рядом со «Столичной», огурцы и помидоры были порезаны, лук очищен.

— Стула лишнего нет, — пробурчал ветеран, возвращаясь из кухни с видавшим виды табуретом, — а пить будешь из чашки. стакан разбил.

— Лукич, — предложил я, когда он уgomонился и сел за стол, — давай помянем вождя. Все-таки много у тебя было радостей и забот от близости к нему. Почти никого не осталось, кто знал его лучше, чем ты. Разве что Светлана Иосифовна.

Тоже, наверное, поминает сегодня отца. Вот ведь судьба, скажи!

— Это у кого судьба? Если у товарища Сталина, так у него, знать, на роду написано было.

— Да я про Светланину судьбу, Лукич.

— Да уж судьба как судьба! Одно слово — несчастная была баба. Тоже помянуть не грех.

— Вот и помянем, пока синоптик не пожаловал.

— А что тебе Каркун? Он тоже помянуть товарища Сталина не откажется. Ладно, давай наливай. Помянем обоих.

— Да Светлана жива еще, Лукич,— поправил я, пока он не опрокинул свой граненый.

— Какое там жива! Богу душу при жизни отдала. В монастырь, я слышал, прописалась. Считай, что инкарнацию при жизни совершила. Ладно, пусть матрац ей будет периной!

— Лукич, как тебе нравятся результаты выборов? — спросил я его, похрустывая огурчиком и прислушиваясь к движению нектара по пищеводу. По реакции стенок многочисленных трубопроводов моего организма я мог безошибочно определить, где произведен только что принятый живительный яд, под какой бы наклейкой он ни выступал. «Тибетский нектар» был явно зарубежного происхождения. Не успел я высказать свое мнение, как Лукич опередил меня и безапелляционно заключил:

— «Рояль» на лебеде. «Рояль» — голландский, лебеда — наша. Бутылка — венгерская, а наклейка — он пододвинул бутылку поближе, достал очки и долго разглядывал ободок пестрой

глянцевой этикетки — из Первой образцовой типографии Мособлсовпрофа.— Дармоеды,— крикнул он,— даже форму бумажки оставили старую. Помнишь, лет двадцать тому выпустили пробную партию особо крепкой водки «Партия — наш рулевой»? Там наклейка была такая же. Саботажники!

— Лукич, не бреши, не было такой водки.

— А если сейчас покажу бутылку? Нет, бутылку распили давно. Когда партия выбросила главный лозунг: «Спортивно-культурный комплекс — веяние времени» помнишь? Или позже это было — когда Горбачев из кресла Генсека выпорхнул? Не помню. Наклейку сохранил. У меня много разных упаковок и наклеек. Вот все думают, что мыло «По ленинским местам» — это анекдот. Никакой это не анекдот. Была такая партия мыла. И туалетная вода «Запахи Ильича» была. Шутники и тогда были, не только теперь: «Тибетский нектар»!

— Валяй, показывай,— махнул я рукой, наливая очередную порцию лебединой настойки.

Наклейку Лукич так и не успел достать,— раздался длинный звонок. Он закрыл дверцу шкафа и обернулся:

— Потом посмотришь. А сейчас помолчи. Дай гостю освоиться. Посмотрим, чем дышит, о чем каркать будет.

Через минуту Василий Лукич вернулся в комнату, пропустив вперед невысокого плотного, чем-то напоминающего нашего мэра мужчину. На вид ему было около шестидесяти лет. Увидев

меня, он остановился, беспокойно, даже, пожалуй, виновато, улыбнулся хозяину. Потом медленно повернул лицо в мою сторону. Беспокойство в глазах исчезло, уступив место мягкой, бархатистой доброжелательности.

— Давай, давай, проходи,— все свои,— широко развел руки хозяин и представил меня гостю,— это из редакции «Красной звезды»,— а это,— продолжал он,— Владлен Борисович, полковник в отставке, так сказать, или, может, тебя в генералы произвели ненароком?

Лукич повернулся к гостю, ожидая ответа.

— Так и жди, произведут. Паша скорей генералиссимусом станет.

Он глянул на стол, потер руки и заученно спросил:

— Итак, товарищи... или господа, как вам будет угодно, что отмечаем?

— Тебя вот ждем, а пока ждали — за Самого выпили. Присоединяйся. Еще употребляешь? — Лукич пододвинул гостю стакан и, наливая, сказал, кивнув на бутылку:

— Монахи тибетские, глянь-ка, прислали. Бодрит и надежды вселяет в сосуды.

— Погодите, друзья,— полковник поднялся со стула,— чуть не забыл. Я же из Воронежа местный напиток привез. И снедь кой-какую.

Пока гость возился в прихожей со своим багажом, Лукич нагнулся ко мне и тихо, почти шопотом сказал:

— Не обижайся, что из «Красной звезды» тебя произвел. Так лучше. Я не понял, почему лучше из «Красной звезды», чем, например, из

«Правды», но промолчал и согласно кивнул головой — хозяину виднее.

Гость вернулся с литровым бутылем и двумя пакетами. Из одного достал несколько жирных копченых рыбин, в другом оказался большой воронежский пряник с глазурью. На этикетке бутылки была изображена ракета, взрывающаяся в лиловое небо, яркий оранжевый подсолнух и портрет изможденного человека в лавровом венке. Надпись гласила: «Космическая особая».

— Не узнаете? — ласково спросил он меня, подсунув этикетку прямо под нос. Я понюхал ее, но не ощутил никакого запаха.

— Да вы не нюхайте, а смотрите, — рассмеялся он.

Я туго уставился на подсолнух, пытаюсь связать его с ракетой, потом на портрет тощего в венке, но, как ни старался не мог угадать, кому из известных мне садоводов или космонавтов может принадлежать помещенное на этикетке лицо.

— Константин Эдуардович Циолковский, — улыбнулся гость и предложил выпить за встречу.

Мы допили нектар, и сослуживец, не закусывая, налил по целому стакану воронежской «Космической».

— Просто пробуем, дегустируем или за что выпьем? — спросил гость.

— Попробуем сначала, — предложил Василий Лукич, отпил два глотка, уставился в потолок и одобрительно ухмыльнулся:

— «Рояль» на подорожнике. «Рояль» бельгийский, подорожник — наш, наклейка... — Лукич

даже не удосужился посмотреть на нее,— из Калужской типографии Управделами Воронежского обкома. Угадал?

— Ну, Шерлок Холмс,— восхищенно крикнул гость и рассмеялся.— Говори, как дошел.

— Чего тут доходить. Когда вы дрались за монополюшку с управленцами из ЦК, меня попросили бывшие сослуживцы помочь им разобраться в некоторых тонкостях работы партийных типографий. Разобрался, доложил. «Литр спирта, говорю, приносит вам три тысячи чистыми, а килограмм этикеток, продолжаю, дает вашим конкурентам сто тысяч. А когда, говорю, доллары и фунты научатся печатать, нос воротить будут от ваших заказов на наклейки».

Гость с недоверием смотрел на Лукича.

— Чего уставился? — ухмыльнулся хозяин,— дальше спирта глаза не видели? Ладно, не будем продолжать тему. Редактор не поймет,— добавил Лукич и взял на пробу большую толстую рыбину.

— Хороша рыбка,— покачал я головой,— стерлядь, похоже.

— Нет,— возразил воронежский гость, вам до Василия далеко,— промах! В молоко попал стрелок, как сказала бы моя прабабка.

— Между прочим,— Лукич поднял на меня голову,— ты спроси у Борисыча, кто у него прабабка,— кстати, Борисыч, жива она?

— Не гневи всевышнего, Василий! Еще при тебе умерла. Когда ты ушел в резерв? В пятьдесят пятом? А она через год.

Помолчали. Налили по малюсенькому. Прабабку помянули.

— А что ты хочешь? — снова взял слово гость.— Девяносто ей было, когда умерла. Полста лет при царе маялась, по каторгам куролесила, потом сколько лет — бабкой уже — будущих дзержинят на свет принимала и в люди выводила, пока не осели в Воронеже. Я родился — ей уже к шестидесяти тянуло.

— Да ты спроси, спроси про Эсфирь... как ее по батюшке, забыл,— Василий Лукич повернулся к гостю.

— Да я и сам забыл,— поморщился Владлен Борисович,— а может, и не знал. И сама она, по моему, не знала. Да ладно тебе, Василий,—засмутился гость,— потом как-нибудь. Давай-ка лучше о делах сегодняшних помозгуем. Определяться пора. За выборами-то следил?

— А что за ними следить-то,— отмахнулся ветеран,— они и так достали. Следи — не следи, толку никакого. Порядка нет. Президент как-то выступил, прогноз сделал. Да тоже непутево. Дело серьезное, а он на ходу руками помахал, буркнул сокамерникам, или как там их,— с камерами перед ним шастали которые: «Черномырдин — двадцать процентов, Зюганов — десять», да еще перед тем, как сказать эти десять, считал что-то в уме. А вон как получилось. Наверное, в уме считать уже разучился или не так его поняли избиратели.

Лукич скорбно покачал головой и продолжал:

— Даже Хрущев, бывало, вдарит кулаком по столу, не только ему проценты на стол выложат, кукурузой завалят страну. Помнишь, Борисыч?

— Как не помнить, Василий. Помню я, как и Президент однажды на танк влез. Лютое время было. Сколько у нас тогда в инфаркты подалось, а все же любовались! Не довел тогда до конца дело, а ведь ему, ой как, светило. Органы бы разогнал — никто и пикнуть бы не успел. Все ведь уже за решеткой, вспомни. На армию своих людей поставил. Партия почти в подполье ушла. Мы тогда сидели у одного генерала на даче, кости бросали: объявит ЧП в Москве или не объявит? Получилось — объявит. Таким холодком в грудь повеяло! Все наработки по дачам да норам распахали.

— Причем кости-то? — спросил Василий Лукич захмелевшего гостя, — ты же профессионал-прогнозист. Просчитал бы товарищам вероятность ЧП и всяческих последствий. Сейчас-то кости, поди, не бросают? Ты-то, наверное, за выборами не с костяшками следил. Статистики составлял и каркал? Признавайся, в яблочко или в молоко попал?

— Владлен Борисович, — вступил я в разговор, — чувствую, что в ваших руках результаты. Центризбирком темнит. Просветите нас. Лукич вот тоже толком не следил за ходом. Мне было не до этого. Работа у нас — знаете, какая. Как вы оцениваете результаты?

— А вы? — вопросом на вопрос как бы ответил Владлен Борисович.

— А я им не верю! — выпалил я, решительно приблизив к себе бутылку с космическим напитком.

— Вот здесь вы абсолютно правы! — оживился полковник. Они фальсифицировали результаты.

Почти на каждом избирательном участке у нас сидели свои люди. Докладывали в центр каждый час. К подсчету голосов были допущены только наши.

— Откуда вы все это знаете, Владлен Борисович? Уж не вы ли настоящий председатель Центризбиркома.

— Да нет, это у них был Центризбирком. У нас была Чрезвычайная Комиссия Уполномоченных по выборам,— ЧКУвы, если сокращенно.

— А куда же вы докладывали? В какой центр?

— Я лично докладывал партийному руководству, а если точнее — нашим людям в партийном руководстве. По чрезвычайной линии компьютерной связи. С июля сеть создавали. Я вот по телевизору слушаю, что компартия меньше всех средств истратила на предвыборную кампанию, смеюсь. Шестьдесят тысяч «нотбуков» одних купили. Посчитай-ка! Спутниковой связью почти всех уполномоченных обеспечили,— прибавь! Сколько тысяч людей обучили пользоваться этой заразой, опять расходы. Слава Богу, энтузиастов поработать на общественных началах нашлось достаточно. Сколько коммунистических субботников провели под носом у властей!

— Лукич,— обращаюсь я к хозяину,— ты слышишь, какие подвиги совершают твои сослуживцы? А ты на пенсии сидишь и сериалами телевизионными пробавляешься! К чему бы это, как ты думаешь?

— Да я уже об этом думал. Мне ведь тоже предлагали в свое время, после того как Президент разогнал Верховный Совет, поработать. И

от Стерлигова приходили, и ампиловцы, и хазбулатчики, были даже от самого Крючкова. Вожди еще в «Матросской тишине» сидели, а они уже о реванше думали.

— Василий, а ты, я смотрю, как всегда,— в центре событий. И, как всегда,— тихой сапой. Ай да молчун! — покачал головой Владлен Борисович, потер руки и долил в стаканы и в мою чашку до краев.

— Зря вы мешаете тибетскую с воронежской,— заметил я синоптику, но он в ответ только засмеялся и повернулся к Лукичу:

— Василий, может, тайну откроем товарищу из газеты?

Хозяин скептически ухмыльнулся и, махнув рукой, проворчал:

— Какая тайна, если об этом уже полгода назад трезвонили все газеты. Не с твоей ли подачи, Каркун? Президент секретный указ еще не подписал, а его текст уже с вертолетов неопознанных разбрасывают по всей стране.

— Василий! Редактор газеты, как правило, не знает, что в газетах печатают. Тем более — в своей. Другие ему читать некогда — он же сам только что признался,— а свою он редактирует, но не читает. Кстати, есть мнение, что ваша газета слишком прямолинейна. В Центральном Комитете уже обсуждался вопрос о смене руководства. Но решили, что пока рановато. Проведем это в рамках всесоюзной кампании по совершенствованию федеральной помощи средствам массовой информации. Так что имейте в виду. Но пока то, что я сказал,— это не для печати.

— Вот-вот, Каркун! С тобой все ясно. Кончай каркать. Давай лучше выпьем за то, чтобы твои прогнозы не оправдывались.

Выпили. Похоже, что Лукич, как и я, пил без особого удовольствия. Только уполномоченный, крикнув, двумя глотками осушил стакан и, не закусывая, обратился к хозяину:

— Василий, похоже, что и ты тайны «Рояля» до конца не знаешь. Теперь уж можно, конечно, говорить. Поезд ушел. Ищи-свищи — все шито-крыто! Ведь все испортили бывшие управдельцы старого ЦК и обкомов, которым досталась по разнарядке ликеро-водочная отрасль. Мы особенно им не мешали, пока они исправно платили дань. Но жадность сгубила фраеров.

Они в какой-то момент почувствовали слабость правительства и за... Ладно, не в деньгах дело, купили право на приватизацию основных заводов. Дальше — больше: создали что-то вроде Всероссийского алкогольного альянса и решили, что держат всех в стране в своих пьяных объятьях! С нами перестали считаться, денежные перечисления притормозили, спиртным начали откупаться. Не иначе — решили нас тоже спойть, хотя на налоги высокие сваливали неплатежи, на амортизацию, на рэкет, ха-ха!

Уполномоченный даже задрожал от раскатов пьяного смеха. Когда я вопросительно глянул на Лукича, тот поморщился и только махнул рукой — дескать, пусть мелет.

— Ну, кретины, как были недоумками, так ими и остались. Как-то на инструктаже один из наших бывших шефов-идеологов наставлял их:

«Вы,— говорит,— поймите, что красные директора — это не столько свидетельство принадлежности к нашей любимой партии, сколько намек на вашу склонность к пьянству — цвет ваших носов выдает вас с головой». А они в ответ хохочут, ну, прямо как вот я. «Берите,— уговаривает их шеф,— пример, с товарища Зюганова, у него нос всегда белый, а не с президента...— тут идеолог запнулся...— Клинтона, у которого нос хотя и белый, но не от трезвости, а от грима».

Владлен Борисович, распалаясь от выпитого «Рояля» и осознания своей значительности, продолжал:

— Поделился я мыслью с начальством сдать весь альянс людям Гайдара, когда подсчитал, что их прибыль не меньше трех правительственных бюджетов. Дальновидные люди остановили, другое они спрогнозировали...

— Владлен Борисович,— попытался я перевести разговор в другое русло,— вот вы уже несколько раз обмолвились: «с нами перестали считаться», «наши люди». Так кто же это «вы»? Зюгановцы? Патриоты? Державники?

— Обижаете? — почему-то в вопросительной форме ответил уполномоченный.— По-моему, все, кроме маразматиков, размахивающих красными флагами на митингах, поняли, что все перечисленные тобой группы — только подстава здоровых сил, которые будут управлять государством после выборов.

— Тогда разрешите уточнить, что это за «здоровые силы», и почему им нужна «подстава» в лице Зюганова?

— Мил человек! — воскликнул полковник, — думается мне, что все-таки вашу газету пора разгонять, если ты таких вещей не понимаешь?

— А причем тут наша газета? — изумился я.

— А при том, что хотя направление у вас принципиально правильное, но слишком уж прямолинейное. Направленность тоже иногда следует слегка камуфлировать.

Откинувшись на спинку стула и размахивая рыбьей головой, он поучал:

— Представь себе, что выйдем мы на предвыборные трибуны и начнем говорить, что думаем. Мы же народ прямой. Прямее Лебедя. Так и то мы видим, как ему приходится сдерживаться. Лукич, — обратился он к хозяину, — скажи!

— Ничего я не скажу! — отрезал ветеран. — Вопрос слышал? Отвечай, а ко мне не лезь!

— Короче, так, — сосредоточился полковник, — кто ж пойдет голосовать за всероссийскую зону? Ты понял? Правда, мы теперь пользуемся термином резервация. Не в том, конечно, смысле, какой придают этому слову за кордоном. Объяснять долго. Народ может не понять при нехватке времени. А на практике все станет ясно гораздо быстрее. Понял?

— Я, конечно, ничего не понял, но страшно стало. Хотя и понимал, что прогнозист пьян. Но ведь каждый день подтверждает нам поговорку: «что у трезвого на уме — то у пьяного на языке». Наливая «космическую» в стакан уполномоченного, я осмелился напомнить ему, что он так и не ответил мне, какие это «здоровые силы» Владлен Борисович сегодня здесь представляет.

— Те, что реально управляли страной со времен Менжинского,— как кувалдой по бетону долбанул мне по мозгам Владлен Борисович.

— Менжинского? — ошарашенно повторил я.— А не Ленина?

— Ленина? — удивленно переспросил уполномоченный и расхохотался.— Если бы ты сказал.— Сталина, с тобой можно было бы поспорить! А Лениным самим управляли немцы, латыши и евреи. А был-то он только самый юркий уж! Когда мы его прихлопнули...

— Чего несешь, Каркун! — хлопнул по столу Василий Лукич.— Когда это вы его прихлопнули? Да надоели вы ему, и ушел он от вас. Сам знаешь, куда. А не знаешь, значит, не положено тебе знать. Предлагаю выпить за здоровье Владимира Ильича!

— Не кощунствуй, Василий! Помянуть готов, а за здоровье пить не буду. Хоть и прихлопнули его — свое он отработал. Поднимай чарку!

Василий Лукич демонстративно перевернул стакан, встал из-за стола и вышел из комнаты. Я боялся, что он вернется с каким-нибудь именованным пистолетом и пристрелит своего бывшего сослуживца.

Уполномоченный отставил в сторону питье, наклонился ко мне и снова начал вещать:

— А ушел он, знаю куда — в мавзолей его ушли, и смотрит с тех пор на нас с укором: не справились мы со своей задачей. Пришлось вот распылиться по стране. В народ пошли, в экономику, в политику, в администрации. Опытom делились друг с другом. Зато теперь знаем досконально,

чего народ хочет. Знаем настроение народа, знаем его чаянья.

— Каким ты был, Каркуша, таким и остался,— услышал я голос Лукича из прихожей.

— «Орел степной, казак лихой»,— фальшиво пропел ему уполномоченный из комнаты.

— Не орел, а ворона ощипанная по имени Каркуша,— Лукич сел на свое место и скорбно закивал головой.

Мне не хотелось, чтобы принципиальный спор ветеранов набирал силу.

— Так что же по статистике получается, Владлен Борисович? — перебил я обоих.

— А по статистике получается, что девяносто процентов нашего народа хочет плетки, хочет наказать виновных, хочет, чтобы народом управляли железной рукой.

— В ежовых рукавицах,— добавил я, полагая, что уполномоченный шутит.

— В стерлиговых,— поправил он меня.

— Опасно умничаешь, Каркун! — воскликнул Василий Лукич. Лицо его стало жестким.— Зарежут тебя и даже уголовное дело не откроют.

— Не трухай, Василий! — встрепенулся полковник.— Кто это зарежет? Режут только наши. Своего не зарежут. Фээска чека видит издали,— хохотнул Владлен Борисович и, подмигнув, обратился ко мне:

— Ведь для вас-то это не секрет?

Честно говоря, мне трудно было возразить. Я знал, что в нашу газету иногда приходили материалы, можно сказать, готовые уголовные дела,

но почему-то они исчезали без следов. Даже в журнале регистрации. Но к этому уже привыкли, считая, что не наше это дело заниматься разборками и разоблачениями высокопоставленных военных. Иногда даже шутили, когда какого-нибудь упомянутого в материалах генерала или полковника отправляли в Чечню: «На заклятие отправили».

— Владлен Борисович,— упрямо вернулся я на интересующую меня стезю,— вы тоже готовы получить железной рукой по своей заднице?

— Мы будем не получать, а раздавать,— уверенно ответил он.

— А девяносто процентов, которые хотят плетки, тоже будут раздавать? Тогда кто же будет получать?

— Тут важно вопрос правильно поставить,— глубокомысленно произнес уполномоченный.— Ведь мы же не спрашивали, хочет Иван Иванович, например, под плеточку лечь. Вопрос формулируется по-чеккистски: «Считает ли Иван Иванович, что Иван Никифорович не всегда давал принципиальную оценку тех или иных действий, которые в результате привели страну к нынешнему состоянию?». И что вы думаете? Иван Иванович, конечно, так и считает. Вопрос второй: «Считает ли Иван Иванович, что с Ивана Никифоровича надо строго спросить по закону?». «Конечно, надо»,— считает Иван Иванович.

— Но это же издевательство над Иваном Ивановичем! — не сдержался я.

— А Иван Иванович, между прочим, так не думает,— парировал прогнозист и продолжал:

— Ивана Никифори́ча мы тоже, конечно, не спрашивали, хочет он плетки или нет.

— Его вы убеждали, что плеть заслуживает Иван Иванович?

— Да что вы? Так примитивно мы сейчас не работаем. У Ивана Никифори́ча мы спрашиваем, например, про генерала Коржакова,— ухмыльнулся Владлен Борисович, движением руки приглушив мое изумление, не успевшее оформиться в слова,— если бы мы спрашивали про Ивана Иваны́ча, то вряд ли набрали бы больше шестидесяти процентов. Церковь сильно портит нам дело. Телевидение источает религиозный дурман. Совесть, к сожалению, просыпается в народе. Недоучли мы это. Зюганова не остановили вовремя. Объявил он уже, что совесть и вера в коммунизм могут сосуществовать в период предвыборной кампании.

Голова моя шла кругами. Я представил себе, как уважаемый Владлен Борисович несет эту ахиною с предвыборной трибуны, а подвыпивший электорат, размахивая портретами Ленина, Сталина, Зюганова и Христа, скандирует: «Смерть Ивану Иваны́чу! Смерть Ивану Никифори́чу! К стенке генерала Коржакова!». Стоп! Про Коржакова, пожалуй, кричать не будут. Я бы, по крайней мере, обиделся на Владлена Борисовича и огрел его пару раз резиновой дубинкой. Тем не менее меня страшно интересовало, что же ответил Иван Никифорович на вопрос о Коржакове.

— А Коржакова всякий готов осудить, кроме Президента и генерала Барсукова. Слышал я, что кое-где его называют лейб-виночерпием,— не

моргнув глазом, поторопился выпадить уполномоченный.

— А про Гайдара спрашивали? — поинтересовался я. Мне было интересно, что думают «здоровые силы» о человеке, запустившем маховик реформ, против которого ополчилась вся номенклатура, и старая, и новая.

— Нет,— твердо сказал Владлен Борисович.— Гайдар нам почву подготовил для консолидации. Он сам пошел на заклятие. Отважный человек. Хотя почти все его жалеют. Особенно бабы. Его путь был для нас опасен. Потому мы и объединились быстро. Что мы только ни делали, чтобы заменить его Черномырдиным. Все-таки Виктор Степанович не такой лихой человек.

— Борисыч, не надоело тебе? Сколько уже костей намолот! Передохни,— перебил прогнозиста-аналитика Василий Лукич.— Может, чайку поставить?

Мне показалось, что Владлен Борисович даже не услышал своего сослуживца.

— Если бы Гайдар успел землю из рук наших выпустить, в частную собственность продать, пусть даже за тридесятый урожай в будущем веке,— нам была бы хана. Ведь это наш «эксклюзивный», как сейчас говорят, электорат! Нищие безземельные колхозники и городская шантрапа. Да еще уголовники, которые в зонах бездельничают. И то здесь еще бабушка надвое сказала. Многие нас не поддерживают. Считают, что в рамках сегодняшнего беспредела поле их деятельности значительно расширилось.

Владлен Борисович так и выразился: «в рамках беспредела», а я, на всякий случай, уцепился за эту словесную находку, как на возможный заголовок будущей своей публикации.

— Владлен Борисович,— отвлекся я от своих мыслей,— выходит, что треть страны, то есть «шантрапа» и безземельные крестьяне, не будем считать уголовников, голосуют за вас; за «здоровые силы» органов безопасности, а не за компартию Российской Федерации?

— В том-то и дело, что фактически их голоса достанутся нам. А Зюганов для нас — только удобный попутчик. Пусть он брешет то, что ему написано, пока на воле находится. А когда Президентом станет — запоет по-другому. А не запоет — в мавзолее отправим, как и его предшественника.

— Слушай, Борисыч, прекрати над Ильичем измышляться,— возмутился снова Василий Лукич.— Ты же не соображаешь, что ты намолол. На две вышки — по старым добрым временам. А по новым — на три исчезновения без возбуждения уголовного дела.

— Да не пугай ты меня уголовным делом, Василий! Не боюсь я его! Некому возбуждать.

— Слушай сюда,— перебил сослуживца Лукич,— я тебя не уголовным делом пугаю, а тем, что тело твое будет числиться без вести пропавшим. Вечно! Понял? А душа без вести пропавшего человека очень долго кочевряжится, пока не инкарнирует в другое тело. Понял? А если так, то ее насильно впихивают в баобаб. Понял?

Владлена Борисовича как парализовало! Глаза выскочили из орбит, рот из благообразного овала превратился в неоформленную дыру, он весь подался вперед и заикал. Пока он икал в беспомощном состоянии крайнего изумления, Василий Лукич добивал сослуживца:

— Признавайся, кто уполномочил тебя такую ахинею нести? То, что Зюганов с вашего голоса поет,— это понятно; то, что полстраны пересажаете,— это тоже, так сказать, факт, не требующий экспертизы; то, что партия — ваш беспомощный теоретический отряд,— это все поймут еще до выборов. Денег у вас немеряно. Это только недалекие думают, что «золотом партии» распоряжалась партия. Я-то знаю, кто распоряжался этими деньгами. Каркуша, делал бы ты свое дело, но не умничал! Рисуи свои гусовы распределения и диспепсии.

Лукич закашлял тяжело и махнул рукой. Выпил остаток королевского зелья на подорожнике. Замолчал. Я не ожидал от ветерана, что он может стрелять такими убийственными очередями. «От живота — веером», вспомнилась мне фраза из какой-то самиздатовской книги.

— Успокойся, Василий,— неожиданно тихо сказал Владлен Борисович.— Непонятно только, почему ты нам говоришь «вы». Разве ты не с нами?

Он наклонился к Лукичу и обнял его за шею, как-будто собирался удавить. Василий Лукич отстранил его рукой.

— Между прочим,— обратился ко мне уполномоченный, бросив локти на стол и чуть было

не столкнув на пол тарелку с рыбьими хвостами и скелетами,— распределений «гаусовых» нет. Распределения есть Гауссовы. И диспепсий нет, то есть есть,— он икнул и заплетающимся языком закончил фразу: — Диспепсия — это болезнь такая. А дисперсия — это отклонение от среднего. Впрочем, тоже болезнь.

Он встал и неверной походкой направился к двери. Потом остановился и тупо уставился на меня.

— Звездочет,— невнятно залепетал он, направив на меня выставленные вперед указательные пальцы,— пиф-паф! — он дернул руками, с трудом удержал равновесие и выдавил из себя: — Скажи, куда мне помочиться?

Я вскочил с табуретки, чтобы проводить его в туалет, но Василий Лукич опередил меня.

— Мочись под себя, Каркуша,— с брезгливой гримасой устало сказал он уполномоченному,— все в сапоги утечет, и душе твоей будет тепло и сыро, когда на расстрел поведут.

Лукич подошел к полковнику, но тот отстранился и глубокомысленно, насколько позволил плохо управляемый язык, продекламировал:

— Параллельные линии не пересекаются, но всегда идут рука об руку, запомни это, звездочет. Держи меня, Василий.

Они вышли в прихожую. Рука об руку — трагическое прошлое и цирковое будущее. А зритель остался наедине с недопитой бутылкой «Столичной» и объедками копченого сига.

Хозяин вернулся в комнату, сел на свой стул и отодвинул в сторону перевернутый стакан.

— Лукич,— обратился я к ветерану,— какой диспут испортил твой алкаш! А я-то размечтался.

— Диспут с Органами? Ты что, спятил? Он же рассказал тебе, чем они занимаются. Алкоголь выбивают из партхозактива. Кстати,— кивнул ветеран в сторону прихожей,— в операции «Королевский напиток» он действительно участвовал. Ведь научные и хозяйственные кадры Органов никто не тронул. Они без мыла проскользнули сквозь все реорганизации — от КГБ до ФСК. Практически без потерь. Когда им Ильич отказал в деньгах, бросились они к бывшим партийным управленцам. А те им — фигу с маслом показали. Разжирели они на спаивании населения, классовое сознание притупилось. Или решили, что без Органов проживут.

Тогда эти — из «Феликса» — открыли стратегические запасы спиртного, которое хранилось еще со времен антиалкогольной кампании Михаила Сергеевича, целый месяц составами гнали его за кордон. И пошел в Россию «Рояль» всех мастей — от американского до люксембургского. Подорвал вчистую местный партийно-алкогольный промысел. Пришлось тем на попятный идти. А когда сдали в прокуратуру кой-какие материалы по старому делу «Самтреста» — вон сколько лет держали, аж с незабвенного Юрия Владимировича,— партийцам пришлось на попятный идти. Поняли они, что на крючке у Органов сидят вместе со всеми потрохами в лице секретарей,— от райкомовских до цековских.

Пришлось им малину свою собрать. То ли «Анну Каренину» оседлали, то ли «Надежду

Крупскую» — уж не помню. Пришли-таки к соглашению. Решили от греха подальше монополию государству вернуть, «здоровые силы» перестали «Рояль» местного производства гнать из-за кордона. А на радостях пароход продали какому-то подставному совместному предприятию.

Василий Лукич замолк. Потом неожиданно повернулся в сторону прихожей и громко крикнул:

— Эй, Борисыч! Ты не утонул там?

Ответа не последовало. Ветеран забеспокоился и поднялся со стула.

— Владлен Борисович! — крикнул я и встал.

Мы оба замолкли. Из-за двери донеслось ворчание — невнятный отзыв пьяного уполномоченного. Лукич снова сел и продолжил рассказ:

— Вот так они работают. А ты говоришь — диспут. Во всем этом деле плохо то, что они из разных хранилищ без разбора сливали все вместе, не прочитав даже инструкции и рекомендации по применению. А там были спирты ой какие разные. С химическими добавками. Для расслабления психики, для агрессивности, снотворные, сосудосжимающие и всякие другие. Это сейчас уже разные службы проверять стараются спиртное. Но больше не по этой причине. Были, якобы, попытки отравленное питье завезти из Чечни. Пресекли. На стол, говорят, Дудаев поставили. Объяснили, что такое бумеранг. Дудаев посмеялся и ответил, что его люди религиозные, и им отравление не грозит. Но пообещал разобраться и доложить. Сказал, что не мужское это

дело — напиток жизни превращать в орудие террора.

— Лукич,— прервал я алкогольную тему ветерана,— неужели в откровениях и прогнозах твоего синоптика есть доля правды? Как ты думаешь?

— А чего мне думать? Я и без этого знаю. Все откровения — чистая правда. Только не все он еще сказал. Не положено. Вспомни, как он один раз обмолвился — «резервация». И поправляться стал, что, мол, не в том смысле, как это на Западе понимают. Об этой разработке он ничего не скажет. А скажет — без вести пропадет!

А прогнозы? Сам понимаешь, ты же историк. Пораскинь мозгами. Они же пользуются штампами, которые им Ильич наклепал на все случаи жизни. Вспомни, что делал вождь мирового пролетариата в восемнадцатом и девятнадцатом году. Да и потом...

Лукич загнул большой палец на левой руке и начал:

— Экспроприировал все, что плохо лежало, на благо мировой революции — это раз! Продавал всех, кто его покупал и наоборот — это два! Органы террора и вымогательства создал и работой их обеспечивал — это три! Это только великие дела, я уж не говорю о мелочах. Вот последнее великое дело его и подкосило. Когда очухался и понял, что проиграл,— в зону попросился. Тут Органы и подмяли всех под себя. Вот они,— Василий Лукич пальцем показал в направлении места, где приходил в себя синоптик,— сейчас считают, что им удалось удачно скрестить ужа и

ежа с перспективой получить от каждой вязки, или случки, как тебе больше нравится, не два метра, а два километра колючей проволоки.

Товарищу Сталину долго удавалось маневрировать — на то он и Сталин! Второй фронт им открыл — работать не только против населения, но и против самих себя.

— И против партии и армии,— добавил я.

— Армия и партия — это то же население,— поправил меня мудрый ветеран и снова крикнул:

— Каркуша, просыпайся,— за Органы пить будем.

— За единство Органов и народа,— донеслось из туалета, потом послышался звук спускаемой воды.

— Лукич, прости за нескромный вопрос: неужели ты тоже с ними? —почему-то почти шепотом спросил я.

Лукич долго смотрел на меня, вздохнул, слил остатки подорожника в бутылку с лебедой, протянул мне и сказал:

— Держи. Завтра опохмелишься. Этот вопрос ты мне уже задавал. А я тебе уже отвечал. Запомни: женщине разрешено повторяться в одном и том же — «ты меня любишь?», а мужчине предписано отвечать — «так точно». Каждый раз. Запомнил? Это раньше партия регулярно требовала расписаться в любви, а народ отвечал «есть». Партия уже давно не женщина. Приходится ей и в парики разные рядиться. Да поздно уже. Склероз и старческий песок под париком не спрячешь.

Первая электричка, на которую я сел, чтобы доехать до Карачарово, держала путь на Петушки. Когда на станции «Серп и молот» двери захлопнулись, я открыл портфель, намереваясь просмотреть газету, купленную днем. Мне бросилась в глаза бутылка с остатками «королевских» напитков. Я достал ее, оглянувшись по сторонам и, вспомнив Веничку Ерофеева, засмеялся и... «немедленно выпил».

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВЗРЫВ

1

Постепенно мои отношения с Василием Лукичем достигли такой стадии, что я превратился для него в своего человека. Он даже сам звонил мне по телефону, выясняя, куда это я пропал. При этом оказывалось, что я не был у него целую неделю!

Он стал гораздо откровеннее и уже реже ворчал о том, что мне то или иное знать не положено, а он из-за меня не хочет лишних неприятностей.

Как-то Лукич вручил мне среднего размера картонную коробку, в которой оказались его фотографии, главным образом послевоенные.

Довоенных было очень мало, да и качество их было таково, что трудно было точно сказать, Лукич на них изображен или нет.

— Да вот он — я,— убежденно говорил ветеран, тыкая пальцем в расплывшееся пятно, на котором можно было опознать только буденовку и коня.

Я вежливо соглашался и спрашивал:

— Ты разве кавалеристом был, Лукич?

— Не был я кавалеристом,— возмущался Лукич,— а что касается коня, то, во-первых, на

фотографии не конь, а кобыла по кличке «Искра». Вначале ее называли «Ленинская искра», но потом начальство приказало слово «Ленинская» убрать. И осталось только «Искра». Это средство транспорта. Вроде мотоцикла или автомобиля по нынешним временам. А ты как полагаешь? Я должен был тридцать верст до Москвы от своей зоны и обратно пешим ходом двигаться? Вот и ездил на «Искре», а иногда ее в бричку запрягал, когда Ильича куда-нибудь возил.

— А ты Ильича куда-то еще и возил? — спрашиваю я.

— Всякое бывало, — отмахивается Лукич, явно демонстрируя, что сегодня на эту тему он говорить не желает.

Среди прочих фотографий я к великому своему удивлению обнаружил одну, на которой Василий Лукич был запечатлен в форме капитана первого ранга на фоне памятника погибшим кораблям в Севастополе.

Это было что-то! Бездонным ящиком с сюрпризами — вот кем был Василий Лукич!

— Лукич, — завопил я, — ты и на флоте, что ли, послужить успел?

На обороте фотографии стояла дата: 6 декабря 1955 года, Севастополь.

— Было дело! — сознался Лукич. — Только не очень долго. Месяца три всего. Да и то нельзя сказать, что я служил. Просто в форму флотскую нарядился, чтобы особо не выделяться. Как в маскхалат. В Севастополе на любого, кто не в морскую форму одет, смотрят косо, с подозрительностью, и все норовят такого задержать на

предмет проверки документов и выяснения личности. Народ-то там сильно пуганый.

— А как тебя туда занесло? — любопытствую я.— Ведь насколько мне известно, тебя, Лукич, в пятьдесят пятом году из органов турнули, и ты работал лектором в обществе «Знание».

— Правильно,— соглашается Лукич,— только из органов меня не турнули, как ты выражаешься, а перевели в резерв с оставлением удостоверения и права ношения оружия. Правда, последним правом я и в старые времена не очень пользовался. Зачем оружие, когда ты на собственной территории? На собственной территории единственным оружием должна быть революционная законность. Этой законностью можно так шарахнуть, что никаким оружием не получится! Сам знаешь, сколько этой самой «соцзаконностью» людей перевели! О каком же пистолете можно в таких условиях помышлять.

— Ладно,— говорю я,— ты, как всегда, прав, Лукич. Так как же тебя все-таки на флот занесло?

— Произошло это, если мне не изменяет память, где-то перед ноябрьскими праздниками пятьдесят пятого года. Я эти праздники всегда любил отмечать, отмечаю и до сих пор. Как бы к Октябрьской революции ни относиться, но, как говаривал Ленин, несомненно одно — Октябрь ознаменовал начало принципиально новой эпохи в истории человечества. А уж хороша была эта эпоха или совсем наоборот — это вопрос политических вкусов и воззрений. С какой точки смотреть. С моей, например: ну, кто бы я был, если бы не Октябрьская революция. Гопником

каким-нибудь. А так до полковника дослужился, решал задачи государственной важности. Значит, для меня Октябрь явление более чем положительное. Конечно, у тех, кого шлепнули или всю жизнь заставили просидеть в зонах, точка зрения другая; но истинная демократия как раз и состоит из различных точек зрения.

Так вот, помню, купил я бутылку коньяка, — продолжал свой рассказ Лукич, — и собирался присоединиться к компании таких же полуотставных «оперов», как и я сам, чтобы за праздничным столом, как говорится, вспомнить нашу юность боевую в рамках разрешенного к разглашению. Ну и выпить, разумеется. Иду я, значит, в предпраздничном настроении домой и — дверь еще не успел открыть — слышу, как у меня телефон надрывается. Ну, думаю, начались предпраздничные поздравления.

Так-то я подумал, но уже по тому, как телефон верещал, ясно было, что кто-то до меня добирается по спецсвязи. Я совсем не обрадовался. Время было смутное. И года еще не прошло, как были разгромлены органы госбезопасности, а их руководство истреблено без суда и следствия. Чистки и аресты продолжались. Вполне могли добраться и до меня. Просто так — чтобы где-нибудь еще одну галочку поставить.

Это сейчас — во времена вашей цирковой демократии — весь костяк бывших органов пребывает в благодушно-зловонном состоянии. Кто банком руководит, кто отрасль промышленности захватил, кто сколачивает боевую организацию нынешних коммунистов и ждет-не дождется, когда

они призовут Зюганова к решительным действиям. Да, времена настали...

— Лукич,— перебил я ветерана,— о нынешних временах мы поговорим как-нибудь потом, а сейчас мне хочется, чтобы ты не отвлекался от флотской темы. Итак, до тебя кто-то добирался по спецсвязи. Продолжай.

— Да, почувствовал я это. Так что с некоторым душевным волнением снимаю трубку и слышу голос одного своего сослуживца, тоже полковника, таинственно исчезнувшего из органов в самый канун смерти товарища Сталина.

— Лукич,— говорит он,— с наступающим.

— И тебя так же,— отвечаю я.— Как здоровьице?

Вопрос о здоровье в нашем деле никогда не был праздным. Тем более, если он был обращен к человеку, которого многие на Лубянке шепотом поминали как расстрелянного.

— Слава Богу, все нормально,— как-то глуховато объявляет он,— а у тебя?

— Тоже, тьфу, тьфу, тьфу, все ничего,— признаюсь я,— спасибо за поздравление. Извини, я только что пришел. Еще даже не разделся. А мне скоро убежать надо.

— Все еще бегаешь? Это хорошо,— говорит он.— Хорошо, что не разделся. Через пять минут за тобой приедет машина. Хватит тебе бегать.

— Машина,— как-то глупо переспрашиваю я,— откуда машина?

— Узнаешь позднее,— отвечает мой знакомец,— а пока спускайся вниз. Она уже должна подъехать. Черное «шевроле».

И повесил трубку.

«Вот,— думаю,— не было печали! Гадай теперь: возьмут-не возьмут».

У меня давно стоял портфельчик со всем необходимым — «если сразу возьмут, чтоб не мыкаться»,— как в песне поется. Опять же думаю, брать его с собой или нет? Решил взять. Кому он помешает? А с портфельчиком и я сам посолиднее выглядеть буду. Беру, значит, я свой «допровский» портфель и спускаюсь.

Действительно, у подъезда стоит черный «шевроле». Не похоже, думаю, что брать приехали. «Шевроле» для такой надобности гонять не стали бы. Пригнали бы простой «воронок». Кто я такой, в конце концов. Простой полковник. А тут «шевроле»!

Мало того, шофер в форме старшего сержанта заднюю дверь открывает, честь отдает и говорит: «Садитесь, товарищ полковник».

Хотел я пошутить, что, мол, не «садитесь», а «присаживайтесь», но не стал, чтобы беду не накликать и фамильярщину не разводиться.

Поехали по предпраздничной Москве. Кругом гирлянды из лампочек, транспаранты: «Да здравствует 38-я годовщина Великого Октября!» На одних плакатах цифры арабские, на других — римские. Портреты Ленина кругом поразвешены, а больше и никого.

Народ еще не очень очухался после внезапной смерти товарища Сталина и правительство решило не раздражать обывателя новыми портретами. Тем более, что и лики на этих портретах, как их ни рисуй,— умными не получаются. Выглядят,

как клоуны. Тогда уже многие говорили: «Цирк да и только».

Так что советская власть не в 1991-м году кончилась, а тогда — во второй половине пятидесятых годов.

Чтобы ты лучше понял эту историю, я тебе расскажу вкратце, кто прорвался к руководству страной после убийства товарища Сталина. Или после государственного переворота в феврале-марте 1953-го года.

Первым секретарем партии стал Хрущев. Это ты, наверное, знаешь. Премьер-министром назначили Маленкова. Министром обороны стал маршал Булганин из профессиональных партаппаратчиков. Министром госбезопасности остался назначенный еще Сталиным Игнатьев, сменивший арестованного Абакумова. Тоже фрукт — я тебе скажу! Был секретарем Саратовского горкома, затем прешел в аппарат ЦК и оттуда был брошен на «укрепление органов».

Он вел все «дело врачей», лично сварганил так называемое «дело еврейской молодежи», о котором вообще — даже сквозь зубы стиснутые — не любят упоминать, приказал пытаться самого Абакумова, а после переворота преспокойно остался на своем месте и принял участие в истреблении старого аппарата МГБ.

Министром внутренних дел после расстрела Лаврентия Павловича Берия стал генерал-полковник Круглов — бывший заместитель Абакумова по «СМЕРШу», на котором тоже негде было клейма ставить. Его даже называли «праотец советской коррупции».

Не успели затащить товарища Сталина в мавзолей, как заговорщики перегрызлись между собой. В результате полетел Маленков — в прошлом самый близкий к Сталину человек, считай, года с тридцать девятого. Лучший друг Лаврентия Павловича. Он думал кровью Лаврентия Павловича откупиться. Да не вышло. Выгнали с треском и заменили Булганиным. А на освободившееся место министра обороны назначили маршала Жукова — великого полководца.

Помнится, товарищ Сталин как-то сказал Абакумову: «С таким великим полководцем надо иметь население миллионов шестьсот». После войны Сталин хотел создать специальную следственную комиссию по поводу столь кошмарных потерь нашей армии. Первые подсчеты показали, что потеряно около тридцати миллионов человек.

Вызвал он, говорят, Жукова и спрашивает: «Как же это ты воевал, что такие потери допустил?». А Жуков ему отвечает: «Как вы приказали, так я и воевал. Вы же сами сказали, что эта война должна стать завершением процесса коллективизации. И гениально предвидели, что потери будут такими же». «Но в коллективизацию, — возразил вождь, — мы потеряли всего пятнадцать миллионов человек. А тут вдвое больше! Как же это произошло?». А маршал Жуков ему и отвечает: «В коллективизацию нам никто не помогал. Сами старались. Потому всего пятнадцать миллионов и получилось. А тут нам Гитлер как помог! Вот на такой показатель и вышли!»

От такой наглости у товарища Сталина чуть инфаркт не случился. Очухался вождь и немед-

ленно приказал произвести на даче у Жукова обыск.

Лукич посмотрел на меня внимательно. Похоже, что-то там соображал. Потом махнул рукой и выпалил:

— Я в этом обыске участвовал. Мать честная! Чего мы там только ни нашли! Золотых часов одних штук тридцать. Целые завалы колец, кулонов, золотых цепочек, пригоршни серег с бриллиантами. Серебряных вилок и ложек семьсот пятьдесят штук, триста тридцать чернобурых лиц, три километра мануфактуры, сорок огромных ковров, шестьдесят картин в золоченых рамах, драгоценные сервизы примерно на тысячу предметов и даже, как сейчас помню, семь аккордеонов с художественной выделкой. Всего и не упомнишь!

Когда товарищу Сталину об этом доложили, он усмехнулся и сказал: «Потому он столько людей и угробил, чтобы ни с кем делиться не пришлось». И отправил Жукова в Свердловск, где тот с горя женился. А весь штаб его приказал посадить за перерожденчество, поскольку у всех штабных на дачах, если и было чуть поменьше наворованного, чем у их начальника, то не на много.

Помнится, допрашивал я одного генерала из окружения Жукова. Спрашиваю: «Шестьсот серебряных ложек, вилок и других столовых предметов вы также украли?».

«Да, украл», — отвечает.

«Зачем?» — искренне удивляюсь я, — можно подумать, что к вам ходили сотни гостей. Зачем

вы наворовали столько столовых приборов? А четыреста пар женских чулок, восемьдесят пар обуви, триста предметов одежды? Вы, что, торговать собирались всей этой добычей?».— продолжал я допытываться, искренне пытаюсь понять их мотивы. «Торговать я, конечно, не соби-рался,— признавался генерал, но все это наворо-вал частично сам при активном участии жены».

Вот такой это был народец. Жуков и в Сверд-ловске отличился, когда погнал солдат в одних гимнастерках через эпицентр ядерного взрыва. Из сорока тысяч человек через пять лет в живых осталось пять тысяч, а еще через пять — одна тысяча. А всем им во время испытания было в среднем по двадцать пять лет.

Ты понимаешь теперь, почему Ленин в зону сбежал? Он сбежал от психологии этих людей: пусть рушится мир, но у меня чтоб было семьсот серебряных ложек! Правда, самого Ильича в дру-гую сторону зашкаливало — пусть ни у кого ни-чего не будет! Только у меня! Это и есть основы ленинизма. Основы сталинизма другие — каждо-му по фуфайке, ложке и пайке. И не думай, что это началось только после войны. Тон этому все-му первыми задали еще Дзержинский и Дыбенко. Тот с девками не желал спать иначе, чем на пос-тели князя Юсупова. Сам-то Ленин больше лю-бил аккредитивы на предъявителя.

Когда еще они спорили по формуле социализ-ма «от каждого по способностям, каждому по потребностям», Дзержинский разъяснял товари-щам, что они вульгарно понимают понятия «спо-собность» и «потребность».

«Способность»,— учил товарищ Дзержинский,— это индивидуальное государственное задание каждому работнику, проверка выполнения которого возлагается на государство. Для этой цели надо создать специальные комиссии в составе трех человек». «А “потребность”,— вторил ему товарищ Дыбенко,— это оформленный органом социальной защиты перечень продуктов, одежды и прочих благ, который государство гарантирует каждому, при условии реализации способностей». Вот так-то.

— Лукич,— вступил я в монолог ветерана,— получается что-то вроде двух трибуналов: пока ты на воле — о твоих способностях судят партком, администрация и профком; если ты под следствием — твою судьбу, а по терминологии Дыбенко — твои потребности,— решает судебная тройка! Гениально.

— В том-то и дело, что гениально. Просто разное понимание смысла простых слов дает такой эффект: руководство присвоило себе право определять и способности, и потребности своих граждан, а граждане всю жизнь борются за уменьшение своих способностей и преувеличение своих потребностей.

— Да это же целая философия наоборот! — воскликнул я.— Лукич, да ты, я смотрю, прямо корень проблемы — почему мы не хотим нормально работать — ухватил.

— Ничего тут нового я не открыл. Это философия природы, если хочешь знать. По этим законам все хотят жить, но не у всех получается.

Руководителям нашей страны была предоставлена прекрасная возможность поэкспериментировать на территории, заселенной двумя сотнями миллионов подопытных единиц. Но руководство, теперь всем понятно, оказалось не на высоте. Слишком много было отдельных недостатков у отдельных руководителей. В общем, у всех были свои недостатки. А народ они не то что людьми, даже просто млекопитающими не считали. Что-то вроде управляемых тараканов, которых можно давить по любому поводу и просто так. Иногда на зло какому-нибудь оппоненту из ЦК партии. Не сделали, как я просил,— вот вам, пожалуйста, двадцать тысяч умерло от голода, утонуло в болоте, подорвалось на минах, сгорело на каких-нибудь полигонах.

А когда надо, то не двадцать тысяч, а двадцать миллионов. Если бы, конечно, сталинский план захвата всего мира удался, то в этом был бы хоть какой-то смысл. Но после крушения плана все эти штучки только загнали страну в самое дремучее средневековье с двумя ядерными бомбами, купленными у американцев.

К чему я тебе все это рассказываю? Чтобы тебе яснее стало все последующее.

В этой истории есть еще один герой. Это главнокомандующий Советским Военно-Морским Флотом адмирал Кузнецов Николай Герасимович. Но о нем я расскажу позднее.

Значит, еду я на «шевроле», смотрю, куда меня везут. Сначала думал — на Лубянку, во внутреннюю тюрьму. Гляжу — нет, в другую сторону.

Охнуть не успел, мы уже в Спасские ворота проехали. Охрана даже на остановила, а, напротив, все взяли под козырек. Ясно, что приветствовали не меня, а знатную машину, в которой я восседал.

Подкатываем к дому правительства. Шофер дверцу открывает и говорит:

«Пожалуйста, товарищ полковник. В этот подъезд. Там вас ждут».

Открыл я массивную дверь с надписью «От себя» на медной табличке и очутился в просторном холле со стандартной красной дорожкой № 7, бегущей по мраморному полу к мраморным ступеням двухмаршевой лестницы.

В холле нервно ходит взад-вперед какой-то тип в двубортном костюме и галстуке.

— Почему опаздываете? — нервно взвизгнул он при виде меня,— вас же предупредили, что... Вам же приказали... Вы хотите, чтобы...

Я не успел ему даже ответить, что никто меня ни о чем не предупреждал и ничего мне не приказывал, как он схватил меня за рукав и потащил, но не вверх по лестнице, а в какую-то дверь сбоку и запихнул в огромную кабину лифта.

— На лифте придется ехать,— тяжело дыша, с укором произнес он,— а нам с вами не положено... Если заметят, то...

Его умение не договаривать предложения было просто замечательным. Лифт остановился, поднявшись на два этажа, и мы снова оказались в длинном коридоре, где за столиком с телефоном сидел подполковник МГБ при портупее и пистолете.

— Со мной, со мной,— быстро прокричал

сопровождающий и почти побежал по коридору, увлекая меня за собой.

Мы остановились у большой двустворчатой двери из мореного дуба. В этот момент висевшие на стене часы дрогнули минутной стрелкой, показывая ровно шесть часов вечера. Сопровождавший меня тип со вздохом облегчения вытер пот со лба, пригладил волосы, одернул пиджак и прохрипел:

— Успели, а то...

— Ты кто, бедолага? — поинтересовался я.

— Старший референт, — не без гордости сообщил он и добавил: — Подождите здесь.

Референт пощупал стенку, глянул на меня воровским взглядом и нажал какую-то почти невидимую кнопку рядом с дверью. Одна створка дверей открылась, вернее приоткрылась, и поглотила старшего референта.

Я не успел даже толком оглядеться в коридоре, как бедолага появился снова и почти пропел:

— Следуйте за мной.

«Подождите здесь» и «следуйте за мной» были единственными фразами, которые он договаривал до конца.

Мы прошли через небольшую приемную, которая, как я узнал позднее, официально называлась «помещением дежурных референтов». Один из референтов сидел, что говорится, на дверях. Он был в наушниках, через которые слушал звонки в дверь и при необходимости ее открывал. Второй референт откровенно бездельничал, разгадывая кроссворд в журнале «Огонек». Что касается старшего референта, видимо начальника

смены, то он провел меня через это помещение, подвел к другим, гораздо менее представительным дверям и, посторонившись, сказал:

— Проходите.

— А вы? — спросил я, остановившись перед дверью.

— Мне не положено,— честно признался он.

2

Первое, что бросилось мне в глаза, когда я вошел в ярко освещенное помещение, это чудовищных размеров телевизор, стоявший в дальнем углу. Таких огромных телевизоров мне и нынче не приходилось видеть, и я до сих пор не знаю, откуда он мог взяться тогда, в 1955-м году. Рядом с телевизором стоял стол, на котором теснилось целое стадо телефонов.

Глянув по сторонам, я увидел несколько огромных кожаных кресел и такой же диван. Кресла были настолько большими, что я не сразу разглядел, кто в них сидит, а вернее утопает.

Однако, приглядевшись, я узнал обоих. В одном кресле, что находилось справа от меня, сидел министр госбезопасности Семен Игнатьев, а в том, что слева, новый председатель Совета Министров СССР Николай Булганин. Став премьером, он снял свой маршальский мундир и переоделся в гражданский костюм. Поэтому я его не сразу узнал. Он даже в военной форме выглядел таким добрым дедушкой-академиком, а уж в штатском — и говорить нечего! Суперинтеллигент! Даже трудно было себе представить, что

именно он бил в камере сапогами по лицу академика Вознесенского, который не желал сознаться в покушении на убийство товарища Сталина с помощью своих предательских экономических концепций.

Я остановился в некотором замешательстве, поскольку не знал, что, как и кому я должен докладывать. Поэтому, обращаясь в пространство между креслами, я голосом вымуштрованного дворецкого объявил:

— Прибыл по вашему приказанию.

Тут Игнатьев встал с кресла, пошел ко мне навстречу, пожал руку и говорит:

— Здравствуйте, Василий Лукич. Много слышал о вас и очень сожалею, что раньше не пришлось с вами лично познакомиться. Проходите, садитесь вот в это кресло, что напротив нас.

Булганин тоже руку мне протянул. И даже чуть привстал:

— Очень приятно,— говорит,— познакомиться с человеком, который работал с самим Ильичем.

Сел я в кресло. Жду, что будет дальше. Оба молчат, но с интересом меня рассматривают. Тут в помещении появляется мой старый знакомый — старший референт — и ставит перед Булганиным стакан теплого молока. И так же незаметно исчезает.

— Василий Лукич,— прерывает молчание Игнатьев,— в наше непростое время очень мало осталось людей, которым руководители партии и правительства могли бы полностью доверять, не ставя при этом под угрозу в равной степени интересы партии и собственную безопасность.

Вас рекомендовали как человека, умеющего хранить государственные тайны. Откровенно говоря, мне достаточно уже самого того факта, что вы достаточно долго работали с Владимиром Ильичем Лениным.

Я молчал, недоумевая, кто это мог меня рекомендовать им в такое время.

— Случилось большое несчастье,— продолжал Игнатьев, настороженно глядя почему-то не на меня, а на Булганина.

Тот чуть заметно кивнул бородкой.

Я, было, подумал, что сегодня неожиданно скончался какой-нибудь из новых членов Политбюро и с готовностью придал своему лицу скорбное выражение.

— В Севастополе,— понизив голос, объявил Игнатьев,— взорвался и затонул «Новороссийск». Есть человеческие жертвы.

Поначалу я даже не понял, о чем идет речь.

— Взорвался и затонул Новороссийск? В Севастополе? Землетрясение? Почему в Севастополе? Ведь Новороссийск — на Кавказе.

Я посмотрел на Булганина, но он только согласно кивал бородкой, потом повернулся к Игнатьеву.

— Линкор «Новороссийск» взорвался в бухте Севастополя,— повторил министр.

— Линкор? — переспросил я,— в Севастополе?

— Да,— мягким голосом подтвердил Булганин, грустно улыбаясь,— линкор в Севастополе с человеческими жертвами.

— Диверсия? — догадался я.

— Очень похоже,— кивнул головой министр

безопасности,— дерзкая диверсия первой категории. С человеческими жертвами.

Надо сказать, я очень слабо разбирался, что такое линкор и чем он отличается, скажем, от крейсера. Флотом я в жизни никогда не занимался, а все мои познания ограничивались видом речных трамвайчиков, снующих по Москва-реке.

Поэтому я осторожно поинтересовался, чем могу быть полезен или, говоря проще, как я могу оправдать оказанное мне доверие?

— Мы хотим,— тем же мягким голосом сообщил Булганин,— чтобы именно вы расследовали все обстоятельства этой трагедии.

— Один, — недоуменно спросил я,— или в составе какой-нибудь комиссии? Тут нужна комиссия. Думаю, что даже не одна.

— Государственная комиссия уже формируется.— пояснил Булганин.— Создается также комиссия от военно-морского флота. Они будут делать свое дело в известных рамках, ограничиваясь чисто техническими вопросами. От вас мы ждем самостоятельного независимого расследования. Нам надо знать, кто это сделал.

— Но тут нужна целая бригада от госбезопасности, которая должна работать во взаимодействии с Особым отделом флота,— возразил я премьеру, повернулся к министру госбезопасности и вопросительно посмотрел на него.

Игнатьев жестом предложил мне продолжить разговор с Булганиным.

Я снова повернулся к премьеру и продолжил, но уже в другом направлении:

— Я хочу поставить вас в известность, товарищ

Председатель Совета Министров, что я фактически уже не служу в органах госбезопасности, поскольку выведен в резерв и работаю лектором в обществе «Знание».

— Мы вас понимаем,— прервал меня Игнатьев,— но и вы тоже поймите, что принадлежность к органам и доверие партии и правительства — не обязательно сопутствуют друг другу. Конечно, органы тоже примут участие в расследовании. Бригада от МГБ уже создана...

Министр тяжело вздохнул и продолжил:

— Но я боюсь, что ей удастся узнать немного. Этот взрыв, что совершенно ясно, будет стоить мне моей должности. Я фактически уже не министр государственной безопасности. Меня заменяют генералом Серовым.

— Начальником ГРУ? — спросил я, несколько удивившись выбору претендента на столь специфическую должность.

— Представьте себе,— развел пухлыми ладошками Булганин,— все спецслужбы страны попадают под единое начало, как при Ежове.— Он поморщился с таким видом, как будто не от него, в частности, зависел выбор кандидата на должность главного стража государственной безопасности.

«Да,— подумал я,— теперь Абакумову конец. Серов сведет с ним старые счеты». Но вслух сказал:

— Я никогда не занимался военными вопросами. Тем более — флотскими. Кроме того, если уж созданы государственная, военно-морская комиссия и комиссия государственной безопасности, то в какую из этих комиссий я должен войти?

— Ни в какую,— ответил Булганин,— специально под вас будет якобы сформирована Чрезвычайная Комиссия Президиума ЦК, а вы будете якобы ее чрезвычайным и полномочным представителем с гигантскими правами.

От слов «Чрезвычайная Комиссия» на меня повеяло теплым ветром романтической революционной юности с возбуждающими порывами, пропитанными пороховыми газами. Чекисты имели огромные права вплоть до расстрела на месте. Я хотел спросить, будут ли у меня такие права, но Игнатьев, видимо, прочитав мои мысли, сказал:

— Вы будете иметь самые обширные полномочия. Вам будут обязаны оказывать содействие все партийные, советские и административные органы. В случае надобности кого-нибудь допросить вы можете рассчитывать на полное содействие местного органа МВД и прокуратуры. Вам выдадут специальное удостоверение.

«Хорошенькие дела,— подумал я,— «гигантские полномочия», а чтобы кого-нибудь допросить, надо обращаться за содействием в милицию или, извините за выражение — в прокуратуру». А вслух поинтересовался:

— А могу я также рассчитывать на содействие местных органов госбезопасности и флотской контрразведки?

Игнатьев вздохнул, а Булганин отвел глаза. Мой вопрос был принципиальный, поэтому я молчал и спокойно ждал реакции.

— В принципе — да,— помявшись, ответил министр госбезопасности,— но нам бы хотелось,

чтобы вы вели свою работу независимо от контрразведки, поскольку у тамошних товарищей уже есть версия и она может оказать на вас сильное влияние.

— И какова эта версия? — осмелился поинтересоваться я, хотя совсем не должен был это делать. Их версию я, так или иначе, но узнал бы.

— Товарищи считают,— прокашлялся Игнатьев,— что это сделали итальянцы.

Лукич неожиданно рассмеялся и замолчал. Я тоже молчал, не понимая, что вызвало смех ветерана.

— Лукич,— прервал я затянувшуюся паузу,— что смешного ты сказал?

— Тебе это сейчас трудно понять, но если бы ты знал, что означало слово «итальянцы» на языке Игнатьева в конце сороковых годов, ты бы, может, тоже смеялся.

Дело в том, что одно время, как раз в процессе «дела врачей», которое вел Игнатьев, «итальянцами» и «французами» на рабочем сленге чекистов называли евреев. Например, звонит куратор от МГБ на какое-нибудь предприятие и дает указание кадровику: «Иван Иванович, чтобы у тебя к первому числу ни одного итальянца не было. Ты меня понял?». А кадровик бодро рапортует: «Зря беспокоишься,— у нас уже давно с жидами все в порядке». Так что я подумал, что потонувший линкор снова хотят подвесить на евреев и ихние козни. А потому спросил:

— Какие еще итальянцы? Заходим на второй круг?

— Как так какие итальянцы? — недоуменно переспросил Игнатъев, — ну, итальянцы, которые в Италии живут... Италия — страна такая есть. Знаете?

— Знаю, — отвечаю я, — форму сапога имеет. Так это вы о них?

— Ну, конечно, — усмехается Игнатъев, — а вы на кого подумали, Василий Лукич? Нет-нет, сейчас речь идет о настоящих итальянцах, которые были гитлеровскими союзниками в годы войны. Вы поняли?

— Нет, — честно говорю я, — чего-то недопонял, товарищ министр. итальянцы-то тут причем?

— Корабль-то итальянский, — отвечает министр, — вот они его решили и того — понимаете?

— Нет, — признаюсь я, — извините, не понимаю ничего... Чей корабль-то. Наш или итальянский?

— Был когда-то итальянским, — мягко поясняет Булганин, — а после войны стал нашим. В качестве трофея. Итальянцы обиделись и решили его... Сами понимаете!

— А как они попали в Севастополь? — спрашиваю я, — через ЦРУ?

— Это как раз то, что вы и должны выяснить, — скромно улыбается Булганин, — мы хотим, чтобы именно вы это и выяснили. Как они попали в Севастополь? Кто их туда допустил? Вы понимаете, уважаемый Василий Лукич?

Я, правда, опять же ничего не понял, но набрался храбрости и говорю:

— Товарищ председатель Совета Министров, товарищ министр, я понимаю, какое доверие мне

оказывается, но хочу взять, как говорится, самоотвод в связи с полной некомпетентностью в данных вопросах. Я половину своей службы в ГУЛАГе проработал и военных проблем не касался.

— Но диверсию на МЗМ вы же блестяще расследовали,— напоминает Игнатъев, — и, насколько помнится, даже были представлены за это к ордену Красной Звезды.

Действительно, в 1946-м году я занимался историей с МЗМ. МЗМ — это аббревиатура слов «Мы за Мир». Так называлась огромная пушка, которую «зеки» собирали в сибирской тайге на страх всем врагам СССР. Калибр этой пушки составлял три с половиной метра, а длина ствола была семь километров. Создавала эту пушку одна артиллерийская «шарага» с 1935-го года. В теории получалось, что эта мортира должна достать до любой точки земного шара. Сначала ее предполагали нацелить на Берлин, потом — на Хельсинки, Токио, а после войны уже твердо решили навести на Вашингтон. Снаряд весил сто тонн. Скорострельность была определена примерно один выстрел в час.

Против создания такой «дурь» возражал известный конструктор Королев, уверяя, что наступает век ракет, и создавать такие артиллерийские монстры — пустая трата денег. Его посадили как саботажника, а работы продолжались. Сначала про эту гигантскую стройку пронюхала немецкая разведка, а потом английская и американская. Но благодаря принятым мерам по дезинформации противника те решили, что через эту местность ведут нефтепровод, и успокоились.

Летом 1946-го года пушка МЗМ — это официальная маркировка — Мортира Запредельной Мощности, а «Мы за Мир» — устное творчество, за которое полагался срок, была готова к испытаниям. Мортиру развернули в сторону Ледовитого океана так, чтобы снаряд угодил прямо в Северный полюс.

Из Москвы понаехало множество разных комиссий, и все дело было на контроле у самого товарища Сталина. Засунули в пушку снаряд, а затем — гигантские картузы с порохом. С помощью электроразряда порох подожгли. И тут случилось непредвиденное. Снаряд проехал по стволу километров пять, а на шестом километре остановился. И ни туда, и ни сюда. Что делать?

Замок открывать страшно — а вдруг рванет, если не полное сгорание пороха произошло? Ждали, ждали, — делать нечего, решили «зеков» послать замок открывать, пообещав им скосить треть срока. Председатель приемной комиссии умер от инфаркта прямо на месте.

Пока думали-гадали, снаряд прямо в стволе и рванул. Километра три ствола отвалилось и ухнуло в болото. На киноплёнке я это видел.

Следствие показало, что в большинстве пороховых картузов был не порох, а цемент, в некоторых же — макароны. Порох оказался только в пятой части картузов, в остальных — цемент или макароны.

Товарищ Сталин тогда страшно разгневался. Артиллерийская «шарага» была переведена на нормированную пайку хлеба, а у старших научных сотрудников отняли горячее блюдо на ужин.

Но кто подменил порох на цемент и макароны, так и не выяснили толком, хотя посадили человек пятьсот. Сталин лично топтал сапогами Дмитрия Устинова, который был ответственным от ВПК ЦК за этот проект. Но потом простил. Товарищ Сталин был вообще очень отходчивым.

Остатки этой мортиры долго валялись на том полигоне, а потом потихоньку, уже после убийства Сталина, обе половинки огромного ствола загнали в Ирак, поскольку там тоже захотели сделать такую мортиру, чтобы сперва пострелять по Тель-Авиву, а потом по Вашингтону.

Я принимал участие в расследовании, выясняя, на какой фабрике делали макароны, которые запихали в зарядные картузы. Директора фабрики, помнится, сняли с должности и дали выговор по партийной линии без занесения. За что, правда, не помню.

Слова Булганина, что я «блестяще расследовал» дело о мортире «Мы за Мир», для меня прозвучали несколько странно, что он, видимо, и почувствовал по выражению моего лица. Поэтому и пояснил:

— Это ведь вы обнаружили, что ствол орудия был подпилен врагами в ходе монтажа?

Я ничего такого никогда не обнаруживал, но не стал отказываться и спросил:

— Вы считаете, что и в случае с линкором кто-то чего-то там подпилит?

Булганин опять же загадочно улыбнулся и ответил:

— Они все пилят сук, на котором сидят, но не понимают этого.

— Вы имеете в виду итальянцев, товарищ маршал Советского Союза? — осторожно заинтересовался я.

— И итальянцев в том числе,— кивнул головой Булганин.

— С итальянцами вы там поосторожнее, Василий Лукич,— вмешался Игнатьев, — вы как бы ничего не знаете. А то пойдут разговоры, может быть дипломатический скандал или новое обвинение в антисемитизме. Сейчас со всем этим строго. Никита Сергеевич всех собирал и лично инструктировал.

При упоминании имени Хрущева Булганин сморщился, как от зубной боли, и сказал:

— Товарищи, не будем отвлекаться.

И посмотрел на меня, как бы завершая разговор:

— Василий Лукич, вам понятна ваша задача?

— В общих чертах,— признался я,— а кому мне докладывать о результатах и выводах?

— Никому,— хором ответили оба государственных деятеля,— никому не докладывайте ничего, Василий Лукич.

— Интересно,— протянул я,— такого в моей практике еще не было. Для чего же я должен вести это расследование, если никому ничего не докладывать? Извините, товарищи, не понимаю.

— Во-первых,— терпеливо разъяснил Игнатьев,— я последние дни занимаю свою должность, а возможно, и часы. Не исключено, что я уже снят с должности, и наша беседа носит почти частный характер. Что касается глубокоуважаемого Николая Александровича,— он кивнул в сторону

Булганина,— то он примерно в таком же положении. Поэтому, чем бы ни кончилось ваше расследование, вы уже нам ничего доложить не сможете. В качестве частного лица я совершенно не желаю выслушивать подобные вещи. Я думаю, что товарищ Булганин — тоже. Поэтому, если вам так уж захочется обо всем этом кому-нибудь доложить, то вам придется докладывать генералу Серову.

— Или маршалу Жукову,— с печальной улыбкой добавил Булганин.

— Или никому,— подвел итог Игнатъев,— полностью на ваше усмотрение.

— Вы будете работать в данном случае не на руководство,— ласково пояснил Булганин,— а на историю. Вы понимаете, Василий Лукич? А историю, Василий Лукич, не обмануть. Она сама подскажет кому, как и когда доложить о полученных результатах. Может быть, даже после вашей смерти.

Тут уж я перепугался, что меня опять втаскивают в какую-то мистическую головоломку, где я должен буду после собственной смерти кому-то чего-то доказывать. И я решил перевести разговор в более практическое русло.

— В любом случае,— сказал я,— мне прежде чем браться за дело, нужно немного познакомиться с проблемой, почитать какие-то документы. Вы можете их мне предоставить?

— Это, пожалуйста,— закивал головой Игнатъев,— мы вам дадим необходимые документы и даже консультанта, который быстро введет вас в курс дела.

Почему я не отказался? Посмотрел бы я на кого-нибудь, кто бы отказался, принимая задание от главы правительства и министра госбезопасности. Вы сейчас не понимаете какая власть была у этих людей. Меня могли пристрелить прямо в этом большом кожаном кресле. А могли и в помещении референтов или в коридоре. Им было без разницы.

Когда референт вел меня обратно, сидящий за столиком дежурный подполковник при виде моего сопровождающего кинул:

— Проводишь товарища, объяснительную мне напишешь.

— Понял,— пунцово покраснел старший референт.

— За что объяснительную? — поинтересовался я, когда мы спустились в холл.

— За пользование лифтом,— объяснил старший референт,— нам не положено лифтом пользоваться, но если бы мы опоздали, у меня еще хуже могли бы быть неприятности. А так у меня есть негласное разрешение пользоваться лифтом в крайних случаях.

— Весело живете! — сказал я на прощание.

У нас на Лубянке лифтами даже майоры пользовались.

3

В наших кругах в свое время был популярен такой анекдот.

На судебном процессе, где судят закоренелого убийцу, защитник за неимением других доводов

просит суд учесть, что его подзащитный круглый сирота. При этом защитник не упоминает, что подсудимый стал круглым сиротой, поскольку убил собственных родителей. За что именно его и судят.

Я попал примерно в положение этого самого адвоката, поскольку мне с первых слов стало ясно, что меня пригласили для расследования только с одной целью: Булганин и Игнатьев надеялись, что полученные мною результаты помогут им сохранить или вернуть их высокие должности, которые они занимали в партийно-государственной номенклатуре.

Примерно неделю я входил в курс дела с помощью документов и консультанта, откомандированного из какой-то кремлевской структуры, а может, и из ГРУ. Впрочем меня это не очень интересовало, а задавать консультанту какие-либо вопросы было запрещено. Я даже не знал, как его зовут. Он представился невнятно, а я не переспрашивал. Мне кажется, что он был уверен в том, что меня собираются забросить в тыл к какому-нибудь из наших многочисленных противников.

Референт был очень удивлен, что нас не отделяет ширма, поскольку он не имеет права видеть мое лицо. Я пообещал ему в следующий раз прийти в парандже, но от ширмы категорически отказался.

Несмотря на некоторые странности, которые неизбежны у людей, прослуживших длительное время в системе той или иной спецслужбы, мой консультант дело свое знал хорошо. Читал он

мне лекции целую неделю. Вопросов я не задавал. Задавать вопросы порой сложнее, нежели на них отвечать. Чтобы задавать вопросы, нужно тему очень хорошо знать. А я ее совсем не знал. Потому только слушал и запоминал. Что-либо записывать было запрещено, но память у меня хорошая, что отмечалось во всех моих служебных характеристиках и аттестациях. Лекции продолжались по четыре часа ежедневно.

Узнал я из них следующее.

Оказывается наш флот, как и все в нашей стране, гнулся и конвульсировал вместе с генеральной линией партии. После окончания гражданской войны флота у нас практически не осталось. Все флотские специалисты, то есть офицеры, были объявлены чуждыми и враждебными элементами, весьма далекими от нужд и чаяний мирового пролетариата. Ильич, со свойственной ему гениальностью, твердо считал, что флот первому в мире государству рабочих и крестьян не нужен вообще и предлагал заменить его морскими частями ВЧК-ГПУ. Поэтому флот стали резать, а бывших царских морских офицеров сажать и расстреливать. Впрочем, расстреливать их начали еще в 1917 году, а в 1918 набили три баржи бывшими адмиралами и капитанами и утопили в Финском заливе. На Черном море поступали еще более круто — сжигали офицеров в корабельных топках. Тех офицеров, которые решили остаться на Родине и не сбежали за границу, примерно к началу тридцатых годов уничтожили как класс вместе с буржуазией и дворянством.

Когда же Ленин разочаровался в своих идеалах и отправился вместе со мной в зону, чтобы заново переписать все пятьдесят томов своих бессмертных произведений, многие из предначертаний вождя мирового пролетариата были либо забыты, либо извращены.

Наибольшим извращением как раз и подверглись все заветы Ильича, связанные с будущим нашего флота, поскольку после Кронштадтского мятежа вождь мирового пролетариата не видел для флота никакого будущего, кроме превращения его в металлолом. При этом предполагалось всех офицеров уничтожить, а матросов разогнать по концлагерям. А уж если Ленин чего задумывал, то делал обязательно. Правда, как и на всех других участках, ему не удавалось довести дело до полного уничтожения. «До основанья, а затем...» Остались какие-то ржавые корабли и кучка перепуганных бывших офицеров, ежедневно ожидающих ареста или расстрела.

Однако товарищ Сталин думал по этому поводу совсем иначе, чем товарищ Ленин. Более того, он был твердо убежден, что без флота нашей стране также невозможно прожить, как и без «Краткого курса ВКП(б)». Поэтому великий вождь решил не только возродить флот, но и сделать его самым мощным флотом в мире, чтобы он был в состоянии сражаться сразу с флотами Англии, Германии, Франции, Японии и Соединенных Штатов Америки, громя их по очереди и всех вместе.

Больше всего на свете товарищ Сталин любил линейные корабли, которые, по его мнению, лучше

любого аргумента поднимают престиж страны победившего пролетариата. И, хотя денег в казне не было, товарищ Сталин приказал строить огромные линкоры в количестве более тридцати штук, скромно указав: «По копейке соберем, но построим».

К сожалению, враги народа пытались сорвать и это начинание товарища Сталина, как и все другие. К этому времени подросла свежая поросль морских офицеров, закончивших училища уже при советской власти, что делало существование остатков царских морских специалистов совершеннейшим абсурдом. О чем товарищ Сталин с мягким укором заметил еще Генриху Ягоде. Появились и новые адмиралы, главным образом из недобитых старорежимных мичманов и матросов-выскочек.

Грамотными они были не шибко, но голову товарищу Сталину умели морочить, как никто. Дело в том, что среди них были сторонники двух направлений: океанского флота — для завоевания господства в мировом океане и флота прибрежного действия — для обороны собственных берегов.

Они настолько задурили голову вождю всех народов, что он принял единственное, с моей точки зрения, правильное решение — расстрелять и тех, и других, а наркомом ВМФ назначил наконец-то человека из нашего ведомства, т.е. из НКВД. Им стал заместитель Ежова — Фриновский — профессиональный чекист еще со времен товарища Дзержинского. Фриновский свое назначение понял правильно и стал с одинаковой

энергией сажать и расстреливать новых и старых морских офицеров как совершенно ненужный и опасный для строительства социализма элемент.

В разгар его деятельности неожиданно повесился Ежов, а на следующий день расстреляли и самого Фриновского. Так что флот снова осиротел.

Но, что было хорошего в тогдашнем флоте,— это постоянно открывающиеся новые вакансии. Каждый день кого-нибудь расстреливали или сажали, а потому, несмотря на известный риск, перспективы для роста были самые радужные.

Благодаря кипучей деятельности Фриновского вчерашние лейтенанты стали адмиралами и с замиранием сердца ждали, когда придет их очередь быть расстрелянными или отправленными в лагерь.

И тогда с подачи товарища Жданова товарищ Сталин назначил новым наркомом военноморского флота адмирала Кузнецова.

На флоте царила обстановка знаменитой «Русской рулетки». Никто не знал, где он завтра проснется — в камере смертников, в бараке какой-нибудь зоны или в адмиралтейском салоне, а то и в кабинете наркомата.

Сам Кузнецов был простым поморским парнем, из крестьян. Мечтая стать военным моряком, он даже и в мыслях никогда не видел себя выше командира корабля. Эта должность была вершиной его мечтаний. Но благодаря «Сталинской рулетке» он стал наркомом.

Сдается мне, что никогда шарик рулетки не попадал так точно в нужное место. Правильно

сказал как-то Ильич: «Все наши планы говно, главное — подбор кадров». И товарищ Сталин неоднократно указывал, что «кадры решают все».

В этом отношении адмирал Кузнецов был подлинной находкой. Прежде всего он поразил всех членов Президиума ЦК своей смелостью, когда начал публично объяснять товарищу Сталину, чем, собственно, флот отличается от пехоты. Говорят, что товарищ Калинин даже штаны замочил от страха, а товарищ Берия постоянно ждал сигнала от товарища Сталина: сразу брать нового наркома или погодить.

Но Сталин терпеливо слушал, посасывая трубку. Дело происходило в 1939 году, когда великий вождь собирался праздновать свое шестидесятилетие, а международная обстановка складывалась таким образом, что позволяла быстро и без особых хлопот осуществить задуманный им план захвата Европы. Потому товарищ Сталин был благодушен и благосклонен.

А между тем адмирал Кузнецов объяснял вождю, что в пехоте каждый унтер или вахмистр, ставший неожиданно командиром или комкором и даже наркомом обороны, имеет шансы проявить себя самородком-полководцем, если имеет зычный голос или раздвоенный подбородок. Адмирал, естественно, не называл никаких фамилий, но всем и так было ясно, о ком идет речь. Товарищ Сталин даже улыбнулся, и все вокруг подхалимски захихикали.

На флоте же, продолжал объяснять Кузнецов, такие вещи не проходят. Пропажа любого штурмана, артиллериста или механика не может быть

компенсирована путем производства в офицеры боцманов, старшин и матросов, ибо подготовка флотского специалиста занимает от трех до шести лет. Поэтому, если в армии посаженного генерала может без особого ущерба заменить его денщик, то на флоте даже старший помощник не может заменить пропавшего командира. Не говоря уже о других.

«А потому,— подвел итог новый нарком,— прежде чем принять столь высокую должность, он просит товарища Сталина освободить из лагерей всех находящихся там морских офицеров и впредь воздержаться от их массового истребления. Иначе он, Кузнецов, не сможет оправдать столь высокого доверия и не примет должность наркома, даже если его самого немедленно расстреляют».

«Ви нас только не пугайте, товарищ Кузнецов,— сказал тогда товарищ Сталин,— когда заслужите, тогда мы вас и расстреляем. Может быть, даже раньше. А пока идите и работайте».

Но сказанное адмиралом проняло товарища Сталина и он повелел, чтобы моряков, независимо от статьи, из лагерей повыпускали и направили обратно на флот. А впредь товарищ Сталин приказал моряков не сажать, какие бы обвинения против них ни выдвигались.

«Моряк,— указал вождь,— врагом народа быть не может».

Я помню сам этот циркуляр. После этого каких бы доносов на моряков ни писали, органы не реагировали. Или, скажем, ловили террориста, и он, благодаря искусству следователя, быстро

называл фамилии членов своей террористической организации в составе, допустим, восьмисот человек. Всех брали по списку, но, если среди них оказывались офицеры флота, их тут же отпускали с извинениями, а дальнейшие показания на них даже не заносили в протокол.

Вот каков был наш товарищ Сталин!

Консультант рассказал мне даже еще более интересный случай. До войны некий капитан 1-го ранга Горшков посадил по халатности на рифы новейший эсминец под названием «Решительный», построенный на народные копейки.

Товарищ Сталин, когда об этом узнал, страшно расстроился и, как любой бы другой на его месте, приказал этого самого Горшкова расстрелять как врага народа, вредителя и диверсанта, завербованного японской разведкой.

Тут к нему пробился адмирал Кузнецов и начал: «Товарищ Сталин, вы же мне обещали!»

«Чито я тыбе обыщал?— спрашивает товарищ Сталин.— Чиво ты ерычишь так?»

«Это же командир корабля! — кричит Кузнецов.— Вы знаете, товарищ Сталин, сколько нужно лет, чтобы подготовить командира корабля?»

«А если он будет у меня каждый день корабль гробить,— спрашивает товарищ Сталин,— тогда что?»

«Больше не будет он кораблей гробить! — обещает адмирал.— Не допущу его больше до командования кораблем».

Отходчивый был товарищ Сталин.

«Ладно,— говорит,— нэ будем его расстреливать. Сам накажи!»

Кузнецов обрадовался и сделал Горшкова в итоге своим заместителем, а чтобы тому больше не повадно было эсминцы гробить, произвел его в контр-адмиралы. Товарищ Сталин посмеялся, но утвердил и сказал Лаврентию Павловичу:

«На Западе говорят, что у нас нет демократии. А пусть они у себя такой случай найдут. Человек корабль на камни посадил, а мы его за это в адмиралы произвели! Это и есть сущность демократического централизма!»

Тут и война началась. Линкоры, о которых так мечтал товарищ Сталин, остались недостроенными. Один попал в руки немцев при захвате города Николаева, а два других пришлось самим разобрать из-за острой нехватки стали. Что касается линкоров, доставшихся нам от проклятого царизма, то один из них всю войну простоял в устье Невы, а второй — в Потии под тремя слоями маскировочных сетей.

Линкоры-то были нужны товарищу Сталину для сокрушения Британской империи, но во время войны эта задача так и не была поставлена, и о ней постепенно забыли. Тем более, что Британская империя сама развалилась без помощи каких-либо линкоров.

Более того, не успели в этой войне прозвучать первые боевые выстрелы, как всем стало ясно, что линкоры как основное средство ведения морской войны устарели, став легкой добычей для авиации. Осознав это, все основные морские державы, а в первую очередь США и Англия, дождавшись окончания войны, быстро пустили на металлолом почти все оставшиеся в строю линкоры.

Но не таков был товарищ Сталин. Он остался верен своей первой любви и после войны приказал начать строительство новых кораблей этого типа на страх всем врагам СССР.

А еще в ходе войны он пытался заполучить у наших доблестных союзников парочку линкоров, как говорится, для души. Поскольку практического применения им придумать было трудно. Тем более, что у наших союзников чего-чего, а линкоров было столько, что они без всякого ущерба для себя могли подарить товарищу Сталину не парочку, а целую эскадру.

Но как в народе говорят: «Держи карман шире!»

Сколько товарищ Сталин ни упрасивал Рузвельта и Черчилля, те и слушать ничего не хотели. Американцы под шумок захватывали абсолютное господство в Мировом океане и не желали делать ничего такого, что могло бы ввести товарища Сталина в искушение по поводу срыва их глобальных планов.

Но товарищ Сталин был непревзойденным дипломатом. Ловко играя на англо-американских противоречиях, он в итоге упросил Черчилля одолжить Советскому Союзу какой-нибудь линкор. Тем более, что к этому времени капитулировала Италия, и Советскому Союзу полагалась доля от ее флота. Вот Сталин и просил до получения «итальянской доли» у англичан какой-нибудь завалывшийся линкор.

Черчилль сдался и дал Сталину в долг один линкор, который сами англичане собирались уже пустить не лом. Построен он был еще в первую

мировую войну и с тех пор не прошел ни одного капитального ремонта. До войны руки до него не доходили, а во время войны уже глупо было тратить на него деньги, труд и материалы. Назвали этот линкор «Архангельск» и привели в Мурманск, где он простоял до 1949 года не только без всякой пользы, но даже без движения. А в сорок девятом году крохоборы-англичане потребовали его назад, грозя в противном случае лишить Сталина «итальянской доли».

Линкор им отдали — пусть подавятся. Но что касается «итальянской доли», то тут союзники нас, мягко говоря, надули.

У итальянцев были новейшие линкоры, старые и очень старые. Сталин, конечно, ожидал, что ему отдадут один из новейших. И напрасно! После нудных и долгих переговоров Сталину предложили самый старый из итальянских линкоров «Джулио Чезаре», или по нашему — «Юлий Цезарь». Построен он был еще до первой мировой войны. Правда, где-то в середине тридцатых годов он был капитально отремонтирован и модернизирован. Но, как правильно заметил консультант, модернизировать старые корабли — все равно что делать стареющим кинозвездам пластические операции. Выглядят они неплохо, но о том, что им уже за шестьдесят, знают все и посмеиваются.

После того как итальянцы ввели в строй свои новейшие линкоры, «Джулио Чезаре» был назначен на разборку в металллом, но во время войны на это не было времени, и линкор тихо себе ржавел на каком-то корабельном кладбище.

Оттуда его вытащили наши бывшие доблестные союзники, где-то что-то подкрасили, где-то подварили и — нате вам, пожалуйста! Забирайте, если так уж линкоры любите. Да еще впридачу дали один старый крейсер с совершенно непроизносимым названием и несколько эсминцев.

Приволокли этот линкор в Севастополь. Специалисты его осмотрели и ахнули. Корабль весь прогнил. Ни одна водонепроницаемая переборка не держит воды. Машины в аварийном состоянии. Разных там систем никто не знает, поскольку все планы и чертежи остались в Италии. И в довершение всего выяснилось, что калибр орудий у него таков, какого у нас в стране отродясь не было. А это значит, что и снарядов к нему нет и не предвидится.

Союзники по старым итальянским складам наскребли неполный боекомплект. На всех снарядах клеймо — 1913 год, на картузах с порохом — то же самое. Были картузы и 1909 года. Все сроки хранения боезапаса просрочены в десять-пятнадцать раз. Другими словами, может рвануть каждую следующую секунду, и при этом никто не должен удивляться.

Вывод Морского Технического Комитета был однозначен — корабль к эксплуатации не пригоден. Более того, эксплуатация его опасна во всех отношениях.

Затем встал самый главный вопрос: кто об этом осмелится доложить товарищу Сталину? Это все равно, что построить людей где-нибудь и дать команду: «Кто хочет быть расстрелянным — шаг вперед!».

Конечно, охотников не нашлось. Поэтому линкор «Джулио Чезаре», переименованный у нас в «Новороссийск», продолжал числиться в составе флота и даже в море выходил на какие-то там ученья. Правда, только в тихую погоду.

И все тоже сидели тихо. Тем более, что товарищ Сталин в это время флот совсем не жаловал. После того как он приказал заложить два линейных крейсера (консультант объяснил, что это те же самые линкоры с некоторыми нюансами по скорости хода и бронированию), адмиралы стали недоуменно разводить руками. Нет, они, конечно, ничего не осмеливались говорить, но мимикой, жестикуляцией и положением зрачков явно давали понять, что великий вождь рехнулся. Поскольку все в мире резали линкоры, а товарищ Сталин их строил. Налицо было преклонение перед Западом и навязывание ихней морали нам, чего товарищ Сталин очень не любил. И приказал он всех этих адмиралов посадить за измену Родине.

Кузнецов снова, было, к нему полетел, чтобы напомнить об обещаниях, вырванных у вождя в 1939 году.

Товарищ Сталин настолько пришел в негодование, что его и слушать не стал. Более того, сам адмирал Кузнецов со своими претензиями попал под горячую руку вождя всех народов. Правда, товарищ Сталин своего любимца не посадил, но разжаловал из адмирала флота в контр-адмиралы (это все равно, что из маршалов в генерал-майоры, как Кулика) и задвинул на второстепенные роли.

Но, как я не раз уже отмечал, товарищ Сталин был очень отходчив. Адмиралов он, правда, из тюрьмы не выпустил, но Кузнецова простил. Вернул его на прежнюю должность, звание восстановил и поставил перед ним задачу — отнять у американского империализма господство в Мировом океане. А то уж больно в этом Мировом океане американцы стали вести себя нахально. Особенно это мрачно выглядело в ходе Корейской войны, когда их линкоры подходили миль на тридцать к нашей границе и своим огнем смешивали с землей все честолюбивые планы Ким Ир Сена.

Консультант не знал, что Ким Ир Сен в те годы сам сидел на Лубянке во внутренней тюрьме. Ну я, понятно, его просвещать не стал.

Так вот, товарищ Сталин поставил перед адмиралом Кузнецовым задачу, значит, надо ее выполнять. Некоторым эта задача могла показаться неразрешимой, но самые трудные задачи всегда решались под руководством товарища Сталина.

Адмирал Кузнецов знал это лучше других и горячо принялся за дело.

Была развернута мощнейшая программа военного кораблестроения, которую держал на контроле сам вождь.

Все шло хорошо — корабли на наших заводах росли, как грибы после дождя. Новые корабли были очень нужны, поскольку те, что удалось построить до войны, либо погибли, либо ржавели в разных бухтах, ибо товарищ Сталин запретил им — от греха подальше — выходить в море.

Но тут, как и накаркал подлец Хаким, душа товарища Сталина навсегда оставила тело великого вождя, использовав свой любимый способ, и в стране наступила великая эпоха перемен, которая всегда случается после государственных переворотов.

В силу снова вошел маршал Жуков, обеспечивший военную часть переворота и раздавивший наши славные органы тупой броней своих танков. Но госбезопасность была не единственным государственным институтом, по поводу которого у Жукова и Хрущева были собственные взгляды. Флот тоже попал в поле их разрушительной энергии.

Сам маршал Жуков флот терпеть не мог вообще, а адмирала Кузнецова, в частности. Причин было сколько угодно. Во-первых, маршал считал Кузнецова выскочкой, а сам флот — дорогой и совершенно бесполезной игрушкой Сталина. Он даже как-то заметил (еще до обыска на его даче), что, если бы у нас флота не было вообще, то война закончилась бы на год раньше. Маршал любил сухопутные войска и считал, что все битвы можно выиграть с помощью солдата с трехлинейкой. А ежели на пути этого солдата возникнет водная преграда, то он ее преодолет либо вплавь, либо на бревне, либо на воротах, украденных в соседней деревне. И так доберется, если надо, то и до Америки. Выберется на берег, отряхнется и пойдет в штыковую с криком «Ура!».

Адмирала Кузнецова маршал ненавидел лютой ненавистью. Во-первых, потому, что тот ходил

в любимчиках у товарища Сталина. Фавориты всегда друг друга ненавидят. Во-вторых, потому, что адмирал готов был идти на все ради спасения какого-нибудь своего арестованного лейтенанта и практически всегда добивался в этом успеха. А Жуков помалкивал даже тогда, когда у него пересажали весь его штаб, включая водителя.

Были случаи, когда Сталин сам приказывал Кузнецову кого-нибудь из его подчиненных расстрелять. За дело. И то адмирал так или иначе сталинский приказ не выполнял, ограничиваясь более мягким наказанием. А Жукову — прикажи расстрелять одного — он с удовольствием расстреляет десять.

Я помню, что во время «дела врачей» у нас относительно адмирала Кузнецова прошла такая информация. В Ленинграде, в Военно-морской академии работала преподавателем иностранного языка некая женщина-еврейка в чине майора. До войны она была с адмиралом Кузнецовым в Испании в качестве переводчицы. Поговаривали, что у нее с адмиралом там даже был кратковременный, но яркий роман.

Академическое начальство, борясь с космополитизмом, лишило женщину и работы, и звания. В отчаянии она обратилась за помощью к адмиралу, хотя после возвращения из Испании они, разумеется, никогда больше не виделись. Сам адмирал только что был возвращен после глубокой опалы и вроде бы не должен был рисковать своим положением. Но, тем не менее, получив письмо от этой женщины, тут же приказал взять ее на работу в одно из морских училищ Ленинграда.

Не знаю, доложили ли товарищу Сталину об этой выходке адмирала, но реакции не было никакой.

Но более всего Жуков ненавидел Кузнецова за то, что тот однажды, еще до войны подбил товарища Сталина на то, чтобы все маршалы и генералы армии сдали зачет по плаванию. Адмирал мотивировал это тем, что, поскольку сухопутные начальники постоянно твердят, что флот должен подчиняться армии и придумывают флоту разнообразные транспортные задачи с развертыванием фронтовых штабов на борту линкоров и крейсеров, они обязаны сдать зачет по плаванию, так как в море могут произойти любые неожиданности. Товарищ Сталин счел эти доводы разумными. Вот было смеху!

Ни один маршал или генерал армии плавать, разумеется, не умел. Но ослушаться приказа товарища Сталина никто не посмел. Для сдачи зачета доставили всех в один секретный бассейн. Прибыл и сам товарищ Сталин вместе с Маленковым и Ждановым. Маршалов и генералов покидали в воду, где глубина была по макушку.

Эту сцену надо было видеть. Товарищ Сталин смеялся до слез. Жданову от смеха даже плохо стало, ему пришлось укол сделать. Насмеявшись вволю, товарищ Сталин приказал адмиралу Кузнецову обучить весь высший комсостав Красной Армии плаванию в трехмесячный срок. Конечно, все они затаили на Кузнецова лютую злобу.

Из-за нелюбви высшего сухопутного командования ко всему морскому в ходе войны с нашим флотом случались очень странные вещи.

Бригады морской пехоты истреблялись на сухопутном театре военных действий с особым удовольствием. Авиация почти ни разу за всю войну не обеспечила кораблям воздушного прикрытия, в то время как от флота требовали списать в пехоту чуть ли не весь плавсостав.

Как и следовало ожидать, не успели, как говорится, закрыть пятаками державные очи товарища Сталина, как строительство новых кораблей было прекращено, а линейные крейсера «Москва» и «Сталинград» стали разбирать.

Вместе с тем с самим адмиралом Кузнецовым стали обращаться, как с каким-то случайным человеком, занимающим свой пост в силу никому непонятого бюрократического недоразумения.

Сначала его хотели снять как одного из сталинских сатрапов, упившихся кровью в годы сталинского режима. Какими, скажем, были те, кто хотел с ним расправиться,— те же Хрущев и Жуков. Но ничего не вышло. Как ни искали, но не нашли ни одного доноса, подписанного адмиралом. Но зато нашли много документов, доказывающих, что главнокомандующий флотом был странным романтиком — смелым и бескорыстным, спасающим, рискуя собственной карьерой и головой, людей, до которых, казалось бы, ему не было никакого дела.

Потом поискали, не прилипло ли к рукам адмирала каких-либо криминальных деньжат. Ничего — жил исключительно на получку, да и ту часто жертвовал на воспитание сирот своих погибших подчиненных. Сделали негласный обыск у него на даче, как некогда мы делали на даче у

Жукова. Дача была казенной, мебель — тоже казенной и даже единственная картина, а точнее, копия с картины Айвазовского, тоже была казенной и имела инвентарный номер.

Ничего не нашёл себе нарком на своей должности, кроме болезни сердца.

Но снимать его с должности было необходимо, поскольку с таким адмиралом, одухотворённым сталинской задачей отнять господство на море у американцев, после смерти самого Сталина работать было трудно и опасно. Особенно с учетом того огромного авторитета, каким пользовался адмирал Кузнецов среди личного состава флота.

Маршал Жуков, по своему обыкновению, выдвинул против Кузнецова стандартное обвинение: «На флоте бардак! Никакой дисциплины! Полное служебное несоответствие!».

Однако на флоте бардака было не больше, чем в других видах вооружённых сил. Дисциплина была отменной, а чрезвычайных происшествий не было вовсе.

«Нет, — прорычал Жуков, — так будут!»

Прорычал он это в лицо Кузнецову в Ялте, куда они с Хрущевым вызвали адмирала на предмет съедения.

Кузнецов в прединфарктном состоянии выехал поездом в Москву. Было это совсем недавно — 27 октября.

А около полуночи 29 октября под днищем линкора «Новороссийск» грохнул взрыв. Линкор стоял на якоре в Севастопольской бухте примерно в пятидесяти-семидесяти метрах от берега.

В результате паники и неразберихи, царящей на борту из-за идиотских приказов прибывшего на корабль командующего Черноморским флотом адмирала Пархоменко, «Новороссийск» опрокинулся вверх килем и затонул. Погибло около девятисот человек. В воде оказался сам командующий Черноморским флотом. Но ему утонуть не дали. Вытащили.

Не успело затихнуть эхо этого взрыва, как адмирал Кузнецов был снят с должности, уволен из вооруженных сил, выведен из ЦК. Само собой, против него возбуждали уголовное дело. Жуков вызвал его к себе и, не скрывая злорадства, орал на адмирала, как тупой старшина на призванного в армию скрипача.

4

— Ты все это, Лукич, узнал у консультанта? — с удивлением спросил я.

— Нет, конечно,— улыбнулся Василий Лукич,— но от консультанта узнал много. А остальное — из других источников. Слава Богу, за время службы их, источников этих, у меня накопилось предостаточно.

— Ну а потом что тебе удалось выяснить? — с мольбой в глазах посмотрел я на ветерана. Вдруг на этом и замолчит. Скажет, как не раз бывало, мол, этого тебе, братец, знать не положено. Тема-то больно щекотливая.

— Дальше? — переспросил Лукич,— дальше было много интересного.

В принципе, мне уже совершенно незачем было ездить в Севастополь. Мне уже было и так все ясно, кто отдал приказ о взрыве линкора. Но кто его выполнил — еще предстояло выяснить. Оставалось еще много вопросов. В частности, насколько в эту диверсию были вовлечены Булганин и Игнатъев, от которых я получил это задание.

Прежде всего я хотел, было, поговорить с адмиралом Кузнецовым, но от этого пришлось отказаться. Во-первых, адмирал лежал с инфарктом, во-вторых, имея возбужденное против себя уголовное дело, он вряд ли бы много сказал, зная, от какого ведомства я выступаю.

Можно было допросить и Жукова. Тем более, что мы с ним пару раз уже встречались, когда был скандал вокруг его дачи, а я его по этому поводу допрашивал. Даже если бы он просто на меня наорал и выгнал из кабинета, мне бы многое стало ясно. Но с этим я решил повременить. Нужно было добыть еще несколько фактов, а потом уже карабкаться так высоко.

Мрачной тенью нависала надо мной фигура генерала Ивана Серова, который вот-вот должен был стать министром госбезопасности, если уже не стал. Этот человек имел все рефлекс профессионального убийцы, и я мог поплатиться жизнью, не успев, как говорится, и чирикнуть.

Обстановка была сложной, но мой опыт и подготовка научили меня работать именно в таких условиях, играя на противоречиях сцепившихся в борьбе за власть кланов партийно-государственной номенклатуры. Эта борьба началась

прямо в 1917 году и не прекращалась ни на минуту. И погибло в этой борьбе людей больше, чем в двух мировых войнах. Я участвовал в этой войне, можно сказать, с первого дня, чудом уцелел, но зато приобрел уникальный опыт избегать минных ловушек, которым мало кто еще мог похвастаться.

Поэтому мне было совершенно очевидно, что в настоящий момент в Кремле в смертельной схватке сцепились две группировки.

Одну из них возглавляет сам Хрущев с Жуковым и Серовым в качестве боевого отряда. Вторую пытается возглавить Булганин, имея за своей спиной недавно снятого Маленкова и Игнатьева. Возможно, они пытались сделать ставку в этой борьбе на адмирала Кузнецова, хотя, как мне удалось выяснить, сам Булганин адмирала Кузнецова ненавидел не меньше, чем Жуков.

Но не следовало забывать, что за теми и другими маячила тень Сталина. Кто-то хотел на нее опереться, а кто-то — оттолкнуться. Когда имеешь дело с тенью, и то, и другое одинаково опасно и авантюрно.

И я отправился в Севастополь.

Прибыл я туда, как сейчас помню, 20 ноября.

Взяли меня прямо на платформе. Комендантский патруль — флотский офицер, два солдата и милиционер. Подошли ко мне: «Предъявите документы».

Я показываю им свое удостоверение — просто чекистское. То, что мне Булганин с Игнатьевым выдали, решил побереечь до более важного

случая, который, кстати сказать, не замедлил представиться.

— Цель вашего приезда в Севастополь? — интересуется начальник патруля.

Я был в штатском и прибыл на обычном поезде. Если бы я послушался Игнатьева и прилетел спецрейсом, то готов биться об заклад, что вообще не попал бы в Севастополь.

— Вы удостоверение прочли, — спрашиваю я, — или вы слепой?

— У меня приказ, товарищ полковник, — отвечает начальник патруля, — задерживать всех подозрительных штатских лиц на предмет выяснения цели их прибытия.

— Надеюсь, — говорю я, — что со мной вы уже разобрались?

— Никак нет, — сопит он, — если вы из госбезопасности, вас должны были встретить ваши севастопольские товарищи. А раз они не встретили, то мы обязаны вас задержать и этих товарищей вызвать.

Я согласился. Что мне по незнакомому городу шастать, да еще нелегально? Никакого смысла.

Вышли мы с вокзала, сели в таратайку, запряженную парой смирных лошадок, и покатили в комендатуру.

Там меня повели прямо к коменданту — очень грозному полковнику, фамилию которого я позабыл.

— Зачем к нам пожаловали? — осведомился он, вертя в руках мое удостоверение. — Не будете говорить — придется вас отправить куда следует.

Видно было, что говорит он автоматически, по привычке.

— Отправьте меня куда следует,— попросил я, чтобы не лезть в полемику. Никому не следует пререкаться с комендантами крупных военных баз.

— Это мы мигом,— пообещал комендант и снял трубку одного из телефонов.

— Иван Тимофеевич,— забасил он,— тут мы задержали одного фрукта с вашим удостоверением. Хотел проникнуть в город. Где задержали? На железнодорожном вокзале. Откуда прибыл? Говорит — из Москвы. Очень подозрительный. Что с ним делать будем? Мы можем его обратно на вокзал отвести и выслать согласно приказа №1047. Как фамилия? Сейчас скажу.

Полковник взял со стола мое удостоверение, напялил очки и прочел мою фамилию, добавив: «Тут написано, что он полковник».

Я смотрел на него с любопытством и ожидал, какую глупость он сморозит моему севастопольскому коллеге.

— Что? Дать ему трубку? Даю.

Он протянул мне трубку:

— Говорите.

— Лукич? — услышал я удивленный голос в трубке.— Это ты, что ли?

Я узнал голос своего старого знакомого Павла Сидоровича Загагулько, исчезнувшего с Лубянки примерно за месяц до смерти Сталина. Поговаривали, что он был арестован по делу Абакумова. Как он превратился в Ивана Тимофеевича, я выяснять не стал и добродушно ответил:

— Конечно, это я,— Сидорыч. Вот приехал

отдохнуть на море, а меня сразу и сцапали. Выручай.

— Сейчас пришло человека,— сказал он голосом, в котором не было никакой радости по поводу предстоящей встречи со мной.

Минут через сорок прибыл молоденький лейтенант, совсем пацан, но при нагане.

«Задержанный,— обратился он ко мне,— вас приказано доставить в Управление. Предупреждаю, что шаг вправо или влево является попыткой к бегству и огонь будет открыт без предупреждения».

Затем он сунул в карман мое удостоверение, скомандовал: «Руки назад! Идти прямо!» и вывел меня на улицу, где нас ждала другая таратайка, запряженная одной лошадкой флегматичного вида. На вожжах сидел милиционер, а в таратайке дремал солдат, в руках которого была трехлинейка с примкнутым штыком. Меня усадили между конвоирами, и мы поехали в Управление, где меня без лишних слов сунули в одиночную камеру, но почему-то не обыскали.

Минут через сорок загремел звонок и в камеру вошел Иван Тимофеевич, в которого превратился Павел Сидорович — мой старый знакомый по Лубянке. Честно скажу, не ожидал!

Сидорович был в форме, а на плечах у него, мать честная — генеральские погоны!

— Меня зовут Иван Тимофеевич,— резко начал он,— возможно, вы меня с кем-нибудь путаете, Василий Лукич. Но это не существенно. Вы должны ответить на вопрос: с какой целью вы прибыли в Севастополь и по чьему заданию?

— Рыбку половить,— ответил я,— в мутной воде.

— Не острите,— оборвал меня Сидорыч-Тимофеич,— а отвечайте по существу заданных вам вопросов. Вы отлично знаете, что случается с теми, кто пытается запереться или ввести нас в заблуждение.

— Ну, ты забурел! — протянул я.— Генерала получил и уже старых друзей не признаешь. Я к тебе всей душой, а ты меня в одиночку сунул и вопросы какие-то задаешь. Что я должен подумать? А? Ничего хорошего... Придется отозвать тебя в Москву и там выяснить, как ты из Павла Сидоровича превратился в Ивана Тимофеевича. Ты генерала Телегина бил на допросе? Жукову это сейчас будет очень интересно вспомнить...

— Молчать,— заорал Загогулько,— пристрело!

— Не промахнись,— посоветовал я, показывая ему выданное Булганиным удостоверение.

Сидорыч прочел его, икнул и широко улыбнулся.

— Лукич! — радостно воскликнул он.— Чего это мы здесь сидим? Что — лучше места нет? Встречу-то надо как-то отметить. Сколько лет не виделись! Пошли ко мне. На третий этаж. Ты не представляешь, как я рад тебя видеть! Ты не обижайся, брат, что я так тебя встретил. Мне на запрос из Москвы ответили, что тебя из органов уволили и на тебя объявлен всесоюзный розыск. Теперь я понимаю. Меня-то самого якобы на двадцать пять лет посадили, но я хоть фамилию сменил, а ты как был Лукичем, так и остался.

Причитая таким образом, Сидорыч-Тимофеич провел меня в свой кабинет, усадил в довольно-таки потрепанное кресло и с нескрываемой завистью сказал:

— Гляди, как ты высоко залетел, Лукич. При Президиуме ЦК работаешь! А что ж ты еще не генерал? Все в полковниках ходишь?

— Какая разница,— отмахнулся я,— полковник или генерал, или, уж, не знаю кто. Разве в чинах счастье? Вот товарищ Сталин генералиссимусом был, а сильно ему это помогло, когда в него разжалованный подполковник стрелял? И вот я полковник могу сейчас тебя генерала вывести во двор и расстрелять. Или даже, не выводя во двор, а прямо здесь. Могу кому приказать, а могу и сам привести в исполнение.

— Шутишь ты все,— улыбнулся Сидорович,— ты всегда шутником был, Лукич. А тебя наверх взяли потому, что ты с Лениным работал?

Эта тема, видимо, не давала ему покоя.

— Может, за меня походатайствуешь,— попросил он, доставая из сейфа бутылку какого-то иностранного пойла,— а, Лукич? А то меня хотят и с этого места турнуть, а потом настоящую фамилию вспомнить и в зону отправить на весь срок. Серов сейчас в министры рвется: он всех пострижет, кто с Виктором Семеновичем работал. Да тут еще это самое ЧП на меня хотят повесить.

И со вздохом генерал разлил коричневое иностранное пойло из пузатой бутылки по стаканам.

— Пей,— сказал он,— французский коньяк. «Наполеоном» называется. Во Франции его не

все миллионеры даже могут себе позволить. А у нас контрабандисты в Одессу привозят.

И мы залпом выпили по стакану. Ничего особенного. Похож был на разбавленную «Старку».

— Линкор тут в бухте утонул, — поморщился генерал, — еще до ноябрьских праздников. Диверсанты, говорят, постарались — мину ему под днище подложили. Вот на меня и хотят это дело подвесить: почему диверсантов не разоблачил. А мне кажется, что это туфта сплошная. На этом линкоре такой бардак творился, что и без всяких диверсантов он мог взорваться в любую минуту.

— А кто версию о диверсантах выдвинул? — спросил я.

— Политотдел и особый отдел флота придумали, — придвинулся ко мне генерал, понижая голос, — там два умника сидят — братья Черкашины — близнецы: Николай и Геннадий. Один в политотделе, другой — в особом отделе. Вот они эту парашу и гонят о диверсантах, чтобы меня подставить, а этого мудака — адмирала Пархоменко — из дерьма вытащить.

— Ну, а ты как считаешь, что произошло в действительности? — продолжал выпытывать я.

— Что произошло? — сплюнул прямо на ковер генерал. — Курили, наверное, в боевом погребе, а чинарики о пороховые заряды тушили. Вот и рвануло. Туда и накануне взрыва каких-то чечмеков нагнали человек двести из экипажа и прямо под башней носовой всех поселили. А они, может, костер развели, чтобы чай вскипятить или шашлыки пожарить. И все накрылись. Никто их фамилий даже записать не успел.

— Я слышал,— прервал я генерала, что взрыв был внешним, а не внутренним. И совершили это итальянцы.

— Лукич,— жалобно простонал генерал,— о чем ты говоришь? Ты всю жизнь в органах проработал. Ты настоящего диверсанта в глаза видел когда-нибудь? Какие диверсанты? Да еще итальянцы! Это только братья Черкашины придумать могли! А насчет внешнего взрыва — то тут вообще говорить нечего. В бухте мин, еще не вытравленных, миллион. И наших, и немецких. Каких только нет! И контактные, и магнитные, и кратности.

Тут он неожиданно замолчал и подозрительно взглянул на меня:

— Ты чего это так всем этим интересуешься? Ты по этому делу приехал?

— Ты хочешь вместе со мной в Кремле работать? — вместо ответа спросил я.

— Хочу! — без всяких колебаний ответил Тимофеич,— а что?

— Тогда помоги мне разобраться,— сказал я,— кто этот линкор утопил? Тебе же лучше будет. Во-первых, с тебя все обвинения снимут, что диверсантов упустил, а во-вторых, я о тебе в Кремле поговорю, чтобы тебя наверх взяли как опытного и проверенного товарища.

— По гроб жизни буду тебе благодарен, Лукич,— пообещал генерал,— а какой помощи тебе от меня нужно?

— Первую помощь, которую ты мне можешь оказать,— это сделать так, чтобы меня не задерживали на каждом шагу,— попросил я,— и дал

мне какого-нибудь толкового сопровождающего, чтобы я в городе не заблудился и чтобы на меня не напали какие-нибудь хулиганы. Я слышал, что после амнистии пятьдесят третьего года здесь полно урок.

Генерал косо на меня посмотрел, помолчал и ответил:

— Сделаем! Прежде всего тебе нужно переодеться во флотскую форму — меньше цепляться будут. А насчет сопровождающего... Как тебе тот малый, что тебя в комендатуре принимал?

— Ничего,— сказал я,— боевой. А голова у него работает или он у тебя в комендантской роте служит?

— Нет-нет,— обиделся генерал,— неужто я бы послал брать такого человека, как ты, Лукич, какого-то болвана из комендантской роты? Толковый пацан. Коли надо, то и в ухо кому угодно может зафитилить — вспотеешь кувыркаться. Кроме того, он к нам из флота перешел и в их делах толково разбирается.

— А дисциплинированный? — поинтересовался я.

— А как же,— ответил Сидорович,— что прикажут — все выполнит. Прикажи родного отца расстрелять — слова не скажет. Мы же когда его брали, то проверяли, как положено.

— Хорошо,— сказал я,— зови его.

Звали лейтенанта Алексеем, а фамилию его я, честно говоря, подзабыл.

Увидев меня, которого он запихал в одиночку, сидящим в кабинете начальника Управления, он и бровью не повел. Возможно, он решил, что

его вызвали, чтобы помочь выбить из меня нужные показания.

Он остановился у дверей, всем своим видом демонстрируя готовность выполнить любое приказание командования.

— Леша,— сказал Тимофеич,— с этого момента и до особого распоряжения ты откомандировываешься в подчинение к товарищу...

Он показал рукой в мою сторону.

— Зови меня Василием Лукичем, сынок,— разрешил я,— если для тебя обременительно называть меня товарищ полковник.

— Есть, товарищ полковник,— вытянулся лейтенант по стойке смирно,— разрешите вопрос, товарищ полковник?

Я разрешительно кивнул головой.

— В чем будет заключаться наша деятельность?

— Мы будем вылавливать диверсантов,— пообещал я и, увидев, как блеснули его глаза, добавил: — и допрашивать их с пристрастием.

На юном лице лейтенанта засветилось предвкушение неземного блаженства.

5

Передевшись во флотскую форму, я, прихватив с собой лейтенанта Лешу в качестве проводника, телохранителя и военно-полевого дознавателя, отправился в особый отдел Черноморского флота, который иначе назывался 3-м отделом штаба флота.

На обитой железом двери, которую мы с трудом отыскивали, не было никакой таблички, кроме

традиционной «Посторонним вход категорически запрещен». Несколько в стороне от двери сиротливо торчала вделанная в стену кнопка звонка.

Лейтенант Леша аж дрожал от возбуждения. Так ему хотелось поскорее приступить к допросу диверсантов. Весь путь до штаба флота мы шли пешком — он рассказывал мне о своей учебе в спецшколе МГБ, куда был направлен по рекомендации комсомольской организации Дунайской флотилии.

«Чтобы добиться правдивых показаний у подследственного, — вдохновенно делился со мной лейтенант, — нужно, не задавая никаких конкретных вопросов, ударить его сапогом в промежность. А когда он согнется — ребром ладони по основанию черепа. Только не очень сильно, чтобы не помер. Это вводит подследственного в состояние шока, а его кровяное давление, повышение адреналина в крови и убыстрение общего кровяного потока через клетки головного мозга сами по себе располагают его к откровенности.

Тут главное — сразу же изменить тактику, — глаза лейтенанта устремились к небу и в голосе появились семтиментальные нотки, — надо участливо спросить, не ушибся ли он? Заверить, что боль скоро пройдет и тут же начинать спокойным голосом задавать вопросы. В этот момент его кровяное давление начинает падать, приводя к норме общую сердечную деятельность, хотя уровень болевого порога еще достаточно высок. Все вместе создает идеальные условия для чистосердечного признания».

Лейтенант был в ударе. Его творческое воображение витало в биополе истязаемого подследственного, как в раю:

«Нам преподаватель такие цветные графики и диаграммы показывал, фотографии идентификации выражения глаз и степени болевого воздействия на экран проектировал. Это, говорил он, трофейный материал, в гестапо использовался...»

Он вдруг замолк, видимо, почувствовал, что сболтнул лишнее: наверняка, подписывал бумаги о неразглашении.

Я тоже молчал, никак не выражая своего отношения к содержанию его откровений,— не мои это проблемы.

Он быстро успокоился и продолжал, правда, не торопясь и, видимо, обдумывая фразу, прежде чем ее сказать:

— Между прочим, у вас в Москве, в одном НИИ тоже работают неплохо. Наука! Честное комсомольское, послужу еще немного и пойду наукой заниматься. Очень интересно! Я даже название для своей будущей работы придумал: «Создание условий для оптимальной откровенности между следователем и подследственным с учетом презентации невинности».

— Чего? — не понял я,— что еще за невинность? Ты только баб собираешься допрашивать?

Он покраснел.

— Так преподаватель объяснил, товарищ полковник. Он говорил, что социалистическая законность отрицает лженаучную буржуазную концепцию «презентации невинности». Но даже если и признать эту концепцию, то она несколько не

мешает научно разработанной методике допроса. Главное — не дать возможности подследственному выставить напоказ свою невинность. В науке употребляется иностранное слово «презентировать», то есть «выставлять». Все очень просто. Пока он ее выставляет ты его сапогом в промежность — бац!

— Погоди,— прервал я его,— может, речь идет о «презумпции невинности»?

— Нет,— убежденно ответил он,— преподаватель говорил о презентации невинности. У меня конспект сохранился. Могу вам показать, товарищ полковник.

Юноша оказался не в меру образованным.

— Ты, Леха, вот что,— сказал я,— ты без моего приказа сиди тихо и ногами не размахивай. Мы сейчас идем к людям, которые во всю будут нам презентовать невинность. А ты сиди тихо и слушай. Главное достоинство следователя — уметь слушать именно тогда, когда происходит презентация невинности.

Гениальный был преподаватель в их спецшколе. Надо же такое придумать! Мне очень понравилось. А то задурили голову этой презумпцией невинности, которую никто толком понять не может. То ли дело — презентация невинности! Все ясно и понятно!

Поэтому прежде чем нажать кнопку звонка, я еще раз взял Лешу на короткий поводок, сказав:

— Обещаешь сидеть тихо без твоих любимых «Руки назад! Шаг вправо, шаг влево!», а то оставлю в коридоре ждать.

— Честное комсомольское! — пообещал

Леша.— Без приказа даже рот не раскрою и пальцем не пошевелю.

Я нажал кнопку звонка.

Обитая кровельным железом дверь приоткрылась и появился помятый человек лет пятидесяти с расшусеренной, как иголки ежа, рыжей бородой. На нем был расстегнутый китель с погонами капитана 1-го ранга, накинута, видимо, после моего звонка.

Он смерил меня тусклым взглядом:

— Что вы хотите?

— Побеседовать хочу,— ответил я, предъявляя свое малое удостоверение,— с начальником особого отдела. Специально прибыл из столицы.

— Это я,— ответил ежебородый, застегивая китель,— Черкашин Николай Андреевич.

— Очень приятно,— сказал я, пожимая ему руку и проходя в помещение,— Василий Лукич.

— А это кто? — спросил Черкашин, показывая на Лешу.

— Это со мной,— пояснил я,— исполнитель приговоров и спецдознатель.

— А допуск у него есть слушать наши беседы? — поинтересовался Николай Андреевич.

— Он глухонемой после контузии,— успокоил я Черкашина.

За столом в помещении особого отдела сидел еще один человек в кителе без погон с аккуратно подстриженной бородкой и ясным взглядом, напоминающим юродивого с картины Сурикова.

— Это мой брат-близнец,— пояснил Черкашин,— секретарь объединенной парткомиссии флота. Помогает мне на общественных началах.

— Черкашин Геннадий Александрович, — представился мне секретарь парткомиссии.

Я не стал выяснять, почему один из близнецов был Андреевичем, а второй — Александровичем, решив, что в жизни случается всякое. Тем более, что Александрович выглядел лет на пятнадцать старше Андреевича. Видимо, состарила партработа.

Я давно обратил внимание, что профессиональные парработники, особенно секретари, выглядят всегда много старше своих лет — работа у них такая тяжелая, и глаза почему-то всегда смотрят в разные стороны.

На стене висел обычный армейский плакат с призывом: «Не болтай по телефону, болтун — находка для шпиона!».

Я уселся под этим плакатом, а Леша сел на табуретку у дверей, положив свои пудовые кулаки на колени.

— Чем можем быть вам полезными? — спросил тот Черкашин, который назвался Андреевичем.

— Что там у вас с линкором случилось? — сразу перешел я к делу. — Вы провели предварительное следствие? В Москве очень встревожены. Во время войны подобного не случалось, а тут — пожалуйста!

— Враг не дремлет! — назидательно поднял палец тот Черкашин, который был Александровичем.

Брат Андреевич остановил его жестом руки и обратился ко мне:

— Да, мы провели расследование. И, если не

считать мелких деталей, картина нам полностью ясна, о чем мы уже доложили по команде. Линкор стал жертвой итальянских диверсантов.

— Вот как? — удивился я. — А как же здесь оказались итальянские диверсанты? Куда же вы смотрели?

— Ловить диверсантов, — мягко заметил Черкашин, который Александрович — не входит в наши обязанности. В наши обязанности входит воспитание личного состава в духе беспредельной преданности к партии и правительству, следить за сохранением военной тайны и за нездоровыми настроениями. Вы понимаете? Ловить диверсантов должен генерал Загогулько.

— Именно, — подтвердил Черкашин, который Андреевич, — итальянских диверсантов проморгал генерал Загогулько. С него и спрос.

— Стоп, стоп, стоп! — прервал я его. — С кого за это спрашивать, мы разберемся. Пока ответьте мне на вопрос: почему вы все-таки решили, что линкор взорвали итальянцы?

Он снисходительно посмотрел на меня.

— Полковник, — спросил он, — вы когда-нибудь что-нибудь слышали о десятой флотилии МАС?

— Флотилии чего? — не понял я.

— Флотилии МАС, — повторил Черкашин-Андреевич.

— Не понимаю ничего, — признался я, — какой массы?

— МАС, — в третий раз произнес Черкашин с заметными нотками раздражения в голосе, — М-А-С. По буквам передаю — Михаил Андреевич Суслов.

— Суслов!— подскочил я.— При чем тут Суслов?

— Я вам по буквам передаю сокращение,— голос начальника особого отдела сорвался на визг.— Раз вы не понимаете! МАС! Понимаете?

— Понимаю,— сказал я,— не нервничайте понапрасну. Значит это инициатива товарища Суслова?

— Нет! — взвизгнул Черкашин-Андреевич,— это МАС. Просто МАС.

— А что это означает? — поинтересовался я.

— Итальянское сокращение,— пояснил он, вытирая появившийся на лбу пот,— означает оно — «противолодочный момторный торпедный катер».

— Так зачем вы руководителей партии и правительства в это дело впутываете? — спросил я.

— Вы не поняли,— вступился за Андреевича Александрович,— руководители партии и правительства к этому никакого отношения не имеют... Случайное совпадение. Можно согласиться, что Николай Андреевич выбрал не совсем удачную расшифровку данной аббревиатуры. Но мы не можем нести ответственность за то, что итальянцы такое сокращение с целью обозначения своего специального подразделения подводных диверсантов: 10-я флотилия МАС.

— Хорошо,— сказал я,— значит, у итальянцев существует специальное диверсионное подразделение, именуемое 10-й флотилией МАС. Продолжайте!

— А командует этим подразделением,— торжественно заявил Черкашин,— князь Боргезе.

— Князь? — вырвалось у меня. — Белогвардеец?

— Именно! — хором подтвердили оба брата, а Александрович добавил:

— Вы представляете, как он должен был ненавидеть все советское!

— Он у Врангеля не служил? — спросил я. — Я где-то читал, что при Врангеле тоже был какой-то князь-моряк. Тоже всякие штуки придумывал, чтобы напакостить советской власти.

— Нет, — успокоил меня брат Александрович, — он у Врангеля не служил. Он итальянский белогвардеец, служил фашистскому режиму Муссолини. 10-я флотилия МАС, по сути своей, чисто фашистское подразделение. Что-то вроде морских штурмовиков.

— Ах, вот как! — воскликнул я. — Значит, этот князь итальянский фашист?

— Да, — кивнул головой Черкашин-Андреевич, — убежденный фашист. В годы войны он сформировал 10-ю флотилию...

— В годы какой войны? — не понял я. — Корейской?

— Нет, — раздраженно возразил начальник особого отдела, — в годы Великой Отечественной. Он создал свою флотилию еще в 1940-м году, ненавидя англичан только за то, что те вступили в войну на стороне Советского Союза.

— Простите, — заметил я, — но в 1940 году Советский Союз еще не воевал. Это я вам точно могу сказать.

— Какая разница, — пожал плечами брат-Александрович, — воевал Советский Союз или нет. Все остальные воевали именно из-за ненависти к

первому в мире государству рабочих и крестьян.

— Вы все время меня сбиваете своими вопросами,— поморщился брат-Андреевич,— и не дайте мне ясно и последовательно изложить свои выкладки.

— Прошу прощения,— извинился я,— повествуйте. Все вопросы оставим на потом.

— Так вот,— продолжал Андреевич,— ненавидя все советское, этот самый князь в декабре 1941 года, когда Красная Армия громила немецко-фашистских захватчиков под Москвой, взял и взорвал два английских линкора.

Я хотел, было, спросить, как под Москвой оказались два английских линкора, но Черкашин сам пояснил, что это произошло вовсе не под Москвой, а в египетском порту Александрия.

— Сделано это было так,— пояснил Черкашин,— подводная лодка доставила к базе специально обученных боевых пловцов. Ночью они на специальных средствах в легководолазном снаряжении пробрались на внутренний рейд, где стояли два английских линкора. Диверсанты прикрепили к ним мины с часовыми механизмами и сдались в плен. После чего оба линкора и взорвались.

— Жертв было много?— нарушив обет молчания, поинтересовался я.

— Жертв не было вообще,— пояснил Черкашин,— но оба линкора надолго вышли из строя. Они сели на грунт. К счастью, там было мелко.

— Насколько мелко? — спросил я.

— Восемнадцать метров,— ответил Черкашин,— для линкора это пустышки.

— А у нас тут какая была глубина? — продолжал допытываться я.

— У нас тут такая петрушка вышла,— сказал Николай Андреевич,— официвльно глубина того места, где стоял «Новороссийск», считалась сто семьдесят семь метров. Севастопольская бухта эксплуатируется уже почти двести лет, а никто не знал, что там имеется двойное дно. Вы знаете, что такое двойное дно? Наносится слой ила, а под ним еще большая глубина до естественного дна. Когда линкор стал опрокидываться, он своим весом продавил ложное дно и ушел в воду, так что на поверхности осталось только днище.

— Вернемся к итальянцам,— предложил я.— Значит, они, как вы говорите, взорвали два английских линкора. А англичане не собирались передать эти линкоры нам?

— Кажется, нет,— несколько неуверенно ответил Черкашин,— но дело не в том,— собирались или не собирались. Я вам это рассказал, чтобы продемонстрировать методику, по которой действовал князь Боргезе. То же самое он сделал и на этот раз. Выпустил подводных пловцов, они и взорвали «Новороссийск». У нас есть сведения, что пару лет назад этот самый князь, собрав своих сообщников в одном из кабаков Неаполя, торжественно поклялся смыть со своего подразделения позор, вызванный тем, что один из прославленных кораблей королевского флота Италии захвачен в плен. «Не ходить нашему “Юлию Цезарю” под большевистским флагом!», — сказал черный князь, а вся его банда бурно аплодировала. Вот вам и результат.

— Так,— сказал я,— но, насколько мне известно, итальянский флот капитулировал еще в сентябре 1943 года и не перед нами, а перед англичанами и американцами. И корабль этот мы получили не от итальянцев, а от бывших союзников по антигитлеровской коалиции. Боргезе должен был, по идее, мстить им, а не нам. Мы даже отказывались от этого дряхлого корабля. Чем он так знаменит, что Боргезе пошел на такой риск: в мирное время совершить подобную диверсию — это спровоцировать третью мировую войну.

— Вы снова забываете,— вмешался в разговор Геннадий Александрович,— что он КНЯЗЬ! Князь! Вы понимаете? Он ненавидит все советское. Кроме того, у нас есть сведения, что он женат на русской графине, у которой советская власть конфисковала особняк в Москве. Так что возможны и личные мотивы.

— Недавно,— поддержал брата Николай Андреевич,— мы получили информацию, что князь Боргезе заказал одному известному итальянскому художнику картину маслом «Потопление нашими боевыми пловцами советского линкора “Новороссийск” в Севастополе». Он хочет преподнести эту картину в дар итальянской военно-морской академии в Ливорно с тем, чтобы она была вывешена в зале боевой славы.

— Значит,— спросил я,— сформированная в годы войны 10-я флотилия существует до сих пор?

— Формально не существует,— пояснил Николай Андреевич,— она была распущена после капитуляции Италии. А самого князя даже англо-

американцы объявили военным преступником, и он вынужден был бежать в Латинскую Америку.

— А где он сейчас находится? — мне показалось, что пора подключать к беседе лейтенанта Лешу.

— Откуда мы знаем, где он сейчас? — развел руками брат Андреевич.— Они следов не оставляют.

— Ну а все эти подробности,— продолжал настаивать я,— выступление Боргезе в кабаке, заказ картины и все такое прочее. У вас есть какие-нибудь документальные доказательства? Или хотя бы сообщения прессы, на худой конец?

— Это секретная агентурная информация,— покраснел Черкашин,— полученная от нашей разведки. Мы ничего не можем вам предъявить, поскольку подлинники этих документов находятся не у нас.

Глаза его зло блеснули.

— К вашему сведению,— продолжал он,— у аристократов часто бывают странные причуды. Одна из них — взрыв кораблей. Я очень интересуюсь историей флота и могу вам привести еще несколько примеров. Вы слышали о гибели русского крейсера «Пересвет»?

— Нет,— признался я,— а когда это произошло?

— В январе 1917-го года,— ответил Николай Андреевич,— его взорвал граф фон дер Пален, служивший на этом корабле баталером.

— А что такое «баталер»? — поинтересовался я, понимая, что мои познания во флотской специфике оставляют желать много лучшего.

— Баталер — это кладовщик,— объяснил брат-Александрович,— вроде каптенармуса в армии. Краска, тряпки там разные...

— Граф служил баталером? — удивился я.— А в каком чине?

— Кондуктора,— сдерживая негодование от моего невежества, ответил брат-Андреевич,— это примерно соответствует нынешнему званию мичмана-сверхсрочника.

— Он не родственник того фон дер Палена,— спросил я,— что фигурирует среди главных заговорщиков, убивших Павла Первого? Нам в академии читали «Историю заговоров и переворотов», и я очень хорошо запомнил эту фамилию.

— Прямой внук,— подтвердил мои исторические познания Николай Андреевич.

— И служил кладовщиком на линкоре?

— Не на линкоре, а на крейсере,— в унисон поправили меня близнецы.

— Хорошо, на крейсере. Кладовщиком? Да еще сверхсрочником? Сдается, вы меня морочите, ребята!

— А «Императрица Мария»? — воскликнул Геннадий Александрович.— Разве вам неизвестно, что ее взорвали гестаповцы прямо на том же самом месте, где погиб «Новороссийск»?

— Это когда же? — удивился я.

— В сентябре 1916 года,— победно выпалил брат-Андреевич.

— Какие же тогда были гестаповцы? — снова не поверил я.

— Что вы вечно цепляетесь к деталям? — раздраженно спросил брат-Александрович.— Какая

разница, были — не были? Тогда не были, потом стали. Главное, что корабль взорвали!

— Ну, хорошо,— начал я отступление под объединенным напором близнецов,— ладно, не будем вдаваться в детали. Но все приведенные вами примеры, даже если и принять их на веру, произошли в военное время, когда любая диверсия со стороны противника имеет даже некоторый оттенок героизма боевой операции. Но сейчас-то время мирное. Кроме того, Италия — страна НАТО, ее вооруженные силы находятся под жестким контролем Соединенных Штатов. Личный состав 10-й флотилии давно демобилизован или переведен в другие подразделения, князь — в эмиграции. Но и это неважно. Как США и НАТО могли пойти на подобную акцию, когда наконец-то удалось закончить войну в Корее, а в Кремле предпринимаются шаги к уменьшению международной напряженности? Я уже не говорю о том, что для прохода к Севастополю подводная лодка с диверсантами должна была пройти черноморскими проливами, которые контролируются Турцией — также членом НАТО?

— Я бы вам советовал,— ответил на мою тираду Геннадий Александрович,— ознакомиться с партийными документами. Разве там не сказано, что США и НАТО постоянно пытаются втянуть СССР, несмотря на его миролюбивую политику, в третью мировую войну. Разве вы не знаете, что они поджигатели третьей мировой войны? Я удивлен, что вам требуется объяснять такие элементарные вещи. Вы вообще-то член партии или нет? А если вам не нравится подход к Севастополю

на подводной лодке, то мог быть возможен и другой вариант. Люди Боргезе могли прибыть сюда и по суше. Они здесь уже бывали в годы войны — в сорок втором и сорок третьем годах, прибыв на автоколонне и доставив в Севастополь свое снаряжение и катера. Они могли при отступлении закопать часть снаряжения, а затем прибыть сюда в качестве туристов или пробраться как угодно, откопать снаряжение, взорвать линкор и уехать так же, как и приехали.

— Зафиксирован приезд каких-либо иностранцев накануне катастрофы в Севастополь? — спросил я.

— Они могли и не приезжать, — объяснил за брата Николай Андреевич, — а затаиться здесь еще со времен войны, добыть фальшивые документы и ждать своего часа, который настал двадцать девятого октября.

Это сообщение меня окончательно добило. Я собрался, было, задать еще несколько вопросов: скажем, как этим самым, скрывающимся со времен войны диверсантам, а равно их коллегам, попавшим в плен к союзникам, удалось в течение двенадцати лет сохранить нужный уровень боевой и физической подготовки и тому подобное, но не стал. Я ведь не был каким-нибудь заезжим корреспондентом центральной газеты, берущим интервью. Я был следователем, которому было поручено расследование причин гибели линкора и сотен людей.

Ты, наверное, знаешь, что первые упоминания в открытой печати о об этой катастрофе появились

лишь через пятьдесят лет после моего приезда в Севастополь и до сих пор журналисты спорят: кто же, в конце концов, взорвал этот старый ржавый итальянский линкор, набитый до отказа русскими моряками? Но то, что может на многие годы стать неразрешимой загадкой для журналиста, следователь узнает уже за первые сутки следствия.

Историю, которую мне поведали братья Черкашины, можно назвать классическим примером «презентации невинности», о которой рассказывал лейтенант Леша, и я еще раз помянул добрым словом того безвестного опера, который преподавал в их спецшколе МГБ. Между «презентацией невинности» и «презумпцией невиновности» огромная разница.

— Товарищи,— обратился я к близнецам,— я, видимо, совершил ошибку, не предупредив вас заранее, что я не беру у вас интервью для газеты «Юный чекист», а допрашиваю в качестве свидетелей. Поэтому я не дал вам подписать нужные для этого документы, надеясь на то, что столь ответственные товарищи, как вы, не будут сознательно вводить следствие в заблуждение. Сейчас, выслушав ваши показания, я вынужден напомнить, что свидетель несет уголовную ответственность как за дачу ложных показаний, так и за отказ от дачи показаний. И предупреждаю, что могу вас взять под стражу прямо на месте, не испрашивая ни у кого предварительного разрешения.

— Не забывайте, где вы находитесь! — фальцетом воскликнул тот, который назвался Андреевичем.

Но я уже его не слушал, а повернувшись к лейтенанту Леше, приказал:

— Лейтенант, мне кажется, что давление и количество адреналина в крови у этих товарищей совершенно не соответствует показателям, необходимым для откровенной беседы со следователем. Прошу вас откорректировать эти показатели для оптимального хода следственного процесса.

Лейтенант Леша стал медленно подниматься со стула.

К сожалению, в их спецшколе практические занятия, видимо, проводились из рук вон плохо. Или же целью командования была подготовка в этой спецшколе чистых юристов-теоретиков. Вроде помощников прокурора.

Я смог в этом воочию убедиться, когда лешин сапог, просвистев в воздухе, ударил не в чью-то промежность, а по крышке стола снизу.

Оба близнеца успели отскочить к стене, стол подскочил вверх, а стоявшая на нем чернильница ударилась в потолок, оставив большое и безобразное чернильное пятно. После чего она с шумом упала на пол, разлетевшись на осколки, как фугасная авиабомба.

Леша прыгал на одной ноге, держась правой рукой за ушибленную ногу, а левой — пытаюсь расстегнуть кобуру с наганом. Близнецы, побелев от страха, стояли, прижавшись к стене, под копией с картины Айвазовского «Бриг “Меркурий” после победы над двумя турецкими кораблями соединяется с эскадрой Черноморского флота». Я готов поклясться, что именно эта картина вдохновила одного из близнецов придумать заказанную

князем Боргезе композицию «Потопление нашими боевыми пловцами советского линкора “Новороссийск” в Севастополе». Длина подписи была почти одинаковой.

Разница между журналистским и чекистским следствием заключается не только в темпах расследования, но и в том, что, в отличие от журналиста, следователь не имеет права верить не только в неправдоподобное, но и в невероятное.

Несмотря на то, что мой спецдознаватель временно вышел из строя и, сняв сапог, внимательно изучал пальцы на своей правой ноге, дело свое он сделал. Хотя болевого порога не было, давление и количество адреналина в крови близнецов пришли к показателям, если не оптимальным, то весьма близким к ним.

— Кто придумал историю с итальянцами?— спросил я, указывая пальцем на Андреевича.— Ты?

— Нет, не я,— прошептал он побелевшими губами.

— Кто же? Он? — и я указал на брата Александровича.

Тем временем Леша надел сапог и доложил о боеготовности.

— Из Москвы прислали директиву,— признался при виде встающего Леша Николай Андреевич,— в целях идеологического воспитания личного состава на конкретном примере вражеских козней.

— Кто взорвал линкор? — спросил я.

— Не знаю,— признался Черкашин,— мина, наверное. С войны осталась. Он, может быть, ее якорем зацепил, когда вставал на рейде.

— Почему же,— продолжал я допрос,— дело сразу повернули в сторону диверсии? Кто приказал это сделать?

— Потому что это была диверсия,— убежденно, как монах-фанатик с костра, воскликнул до этого молчавший Александрович.

Леша приблизился к нему, явно намереваясь повысить подследственному давление и добавить в кровь адреналина, что в сочетании с болевым порогом могло бы дать неплохие результаты.

— Уберите его,— закричал Александрович,— я все вам объясню!

— Отставить!— скомандовал я Леше.— Сядьте на место, лейтенант, и ждите мою команду!

— Пусть в коридор выйдет!— неожиданно заявил Александрович.— При нем ничего не скажу.

— Леша,— приказал я,— выйди в коридор, потренируйся на урнах. Сюда никого не пускай.

Леша, прихрамывая, вышел.

— Садитесь,— предложил я близнецам,— в ногах правды нет. Так я вас слушаю, Геннадий Александрович.

— Полковник,— зловеще прошипел он,— а вы не думаете, что вам придется ответить за подобное поведение в официальном учреждении военно-морского флота?

Отсутствие Леша сразу придало ему храбрости.

— Вы знаете,— с булганинской мягкостью в голосе ответил я,— структура моей подчиненности при проведении данного расследования является в своем роде уникальной. Облаченный огромными полномочиями я в то же самое время не несу ни перед кем никакой ответственности. Я бы

хотел, чтобы вы оба это правильно поняли. Конечно, вы имеете право обжаловать мои действия в предусмотренном законом порядке. Но только после дачи показаний. Итак, я вас слушаю.

Из рассказанного братьями на этот раз вытекала изумительная картина. Оказывается, уже на следующий день после катастрофы по всему Севастополю прошел слух, что мину под линкор подложили итальянцы. Но «итальянцами» в Севастополе называли какое-то таинственное подразделение, окопавшееся в Артиллерийской бухте.

Начальство, поймав этот слух и вспомнив, что линкор нам достался от Италии, тут же сколотило грубую легенду о черном князе Боргезе и его сусловской флотилии.

— Так,— сказал я с довольным видом врача, убедившегося на вскрытии в правильности поставленного диагноза,— значит они и взорвали корабль? А по чьему приказу?

— Я не говорил, что они взорвали линкор,— заикаясь от волнения, сказал Черкашин Александрович,— я вам только передал суть ходивших по городу слухов и о решении ГЛАВПУРа ВМФ воспользоваться этим слухом. Больше, поверьте, товарищ полковник, я ничего не знаю.

Тут уже наступила грань, где кончалась «презентация невинности» и начиналась «презумпция невиновности».

— Не знаете?— переспросил я и перевел взгляд на Андреевича.— Вы знаете?

— Это подразделение нам не подчиняется,— промямлил Андреевич,— оно находится в прямом подчинении Министерства обороны.

— То есть, маршала Жукова?— уточнил я.

— Выходит, что так,— согласился Андреевич, отводя глаза.

— Почему их так называют «итальянцами»? — продолжал допытываться я.

— Говорят, что первоначальную подготовку этому подразделению преподавали итальянские инструкторы, взятые в плен во время войны,— ответил Черкашин, — но я точно ничего не знаю. Знаю, что это центр подготовки подводных подрывников. Слово диверсант там не употребляется.

— Но фактически это такие же подводные диверсанты, как диверсанты князя Боргезе? — уточнил я.

— Вы хотите сказать,— широко открыл глаза Андреевич,— что это диверсанты маршала Жукова? Вы понимаете, что вы говорите?

— Но это не я сказал,— улыбнулся я в ответ,— это вы употребили фразу: «Жуков и его диверсанты».*

6

Содрав с близнецов подписку о неразглашении и пообещав заплатить за разбитую чернильницу и побелку потолка (как-никак казенное имущество), я, сопровождаемый прихрамывающим Лешей, покинул здание штаба флота.

— Чуть ногу не сломал,— пожаловался лейтенант.

* Через 40 лет Н.А.Черкашин повторит эту фразу на страницах «Морского сборника» № 6 за 1995 год.

— У вас практические занятия в школе проводились? — поинтересовался я.

— Нет,— признался он, покраснев,— как Сталин умер, так практические занятия и отменили. А у предыдущих выпусков практика почти все учебное время занимала.

— В нашем деле главное — теория,— утешил я его,— а практика приложится. Это дело наживное. Катер у вас есть? Или лодка.

— Катер есть,— доложил Леша,— а зачем вам?

— Хочу на месте преступления побывать,— сказал я.

Вообще-то делать мне на месте преступления было нечего. Там работали государственные комиссии, а в данной обстановке ни я им, ни они мне помочь ничем не могли. Кроме того, мне было почти официально запрещено вступать с какими-либо комиссиями в контакт. Но побывать на месте уникального государственного преступления мне все-таки хотелось. И я решил так и поступить.

Леша, даром что моряк, ловко управлял маленьким катером.

Перевернувшийся кверху килем огромный корабль напоминал какое-то морское чудовище, выброшенное ветром и волнами на отмель. На днище копошились сотни людей, взад-вперед, перекликаясь гудками и сиренами, сновали катера и буксиры. С днища доносился грохот отбойных молотков, сверкали огоньки электросварки.

Перевернутый линкор лежал совсем близко от берега. Настолько близко, что трудно было

поверить в громадное количество жертв. Позднее я узнал, что в роковую ночь на корабле не было командира — старого опытного моряка. Он бы без колебаний выбросил корабль на отмель, и жертв не было бы никаких. Это можно было сделать одним движением машинного телеграфа. А растерявшийся старпом позволил задурить себе голову адмиральскими приказами. Адмиралы, как всегда, заботились больше о спасении собственных кресел, чем о спасении корабля, а тем более людей.

Самые невинные вещи в России приводят к жертвам, невысказанным ни в какой другой стране, даже в африканской.

Объехав погибший линкор вокруг, лейтенант приглушил мотор.

— Куда теперь? — спросил он меня.

— В Артиллерийскую бухту, — приказал я, — там есть какая-то хитрая часть, подчиненная непосредственно Москве. Ты что-нибудь об этом знаешь?

— В Артиллерийской бухте? — переспросил Леша. — Там спецшкола водолазов. Я там не бывал, но курсантов оттуда хорошо знаю. Все время в городе хулиганят. А патрулям их брать запрещено. Иван Тимофеевич как-то послал в город наши патрули, и мы взяли пару человек. С трудом взяли. Сопротивлялись. Двоих только взяли, остальные убежали. Мы оформили все протоколы о хулиганском поведении в городе, отобрали у граждан заявления — все чин-чинарем, но откуда-то последовал приказ всех отпустить и впредь не задерживать. А совсем недавно —

первого ноября — чтобы не соврать, в вокзальном ресторане они такой шухер учинили, что снова наш наряд пришлось вызывать, потому что всю милицию они штабелями уложили.

Я туда сам во главе наряда был направлен, чтобы порядок навести. Приехали — шум, гам, битая посуда, битые стекла — подрывники гуляют. Оказывается провожают двух своих сослуживцев — мичмана Филиппенко и главстаршину Бузинова, которых переводят на Тихий океан. Мы, помня приказ, никого забирать не стали, а только утихомирили. А тех двоих, пьяных в хлам, в поезд погрузили. Помню, я сам тащил к поезду главстаршину Бузинова, а он мне орал: «Убивай, все равно ничего не скажу!»

Я ему говорю: «Да ничего мне от вас не надо, старшина, не бузите только. Вот ваше купе — отоспитесь, и все будет в порядке». Вот такие дела. Это публика серьезная.

Мы выбрались на берег метрах в ста от забора и вышли на скучную, пыльную дорогу, ведущую к глухим железным воротам, украшенным якорями и красными звездами, где находился КПП.

Несмотря на свирепые надписи на заборе, дежурный по КПП встретил нас даже, можно сказать, дружелюбно. Подержал в руках мое удостоверение и спросил:

— Опять наши что-нибудь в городе учудили?

— Я прибыл из Москвы, — представился я, — мне бы хотелось побеседовать с начальником школы или командиром части. Как он у вас называется?

— С капитаном первого ранга Борисенко? — удивился дежурный. — А как прикажете о вас доложить, товарищ полковник?

— Доложите, — приказал я, — что за ним прибыл уполномоченный Чрезвычайной Комиссии ЦК и Совета Министров СССР, как вы могли убедиться, прочитав предъявленные вам документы.

— За ним? — растерянно переспросил дежурный. — Так и доложить?

— Так и доложите, — подтвердил я, — не к нему, а за ним!

— Есть! — дежурный взялся за телефонную трубку и, бросая на меня настороженные взгляды, стал что-то быстро говорить, покрываясь потом.

— Леша, — сказал я лейтенанту, — ты бы пошел погулял по берегу. Тебе здесь совсем нечего делать.

— Товарищ полковник! — недовольным голосом начал Леша. — Я тогда случайно промахнулся. Центр тяжести неправильно распределил...

— Выполняйте приказ, лейтенант, — сказал я как можно строже, и он, вздохнув, покинул помещение дежурного по КПП. Мне просто хотелось, чтобы этот парень пожил подольше.

Через несколько минут на КПП появился средних лет мичман с бело-синей повязкой на рукаве. Козырнув, он спросил, обращаясь ко мне: «Вы к командиру части? Следуйте за мной».

Мы прошли через спортивный городок с турниками, кольцами и брусьями, направляясь к трехэтажному зданию штаба части. За ним тянулись унылые одноэтажные постройки барачного

типа, где, видимо, размещались учебные классы и казармы.

На плацу десятка два матросов занимались строевой подготовкой. Но основная жизнь кипела у воды, где эта часть берега была надежно огорожена от посторонних глаз деревянными щитами, брезентовым занавесом и корпусами притопленных судов. На киль-блоках стояли две миниатюрные подводные лодки и еще более диковинные аппараты, напоминающие торпеды с двумя сиденьями, похожими на мотоциклетные. Вокруг копошились люди.

Командир части капитан 1-го ранга Борисенко был бледен, когда я вошел в его небольшой кабинет, украшенный по старинке портретом товарища Сталина в довоенном френче.

В глазах командира части не светилось ничего такого, что лейтенант Леша называл «презентацией невинности», напротив, в глазах капитана 1-го ранга Борисенко светились тоска и обреченность.

— Я так и знал,— сказал он при виде меня,— что именно меня сделают в этом деле стрелочником. Хотя мне гарантировали полную личную безопасность.

— Вы сами должны понимать,— в тон ему ответил я,— что гарантии в таком деле мало чего стоят. Слишком громкое эхо получилось от взрыва.

— Я арестован? — спросил Борисенко.— Можно жене позвонить?

— Чуть позднее,— пообещал я,— ордер на ваш арест у меня есть, но я приехал вовсе не для

того, чтобы вас арестовать, а для того, чтобы определить степень вашей личной виновности в катастрофе.

— Я ни в чем не виноват,— выпалил капитан I-го ранга,— слово коммуниста и офицера, полковник! Я вообще ничего не знал!

— Откровенно говоря, в это трудно поверить,— не согласился я,— ведь вы снаряжали Филиппенко и Бузинова. Они не могли начать какие-либо действия, не получив вашего приказа.

Он несколько минут молчал, глядя на меня с испугом и удивлением.

— Вам это известно? — спросил он сдавленным голосом.— Они арестованы?

— Разумеется,— соврал я,— и дают показания. Главным образом, на вас.

— На меня? — хриплым голосом переспросил начальник школы водолазов.— Я подозревал, что их приказали перевести на Тихий океан, чтобы без помех арестовать по дороге.

— Так и случилось,— подтвердил я,— а на кого им все валить? Только на вас. Они просто никого другого не знают... Простые исполнители.

— Их расстреляют? — лицо Борисенко искажилось.

— Это решит суд,— ответил я,— но если их и расстреляют, то, во всяком случае, не первыми... Сначала расстреляют вас, как отдавшего этот приказ.

— Эти ребята ни в чем не виноваты,— неожиданно перешел на крик капитан Борисенко,— ни в чем! И я не отдавал им приказ, а передал его. Мы все стали жертвой какой-то провокации!

— Но как командир части, осуществившей эту акцию, вы не можете снять с себя полностью ответственность,— спокойным голосом заметил я.

— Послушайте,— сказал Борисенко, несколько снизив голос,— извините, не знаю, как к вам обращаться?

— Если вам трудно обращаться ко мне «товарищ полковник»,— ответил я,— можете называть меня Василий Лукич.

— Василий Лукич,— взволнованным голосом продолжал капитан 1-го ранга Борисенко,— я не снимаю с себя никакой ответственности. Но получается совершенно дурацкая картина.

Представьте себе, что ваш непосредственный начальник передал бы вам, например, плитку шоколада и предложил угостить такого-то. Вы бы это выполнили, а тот — угостившийся — взял бы и умер на следующий день от отравления. Началось следствие и тут же выяснилось бы, что эту шоколадку умерший получил от вас. Все видели, как вы угощали его, а как шоколад передавал вам начальник — не видел никто. В каком бы положении вы оказались? Вот и я, и мои подчиненные оказались в таком же положении.

— Давайте,— предложил я,— не будем прибегать к иносказаниям. Лучше не приводите мне абстрактных примеров, а расскажите, как было на самом деле.

— Из Москвы,— начал свой рассказ Борисенко,— прибыл офицер из Главного Разведывательного Управления. Его фамилия была по документам Фомичев, звание — полковник. Так и занесите это в протокол.

— Мы пока попытаемся обойтись без протокола,— заметил я,— продолжайте. Итак, из Москвы прибыл офицер ГРУ Фомичев. Правильно я вас понял?

— Да,— подтвердил командир водолазной школы,— он привез новый комплект учебных магнитных мин и приказал испытать эти мины на прикрепляемость к днищу корабля, проведя соответствующие ученья.

— Вы сказали, что мины были учебные? — спросил я.

— В том-то и дело,— подтвердил Борисенко,— что они были учебными.

— Учебная мина как-то отличается от боевой? — продолжал допытываться я.

— Конечно,— ответил Борисенко,— в корне отличается. Она и покрашена в другой цвет и форму имеет несколько другую, не говоря уже о том, что на ней стоит совершенно другая маркировка. Да и хранятся они строго отдельно. На этот счет существуют очень строгие инструкции и наставления.

— Значит, у вас не возникло никакого сомнения, что привезенные полковником Фомичевым мины являются учебными? — я внимательно следил за реакцией начальника водолазной школы.

— Абсолютно никаких сомнений,— заверил он,— он также привез с собой план учений и приказ провести их до первого ноября, чтобы включить в итоговые показатели до ноябрьских праздников.

— Вы сказали — план и приказ,— еще раз уточнил я,— кто отдал этот приказ?

— Генерал Серов,— ответил капитан Борисенко.

— В устной форме? — поинтересовался я.

— Нет,— к моему великому удивлению возразил Борисенко,— в письменной. Как положено.

— Могу я на него взглянуть? — попросил я.

Мгновение поколебавшись, Борисенко полез в сейф и достал несколько листов бумаги с приколотой к ним калькой и протянул их мне:

— Пожалуйста, ознакомьтесь.

Под обычными грифами «Совершенно секретно» (даже не «особой важности») был представлен план предстоящих учений в ознаменование наступающей 38-й годовщины Октябрьской революции. План был подписан начальником Управления ГРУ генералом Серовым И.А.

Учения предполагалось провести в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, то есть не предупреждая о них заранее командование флотом, чтобы проверить эффективность наблюдательных постов ОВРа (Охраны Водного Района) и вахтенных на кораблях.

На схеме Севастопольской бухты были отмечены стоянки кораблей и наиболее надежные пути достижения этих стоянок боевыми пловцами.

Мне бросились в глаза написанные красной тушью названия кораблей: «Севастополь», «Новороссийск», «Кутузов», «Лихой».

— Подобные учения ранее проводились? — спросил я, просматривая документ.

— Ежегодно,— ответил Борисенко,— всегда перед октябрьскими праздниками проводились подобные итоговые учения, подводящие черту

под прошедшим учебным годом в плане боевой подготовки.

— И командование флота никогда не предупреждалось о подобных учениях? — продолжал я уточнять общую картину грандиозной провокации.

— Как правило, нет,— признался Борисенко,— во всяком случае, официально. Неофициально, мне кажется, они всегда знали о предстоящих учениях, но я боюсь утверждать.

— Значит,— спросил я,— вы не согласуете свои действия ни с командованием флота, ни с особым отделом флота, ни с местными органами госбезопасности?

— Чаще всего,— объяснил Борисенко,— мы согласовываем действия с морской погранохраной, чтобы она не помешала проведению учений по утвержденному плану. Но вообще эти вопросы — кого ставить в известность об учениях, кого — нет,— решает приезжающий из Москвы. В данном случае таким посредником был полковник Фомичев. Кроме всего прочего, именно он принес приказ о переводе Филиппенко и Бузинова инструкторами в аналогичное подразделение при Тихоокеанском флоте.

— И он поставил вам задачу на предстоящих учениях заминировать «Новороссийск»? — совершенно будничным голосом задал я самый ударный вопрос.

— Речь не шла только о «Новороссийске»,— уточнил Борисенко,— на пробных учениях мы обычно «минируем» почти все крупные корабли, находящиеся в бухте. А на следующую ночь

мины снимаем. И только после учений, если так решит наше командование, информируем о результатах штаб флота. В данном случае несколько групп подрывников также должны были «минировать» и другие корабли. Полковник Фомичев сам ставил им задачи. В частности, именно он приказал поставить учебные мины нового образца под «Новороссийск» и поручил это сделать наиболее опытным подрывникам: мичману Филиппенко и главстаршине Бузинову.

Когда мы узнали о взрыве, то все, поверьте, Василий Лукич, впали в шок. Я сам звонил в Москву, чтобы поговорить с Фомичевым. Но это не удалось, а мой непосредственный начальник сказал мне: «Сиди тихо, пока нам всем головы не открутили».

«Как все просто,— подумал я,— и топорно». Впрочем, именно так я и предполагал, еще находясь в Москве. Серов приказал. А кто мог приказать Серову? Только Жуков, Хрущев и Булганин. Или все вместе.

Я, было, захотел заставить капитана 1-го ранга Борисенко изложить мне все сказанное в письменном виде, но подумал: «На кой мне это надо?». И не стал. И его жалко, и себя.

— Мне следовать за вами? — спросил капитан 1-го ранга, когда я собрался уходить.

— Пока не надо,— сказал я,— вы убедили меня в своей невинности. Если понадобится, мы вас вызовем.

Но на всякий случай содрал с него подписку о неразглашении, которую порвал и выбросил, едва выйдя за ворота части.

— Лукич,— спросил я,— выходит, ты за сутки расследовал историю, над разгадкой которой бьются, как мухи о стекло, современные эксперты и журналисты?

— Не за сутки, конечно,— признался Лукич,— я тебе все несколько упрощенно рассказал. Немного повозиться пришлось, разные проблемы мелкие возникали, не без этого. Но в целом все разъяснилось быстро. Тут скрывать нечего — расследование было не очень сложным. Тем более, что общую картину я достаточно ясно себе представлял, когда поехал в Севастополь. А когда представляешь себе правильно общую картину происшествия, то детали сами приложатся очень быстро.

— Но я все-таки не понял,— сказал я,— почему они выбрали для этой диверсии именно «Новороссийск», когда в гавани было полно других кораблей? Почему этот полковник из Москвы сделал все, чтобы эти мины были положены под «Новороссийск»?

— Что же тут непонятного? — удивился Василий Лукич,— «Новороссийск» был именно потому и выбран, что не представлял абсолютно никакой боевой ценности. Он уже был фактически назначен на слом. Незадолго до этого ЧП Морской Технический Комитет вынес повторное заключение о негодности корабля к эксплуатации. Конечно, при этом совсем не планировалось такое количество жертв. Им нужно было громкое

ЧП, чтобы выгнать Кузнецова и зарубить программу океанского флота. Жуков и Хрущев были одинаково безграмотными, а человеческие жизни для них мало чего значили.

Но в данном случае расчет был на то, что корабль просто сядет на грунт вблизи берега. Ну погибнет там пара человек, этого будет достаточно для расправы с адмиралом Кузнецовым и со всей романтикой маринистики. А раз случилось такое количество жертв — так это им еще более на руку. С адмиралом Кузнецовым расправились быстро, легко и без особого шума. И тут же принялись уничтожать флот. Многие помнят, как на лом шли уже полностью достроенные новые корабли, не говоря уже о тех, достроить которые к тому времени не успели.

— А дальше что было? — спросил я.

— Дальше? — переспросил Лукич.— Дальше, в феврале пятьдесят шестого года, как тебе наверное известно, состоялся XX съезд партии, на котором прозвучала так называемая «секретная» речь Хрущева, разоблачающая Сталина и «сталинизм». Но не это самое главное. Главное, что на съезде, пусть формально, была уничтожена партия большевиков. Перестала существовать ВКП(б), замененная совершенно невдохновляющей аббревиатурой КПСС. Это было началом конца. Этим актом официально признали конец эпохи великого эксперимента, или великого похода, как кому угодно. Признали, что и то, и другое провалилось.

— Понятно,— признался я,— но причем тут адмирал Кузнецов?

— В каждом деле,— объяснил Лукич,— наиболее опасны не фанатики, а романтики. А Кузнецов был таким романтиком великой идеи в отличие от погрязших в роскоши и интригах сухопутных маршалов, которые, не моргнув глазом, вытерли ноги о труп товарища Сталина. Никто из них даже не пикнул, когда великого вождя окунули на съезде в дерьмо.

— А Кузнецов? — спросил я.— Он что-нибудь пытался предпринять после смерти генералиссимуса?

— Против смерти ничего предпринять нельзя,— назидательно заметил Василий Лукич,— но он надеялся, что романтическая идея, вдохновляющая его при жизни товарища Сталина, будет жить. А именно эта идея оказалась наиболее опасной, чего адмирал так и не смог понять.

— И я не понимаю,— признался я,— причем тут эта романтическая идея.

— Да притом,— объяснил Лукич,— что американцев можно победить только на море. Иначе их победить нельзя. Поэтому прежде всего нужно было свернуть программу военного кораблестроения и разогнать романтиков. Что и сделали. А потом уже принялись за все остальное.

— Нет, Лукич,— сказал я,— мне, видно, не подняться до уровня твоих глобальных геополитических выкладок. Давай вернемся к взрыву «Новороссийска». Как подобную катастрофу удалось скрыть от общественности, от страны?

— А что в ней было особенного? — удивился ветеран.— Да подобные катастрофы в нашей

стране случались и случаются чуть ли не каждую неделю. Линкор утонул, а через две недели сгорел элеватор в Ростове-на-Дону с годовым запасом зерна. Погибли сто тридцать человек. А дело все было в том, что нужно было одного секретаря обкома снять, а другого поставить. Или, скажем, в Сибири из-за утечки ядов при производстве химического оружия оказались вымершими семь или восемь больших деревень — двадцать тысяч человек. А выяснилось, что это была разборка, смешно сказать на уровне местного обкома. Шла борьба за место генерального директора, всего навсего! Такие у нас методы.

Не понравились товарищу Щербицкому некоторые шаги Горбачева, а кому они нравились на уровне кондовой номенклатуры — тут же, пожалуйста, взорвался реактор в Чернобыле. Да таких примеров сколько угодно. Начиная с семнадцатого года только перечень подобных катастроф занял бы книгу в пять тысяч страниц самого убогистого текста. Так что на этом фоне гибель какого-то дряхлого линкора, пусть даже с несколькими сотнями человеческих жертв, для снятия с должности почти легендарного главкома можно считать детской шалостью. Могли весь флот уничтожить и Севастополь спалить вместе с Кронштадтом.

— Ну, хорошо, — согласился я, — но вот сейчас, когда через сорок лет об этом наконец разрешено говорить, появились новые версии, в которых пытаются доказать одно: взрыв линкора осуществили итальянские диверсанты только потому, что линкор был итальянской постройки.

— Да, да,— оживился Лукич,— я читал несколько публикаций. Большую часть из них написал какой-то Черкашин. Либо тот самый, а может быть, кто-то из его потомков. Кого-кого, а Черкашиных у нас никогда мало не будет.— Таков у нас народ,— продолжал Василий Лукич,— он готов поверить в самые невероятные сказки о черном князе Боргезе и его головорезах из десятой флотилии, чем понять то, что он, народ, существует только в качестве расходного материала во время политических игр в Кремле и вокруг него. Существует для истребления. Больше у него никаких задач нет.

Я, когда вернулся из Севастополя, как мне и было указано, никому ничего не доложил и пошел дальше читать лекции в обществе «Знание». Но вскоре мне пришлось встретиться с генералом Серовым.

— Ну, тебе повезло, Лукич,— сказал он,— что я тогда проморгал твой приезд в Севастополь. Никогда бы ты у меня в Севастополь не доехал. А когда Загагулько мне доложил, что ты в городе, я подумал, подумал и рукой махнул. Ладно, думаю, Лукичу можно. Пусть разбирается. Ты такие, брат, тайны знаешь, что одной больше, одной меньше — какая разница? Но ты молодец, Лукич, быстро тогда разобрался. Я даже и не ожидал.

— Да что там сложного? — скромно возразил я,— все ведь шито белыми нитками, Иван Александрович. Любой бы на моем месте разобрался.

— Любой,— передразнил меня генерал,— да любой бы, как только первое слово сказал, сразу

же на дне бухты оказался с plombой в затылке и гирей на ногах. Тот молодой, что с тобой по городу ходил, только этого сигнала и ждал. Да не дождался, потому что его самого пришлось пристрелить, когда Загагульку брали. А согласись, Лукич, с линкором этим хорошо мы сработали?

— Да ничего хорошего,— возразил я,— топорно. Да и ребят молодых жалко.

— Что-то ты жалостливый стал, Лукич,— недовольно пробурчал Серов,— что там погигло-то? Меньше тысячи человек. Чего их жалеть? Бабы новых нарожают, как говорил товарищ Сталин. А корабль и так на слом шел. Так что Родина металл получила. Какая разница — так его резать или днищем вверх. Количество стали от этого не уменьшится.

Я промолчал. Серов до войны командовал расстрельной ротой. У него своя логика.

— А с Жуковым тебе удалось встретиться? — спросил я.

— Позднее,— ответил Лукич,— уже в после того, как его с должности Хрущев снял в пятьдесят восьмом году. Жуков в Югославии был с официальным визитом. И пока он там был, его от должности отстранили... А при возвращении в аэропорту его ждал почти целый полк КГБ. Но правила требовали, чтобы присутствовал кто-нибудь из членов или хотя бы кандидатов в члены Политбюро, дабы зачитать маршалу решение о его снятии с должности. Все, конечно, трухнули. Послали Катю Фурцеву, которая в то время была брошена на усиление соцкультуры. Министром она была культуры и кандидатом в члены

Политбюро. Баба боевая. Начинала она у нас надзирательницей во внутренней тюрьме на Лубянке, потом была опером в женской зоне, а позднее перешла на партработу.

Жуков ее выслушал, снял с себя маршальскую фуражку, надел ее Катерине на голову и сказал: «Ладно, командуй теперь ты» и отправился в опалу до конца жизни.

Катя мне позвонила и говорит:

— Лукич, будь другом, отвези маршалу Жукову фуражку. А то неудобно, куда она мне? А могут разговоры начаться, что я без решения Политбюро украла у маршала фуражку.

— Ладно, Катя,— говорю,— по старой дружбе отвезу. А меня на его дачу пропустят?

— Я тебе спецпропуск выпишу,— пообещала она.

Поехал я. Пока доехал, пять раз документы проверяли. На одном посту даже спрашивали, зачем еду, по какой такой надобности? Как к Наполеону на остров Святой Елены добирался.

Я честно говорил, мол, фуражку отвожу маршалу и вообще, ребята, это не ваше дело. Лет пять назад вас за такие вопросы шлепнуть могли, да и сейчас не думайте, что рот можно раскрывать, когда вздумается.

Приехал я. Жуков при виде меня страшно испугался. Я же его допрашивал, когда с дачи в сорок шестом барахло награбленное грузовиками вывозили.

— Что опять случилось, Василий Лукич? — спросил он, когда я вошел,— все же у меня взяли, ничего не оставили, даже ординарца нет. Что ты приехал?

— Фуражку,— говорю,— вернуть вам, товарищ маршал... Фуражку, которую незаконно вы отдали товарищу Фурцевой. Товарищу Фурцевой она совершенно ни к чему. Вот получите и распишитесь.

Слово за слово, мы разговорились и я спросил о «Новороссийске».

— Нет,— сказал Жуков,— в уме ли ты, Василий Лукич? Я такого приказа не отдавал. Я приказал тогда Серову обеспечить условия для снятия Кузнецова с должности. А чего-то там взрывать или какое другое в этом роде — никогда не приказывал. Да ты и сам знаешь, Василий Лукич, что подобные приказы никогда не отдаются, а только выполняются. И зачем? Ты документы посмотри, Лукич, если у тебя допуск есть. У него там и без меня каждый день что-нибудь взрывалось или тонуло. Но ты же не хуже меня понимаешь, что Кузнецова нужно было с должности снять срочно.

— Почему?— простодушно спросил я маршала, надеясь узнать что-то новое.

— Ты не знаешь? — искренне удивился маршал.— Так я тебе расскажу.

Никита Сергеевич хотел к нему пристроить Леню Брежнева из Молдавии начальником ГлавПУРа флота. А Кузнецов не взял. «Мне,— сказал,— пожарники не нужны!» Никита Сергеевич, понятно, обиделся и мне приказал: «Этого сталинского любимчика надо снимать». А я дал указание Серову. Вот и все.

Сразу после этого я от Жукова уехал. Вежливо извинился, сказал, что очень спешу и уехал.

Больше мы с ним не виделись. Маршал уже старенький был. Старше собственной тещи на семь лет. Самое время ему было садиться за мемуары.

— Теперь тебе все понятно? — спросил меня Василий Лукич.

— В принципе, да, — ответил я, — кроме одного. Если ты прав, то как же они позволили нам наклепать такой флот в брежневские времена? Ведь мы строили и строили вплоть до развала Союза!

— В те годы это уже не имело значения, — пожал плечами Лукич, — пока мы клепали корабли и танки, противник вышел на принципиально новые методы сокрушения.

— Какие еще новые методы? — не понял я.

— Один китайский философ сказал, — хитро прищурился Лукич, — что, даже выигрывая одно сражение за другим в течение всей жизни, вы не можете назвать себя Великим полководцем. Ибо Великим полководцем может считаться только тот, кто сокрушает врага, не прибегая к сражениям. Вот так с нами и поступили в девяносто первом году. Так что, сохрани мы линкор «Новороссийск» или нет, принципиального значения это не имело бы никакого.

Примечание: Все указанные в очерке фамилии являются вымышленными. Какое-либо сходство возможно лишь случайно, хотя Василий Лукич знает все настоящие фамилии, которые не разрешил публиковать из этических соображений.

ОРДЕН «ЗА ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО»

Это произошло в конце марта 1996-го года. В течение нескольких дней я тщетно пытался дозвониться до Василия Лукича и стал не на шутку беспокоиться. Лукичу уже исполнилось 92 года. Хотя он прекрасно выглядел, был по-прежнему моложав и подтянут, 92 года — это гораздо больше семидесяти. Тут уж ничего не прибавить, не убавить. Куда он мог запропасться? Сначала я подумал, что у Лукича испортился телефон, и позвонил на станцию. Там меня заверили, что телефон исправен, просто никто к нему не подходит.

Тогда я поехал к Лукичу и минут пятнадцать ждал на кнопку звонка. Мое воображение рисовало самые страшные картины: мертвый Лукич сидит в своем любимом кресле с невыключенным телевизором. Или лежит в ванне. Или на кухне. И газ распространяется по квартире. Я уже готов был вызвать милицию и попросить вскрыть квартиру, когда на мой трезвон вышла женщина из соседней квартиры и сказала:

— Вы к Василию Лукичу? Он уехал.

— Куда уехал? — спросил я. — Он никуда не собирался уезжать.

— Ну, уж, не знаю, — ответила женщина, — сама видела, как он спускался по лестнице в

сопровождении трех молодых людей, а у подъезда стояла машина величиной с трамвай.

И женщина развела руками, показывая, какой величины была приехавшая за ним машинана.

«Боже мой! — подумал я, дрожа от страха, — Лукича арестовали! Стоило нам опубликовать его первые рассказы, как органы тут же вычислили своего ветерана и приняли меры».

Время было очень смутное. Приближались президентские выборы. Разные полуфашистские и нацистские группки, объявив себя правопреемниками КПСС и выставив перед собой для камуфляжа красные знамена и мало разбирающихся в хитросплетениях предвыборной возни ветеранов, рвались к власти. Безликая физиономия их единого кандидата в президенты зловещим предзнаменованием мелькала на митингах, пресс-конференциях и, того пуще — на телевизионных экранах.

Второй год полыхала чеченская война. Российские войска артиллерией, авиацией и установками залпового огня стирали с лица земли чеченские села вместе с мирными жителями, стараясь скрыть факт своего поражения в войне на собственной территории с собственным народом. Правительство, забаррикадировавшись в Кремле, придумало новый способ борьбы с инфляцией, прекратив выплату зарплаты всем бюджетникам, от учителей до сотрудников МВД.

Дума била правительство ниже пояса, утверждая популистские законопроекты о повышении пенсий и зарплаты, принимая идиотские постановления, заставлявшие правительства почти

всех стран принимать экстренные меры на случай реанимации динозавра с серпом и молотом. Захваченная теми, кто называл себя коммунистами, Дума громко агонизировала, испуская вонючий запах тления на весь мир.

В подобной обстановке могло произойти все, что угодно.

Во мне проснулись старые страхи. Я кинулся домой, собрал все материалы, связанные с рассказами Василия Лукича, и перепрятал их в тайник на случай, если ко мне пожалуют с обыском.

Я не находил себе места, каждый день по нескольку раз раз звоня Василию Лукичу, ибо надежда, как известно, умирает последней. Длинные прерывистые гудки, раздававшиеся в телефонной трубке, раскаленными гвоздями впивались в мой мозг. И когда на том конце провода неожиданно ответили, я даже не сразу отреагировал.

Лукич минимум три раза повторил: «Алло! Слушаю вас!», прежде чем я буквально заорал благим матом:

— Лукич! Это ты?

— Я,— спокойно ответил ветеран,— чего орешь?

— Где ты был? Где пропадал?— срывающимся голосом продолжал спрашивать я.

— Отсутствовал,— уклончиво ответил Василий Лукич,— чего ты так разволновался?

— Ну, как же,— сбивчивым голосом начал я выговаривать свое неудовольствие,— пропадешь куда-то, меня ни о чем не предупредил, я, конечно, уже не знаю, что и думать!

— Я, что — перед тобой отчитываться должен? — недовольно буркнул Лукич.— Тоже мне надзиратель выискался. Сопляк еще мне нотации читать.

Я обиженно замолчал.

— Ладно,— примирительно сказал Лукич,— ты меня, наверное, уже похоронил? Еще не время. Заходи как-нибудь на неделе. Не обижайся.

На следующее утро, взяв такси, я помчался к Василию Лукичу.

Он был все таким же — высоким, подтянутым, насмешливо улыбающимся. Первое, что я увидел, войдя в комнату, был лежащий на столе орден «За личное мужество», недавно учрежденный указом Президента и ставший чем-то вроде старой медали «За отвагу». Во всяком случае награждают этим орденом, как и той медалью, столь же часто и почти всех подряд.

— Лукич,— спросил я,— уж не побывал ли ты в Чечне?

— Меня там только и нехватало,— засмеялся Василий Лукич,— сразу бы мы победили, появись я там.

— Да где же ты был?— взмолился я.— И откуда этот орден?

— Где был?— задумчиво переспросил Василий Лукич.— Знаешь, со мной снова произошла одна из тех странных историй, которые преследуют меня на протяжении фактически всей жизни.

— В ЦК КПРФ вызывали? — догадался я.

— Забирай выше,— Лукич поднял вверх правую руку и показал пальцем в небо.

— Зюганов?— с удивлением уставился я на него.

— Да ты что мелешь? Зюганов! Да к этим делам его на выстрел не подпустят. Не гадай, а лучше слушай.

Как-то недавно подходит ко мне наш председатель Совета ветеранов. Он лет на двадцать меня младше, но мужик толковый, распорядительный, из бывших генералов — хозяйственников. Такой тертый калач — не объедешь, не проскочишь. Но, с другой стороны, службу знает: ни одного лишнего вопроса не задаст, ни одного лишнего слова не произнесет.

“Василий Лукич,— говорит он мне,— не хотели бы в дом отдыха съездить, отдохнуть немного на природе. Путевка горит, потому как не сезон. А гляди же, какая благодать кругом — солнышко, морозец умеренный, ни комаров тебе, ни мух. Живи, отдыхай и радуйся!”

“Нет,— отмахиваюсь,— какой там дом отдыха. Мне пенсии-то на жизнь еле хватает, а на путевку уже и не остается.”

“Да вы не беспокойтесь,— понижает голос председатель,— путевка-то ветеранская — совсем бесплатная. И привезут, и отвезут за казенный счет. Как в зону,”— а сам подмигивает.

“Да где это такой рай образовался в наше-то время?”— интересуюсь я.

“В Барвихе,— отвечает председатель,— в бывшем санатории ЦК. Я, когда в «девятке» работал, Гришина туда, помнится, возил. Так меня туда во век не пустили бы. Ну, я тебе скажу, Лукич — это да! Такого ты и во сне не видел.

Наш старый лубянский санаторий по сравнению с ним — барак в зоне строгого режима.

“А за еду сколько берут?” — интересуюсь я.

“Нисколько не берут,— уверяет председатель,— все на халяву. Поезжай, говорю, не пожалеешь.

“Ладно,— отвечаю,— уговорил. Давай путевку, шут с тобой.”

“Ты, Лукич, поезжай домой,— говорит председатель, а завтра до двенадцати за тобой приедут и отвезут. А ты собери там барахлишко: щетку зубную, бритву там и все такое прочее. Уверяют, что там и зубные щетки нынче выдают, но честно скажу, Лукич, в это я и сам не верю.”

Вернулся я домой, собрал щетку, пасту, мыльницу и электробритву. Действительно, где-то около половины двенадцатого — длиннющий звонок в дверь. Открываю — трое. Накачаные здоровенные ребята. Один — в маске.

“Такой-то?” — спрашивают.

“Да,” — отвечаю.

“Собирайтесь,— говорят,— с нами поедете.”

Совсем не похожи на обслугу какого-нибудь дома отдыха. Разве что — казенного дома.

Я тут оробел и спрашиваю:

“А куда едем-то?”

“Там узнаете! — говорит старший,— а пока вопросов не задавать!”

«Да, думаю,— хорошо сейчас в ветеранские дома отдыха ездят. Сервис такой, что всю свою боевую молодость вспомнишь!»

Поехали, выехали из Москвы по какой-то идеальной трассе. Не едем, а прямо летим. Ни

колдобинки тебе, ни выбоинки. А вокруг ели легким инеем сверкают — красотища!

Подъезжаем к шлагбауму. Пятеро в камуфляже с автоматами. На обочине — БТР, вокруг — какие-то молодцы в масках и бронежилетах, обвешанные оружием.

«Батюшки, думаю, куда ж меня везут? Неужто дома отдыха ветеранов ныне так охраняются? Не иначе — боятся, что во время следующего рейда Шамиль Басаев выберет не больницу, а дом отдыха ветеранов ВЧК-НКВД.»

Вижу — впереди дворец, обнесенный старинной оградой. Вдоль ограды — опять же здоровенные мужики в масках и бронежилетах с автоматами наизготовку.

Въехали в ворота. Тот, который в маске, вышел из машины и мне дверцу открывает:

«Выходите из машины!»

«А руки на голову подсжить?» — интересуюсь я.

«Не надо шуток! — обрывает он. — Мы на службе, а не в игрушки играем. Выходите. Сейчас вами займутся.»

Вышел я, гляжу — веранда под легкой колоннадой, к ней идет красивая двухмаршевая лестница. И вдруг... по этой лестнице вниз прямо ручейком бежит целое созвездие юных девочек в белых халатиках. А впереди — дама постарше, полная, тоже в белом халате, напоминающая мою старую знакомую — сталинскую Матрену Ивановну.

«Василий Лукич, — зашебетали хором, — как мы рады видеть вас здесь, Василий Лукич! Будьте у нас дорогим гостем!»

И ведут они меня, ошеломленного, в палату. Палата — это не в смысле больничного обозначения, а, как в старину говорили, царская палата. Коек таких я отродясь не видел — как вертолетная площадка. Кресла всякие, стенки — глаза разбегаются.

“Вот тут,— щебечут девушки,— ванна, Василий Лукич, там — прочие удобства. Вот меню на завтрашний день. Вы не диабетик? Что вам противопоказано? Вон там, напротив — бассейн. Если верхом ездить умеете — есть лошадки. Располагайтесь... Есть захотите — вот этот звоночек нажмите, закажите все, что угодно, вам принесут. Вот эта комната рядом со спальней — столовая. Сервизы — в серванте, выпить захотите — вот в этом баре небольшой набор марочных напитков. Следующая комната — гостиная.”

Дама постарше вступает в разговор: «Если плохо себя почувствуете, то меня вызывайте. Я тут круглосуточно. Укольчиж вам сделаю, все как рукой снимет!»

Тут уж я испугался. Как взглянул на нее, сразу понял — эта, не моргнув глазом, усыпит меня, как старого бульдога.

“Простите,— спрашиваю,— вас, случайно, не Матреной Ивановной зовут?”

“Нет,— смеется она,— зовут меня Матильдой Ивановной. А вот маму мою, действительно, Матреной Ивановной звали. Вы были знакомы?”

“Знал,— отвечаю я,— несколько раз встречаться приходилось.”

А сам думаю: не попал ли я сюда, чтобы просто уснуть за мой слишком длинный язык? Единственное,

что успокаивало, — для такой цели могли бы и поскромнее помещение отыскать. А на такой койке даже и помирать обидно. Буду я на ней лежать, как римский император. А девочки в белых халатиках хором отходную запоют.

Нет, решил я, здесь дело в чем-то другом. Усыпить меня могли и в районной поликлинике, если б приказано было.

“Так это дом отдыха?” — спрашиваю я.

“Да,— кивает Матильда Ивановна,— образцово-показательный дом отдыха Федеральной Службы Безопасности. А я — сестра-хозяйка. Могу укол любой сделать, какой пропишут.”

“Нет, нет,— говорю,— отродясь уколы не делал, даже в гражданскую. И сейчас не хочу.”

“Укольчиков боитесь? — улыбается Матильда Ивановна.— И напрасно. Нам средство прислали прекрасное, американское, по линии ведомств-побратимов, сосуды чистит и омолаживает. А укола не хотите — могу вам таблеточки предложить. И смотрит, прищурившись точно так же, как ее легендарная мамаша, когда думала, как на тот свет человека спровадить — уколом или таблеткой, коль решили на нем патрон сэкономить.

“Здоров я, Матильда Ивановна,— отвечаю,— слава Богу, ни в какой медицинской помощи не нуждаюсь.”

“Вот и славненько,— соглашается Матильда Ивановна,— а то я вижу, годы ваши не малые, Василий Лукич, может быть, что-то вас беспокоит,— я и хотела узнать. А так — отдыхайте, купайтесь в бассейне, гуляйте по парку.”

“А я, что, один здесь отдыхающий,— осведомляюсь,— или еще кто присутствует?”

“Пока один,— говорит Матильда Ивановна,— остальные еще не подъехали. Но вы не волнуйтесь — скучно не будет. Все здесь есть для хорошего времяпровождения: телевизор, видик, кассеты к нему — вот на этой полке; на втором этаже есть библиотека, бильярдная и многое другое. Осваивайтесь.”

Живу я здесь день-другой, ем, пью, сплю, по парку гуляю. Отдыхаю, одним словом. И даже не знаю, на какой срок у меня путевка выписана. Спросил у Матильды Ивановны, а она мне говорит:

“У вас срока нет, Василий Лукич. Мы вам сами скажем, когда будет достаточно. В ваши годы наш микроклимат выдерживают не очень долго. Зря вы не хотите пройти процедуры...”

«Нет,— думаю,— больше никаких вопросов задавать не буду. Убивать меня, как будто, никто не собирается, но впечатление полное, что посадили меня под домашний арест. Хотел я это проверить и попытался выйти за территорию. Ничего не вышло, конечно. Задержали, правда, врать не буду, очень вежливо повернули назад.»

“Заблудились, Василий Лукич? Вам вон туда надо.”

“Мне в Москву надо,”— говорю я.

“После окончания срока, Василий Лукич, мы вас в Москву обязательно отвезем, а пока у вас еще срок не кончился.”

“А какой у меня срок?” — интересуюсь я.

“Это вы должны лучше меня знать,— говорит охранник на воротах,— не я вам срок выписывал.”

Тут же меня Матильда Ивановна поймала:

“Вы, говорят, заблудились, Василий Лукич? Все-таки, склероз одолевает. Сосуды расширить надо бы...”

«Во,— думаю,— влип. И куда деваться?»

После обеда пошел в парк погулять. Парк большой. Где-нибудь наверняка найду дырку, сбегу. Силы еще есть, до станции доберусь, а там уже до Москвы рукой подать.

Ничего не вышло. Никогда не видел, чтобы дом отдыха, даже нашего ведомства, охранялся пуще зоны особо строгого режима!

Иду назад по аллее ко дворцу, вижу, навстречу мне мужик идет какой-то. Лет пятидесяти, может немного меньше. В спортивном костюме «Адидас», в легкой спортивной курточке поверх костюма и в вязаной шапочке с помпончиком на макушке. А рядом с ним здоровенный пес бежит — овчарка немецкая.

Я еще издали гляжу — лицо какое-то знакомое. Ну, точно, видел его где-то и не раз, а вспомнить не могу. Склероз! Надо бы, думаю, действительно, укольчик сделать!

Поравнялись мы и вдруг этот самый мужик говорит мне:

“Здравствуйте, Василий Лукич!”

“Здравствуйте,— отвечаю,— коль не шутите.”

“Ну, как вам у нас,— спрашивает,— нравится?”

“Ничего,— говорю я,— народу только маловато.”

“А вам народ нужен? — удивляется он,— по мне, чем меньше народу, тем меньше хлопот. А потому я запретил на этой территории появляться кому-либо без особого разрешения.”

“Господи,— думаю я,— да кто же это такой? Лицо знакомое,— не начальник ли местный какой? Но где же я его мог видеть? Здесь не бывал, никого сюда не возил. В гостях у меня он не был. Не могу вспомнить, что хочешь делай! А он пса своего на поводок взял и говорит, беря меня под руку:

“Товарищ тут один с вами поговорить хочет, Василий Лукич. Не откажите ему в таком одолжении. Пойдемте со мной.”

За это время, не общаясь ни с кем, кроме Матильды Ивановны, я слегка одичал и сам нуждался в общении. Почему бы и не поговорить с человеком, коль у него охота есть? Может быть, разговор окажется даже очень интересным? А чем еще в мои годы заниматься в доме отдыха? Только беседовать. Да вот только не было с кем.

Поэтому я послушно дал подвести себя к какой-то боковой двери в левом флигеле дворца. Мой спутник натренированным движением пальцев нажал кнопки цифрового замка и открыл дверь. Мы очутились в небольшом предбаннике, где трое ребят в камуфляже сидели по углам, держа автоматы на коленях.

При виде нас они вскочили и вытянулись по стойке «смирно».

Впрочем, мой спутник не удостоил их даже взглядом, а лишь передал одному из них поводок вместе с овчаркой.

“Думаю, Василий Лукич,— обратился он ко мне,— мы здесь разденемся, а то беседовать в куртках... сами понимаете...”

Мы разделись и, пройдя несколько помещений первого этажа, в каждом из которых находились по два-три охранника, поднялись по изящной лестнице на второй этаж и очутились в уютной, со вкусом обставленной комнате, где преобладал цвет зеленоватых тонов — от обоев до мебели.

Вокруг низкого круглого столика стояли три кресла. Одно из них было заметно больше других, подлокотники в виде львиных лап позолочены, а высокая спинка украшена золотым барельефом в виде двуглавого орла.

У меня мелькнуло в голове, что это кресло слишком явно претендует на звание трона, а не кресла, но я сначала не придавал этому значения.

Мой спутник усадил меня в одно из малых кресел и сказал:

“Подождите минут пять здесь, Василий Лукич. Я сейчас вернусь.” И юркнул в боковую дверь, которую я сначала не заметил.

Действительно, не прошло и пяти минут, как я услышал голос, раздавшийся за неплотно прикрытой дверью, куда исчез мой спутник. Этот голос хорошо знала вся Россия.

“Ну, что ты, понимаешь, в натуре,— говорил голос,— я же ясно сказал, понимаешь, что надо делать! А вы как в игрушки играете!”

“Борис Николаевич,— раздался голос моего спутника,— все будут сделано, как вы велели. Не сердитесь.”

“Да я и не сержусь, понимаешь,— недовольно отвечал Борис Николаевич,— сердись — не сердись, все одно. Вам же хуже будет, если я Ниязова приглашу.”

Теперь-то мне все стало ясно! Как в кроссворде, когда правильно угаданное слово дает ответы по множеству направлений, так и я, услышав голос нашего президента, мгновенно все понял.

Ну, конечно, это никакой не дом отдыха, а его резиденция. Я ему для чего-то понадобился, но он не мог точно сказать, когда точно появится в этом дворце, и меня доставили сюда заранее. И я сразу вспомнил, где видел приведшего меня в здание человека, которого встретил, якобы случайно, во время прогулки по парку.

Видел я этого человека по телевизору. Это был знаменитый генерал Коржаков — начальник службы безопасности президента, «политик № 2» во всех многочисленных рейтингах наиболее влиятельных лиц в окружении Ельцина и «начальник дворцовой стражи», как его называли некоторые фрондирующие газеты.

Ну, наш председатель ветеранов мне и удружил на старости лет! Ведь знал, подлец, куда меня посылает! «Возьми путевочку, Лукич, отдохни,— не пожалеешь!» А я-то — старый дурак, купился. Все хочется верить в какие-то чудеса, хотя точно знаешь, что чудес не бывает.

Между тем дверь открылась и в комнату, сопровождаемый верным Коржаковым, вошел Президент. Даже не вошел, а, скорее заполнил собой все помещение. От его огромной медвежьей фигуры стало как-то тесновато.

“Извините меня, Василий Лукич,— разводя руками и улыбаясь, пробасил Ельцин,— извините, что заставил вас ждать. Дел, понимаешь, невпроворот!”

Прежде чем я успел сообразить, о чем идет речь — извиняется ли президент, что заставил меня ждать сегодняшние пять минут, или он имел в виду почти неделю, проведенную мною здесь, как он подошел ко мне почти вплотную, обнял и троекратно облобызал. Потом отстранился, внимательно поглядел на меня и, повернувшись к Коржакову, заявил:

“Каков, понимаешь, молодец! Посмотри, Коржаков — девяносто два года. Вот она Россия. Вот они — русские богатыри! Вы, Василий Лукич, и есть Великая Россия!”

“Да,— согласился я,— я и есть, Борис Николаевич, Великая Россия. Только помру скоро.”

“С чего это? — насупился президент.— С чего это вы помирать собрались, Василий Лукич? Нет, этого мы вам, смотри, не позволим. Верно я говорю, Коржаков? Не позволим умереть Василию Лукичу?”

“Не позволим, Борис Николаевич,”— подтвердил начальник службы безопасности.

“Вот так-то!” — обрадовался президент.

Потом он оглянулся по сторонам, сунул руку в карман пиджака, вынул оттуда маленькую красную коробочку и протянул ее мне.

“Примите,— сказал он,— дорогой Василий Лукич, э т о как знак моего личного восхищения вами и вашей героической биографией.”

Я поблагодарил и спрятал коробочку в карман.

Президент и Коржаков переглянулись.

“Вы даже не посмотрели, что там”

“Я знаю, что там, спасибо, Борис Николаевич. Но ведь меня пригласили сюда не только для того, чтобы вручить орден?”

“Что значит школа! — восхищенно заметил президент.— Все, понимаешь, сечет! Учись, Коржаков! Говорят, Василий Лукич,— обратился он ко мне,— что вам и с самим Лениным приходилось встречаться?”

“Приходилось,— подтвердил я,— и не раз.”

“Вы у него в охране служили?” — почтительно вставил вопрос Коржаков.

“Можно и так сказать,— согласился я,— хотя это не совсем точно.”

“Мы многое о вас знаем,— сказал Ельцин,— а еще больше о вас слышали. О вас былины слагают, как об Илье Муромце, Василий Лукич. Есть даже версия, что именно вы свергли сталинский режим в пятьдесят третьем году.”

“Это преувеличение,— улыбнулся я,— товарища Сталина я и в глаза не видел.”

“А потом вы долгие годы были профессором политической истории в Московском университете?” — поинтересовался Коржаков.

“Это точно,— сказал я,— до сих пор числюсь там консультантом.”

“А сами что-нибудь пишете?” — спросил Коржаков, стрельнув взглядом в президента.

— Упаси Бог! — признался я.— Силы уже нете. В своей жизни ничего, кроме диссертации в адъюнктуре академии, не писал.”

“А какова была тема вашей диссертации,

Василий Лукич?” — полюбопытствовал начальник службы безопасности.

“«Теория политического заговора в рамках тезиса товарища Сталина об обострении классовой борьбы по мере нашего продвижения к социализму», — пояснил я. — К этому времени товарищ Сталин развил новую теорию о том, что по пути от социализма к коммунизму классовая борьба обострится еще сильнее, поскольку общество стало бесклассовым. Это была гениальная идея. Только преждевременная смерть помешала товарищу Сталину воплотить этот новый общественный закон в жизнь.”

“А где-нибудь можно ознакомиться с вашей диссертацией?” — глядя на меня исподлобья, спросил Коржаков.

“Боюсь, что нет, — ответил я, — диссертация была секретной и осталась в архивах академии. Помнится, лет тридцать или даже больше тому назад мне позвонил один из библиотекарей академии и сообщил, что моя диссертация рассекречена, а потому подлежит уничтожению. Он предложил мне ее забрать, если у меня есть такое желание. А я отказался. Значит, ее спалили.”

Тут я соврал. Диссертация находилась у меня, и я даже время от времени ее перечитывал. Тот библиотекарь умер и концов не найти, если даже они захотят, поскольку в начале шестидесятых годов был приказ уничтожить все научные труды, основанные на теоретических выкладках товарища Сталина. А отдавать им мою диссертацию я не хотел. После моей смерти — пожалуйста. Да и не поняли бы они в ней ничего.

Товарищ Сталин пользовался непривычной для всего мира терминологией: классы, правящие классы, оппортунисты, уклонисты, народные массы, путь к социализму, путь от социализма к коммунизму, большевики, меньшевики, буржуазные националисты и тому подобное.

Эту терминологию он придумал не сам, а почерпнул у двух романтиков-шизофреников — Маркса и Ленина... А если бы кто-нибудь перевел его работы на язык общепонятных человеческих терминов, заменив, скажем, правящие классы «элитами», назвав буржуазных националистов просто «националистами», а народные массы «налогоплательщиками», то получилась бы неплохая политологическая работа.

Из нее вытекало бы, что при движении любого общества, объединенного в государство, по пути прогресса в рамках развития цивилизации неизбежно растет сопротивление консервативных сил, составляющих, как правило, большинство в любом государстве. А это, разумеется, тормозит движение по пути прогресса. Но движение продолжается, корректируемое этими самыми консервативными силами.

Товарищ Сталин просто очень спешил. Он считал, что если изолировать или уничтожить всех этих консерваторов, которых он в разное время обзывал по-разному, то в стране начнется стремительное движение по пути прогресса. При этом он так спешил, что не заметил, как его поезд, мчавшийся в коммуну, ловкие стрелочники перевели на путь, ведущий в пропасть.

К счастью для всех, этот поезд слетел под откос,

даже не достигнув пропасти; а задолго до этого самого товарища Сталина на полном ходу выбросили из кабины на рельсы. Такова была практика, поскольку никто не знал теории. А тех, кто громко говорил, что все знает, было принято немедленно расстреливать, чтобы не мешали стремительному движению советского общества к великой цели.

После моего ответа относительно судьбы диссертации наступила неловкая пауза. Видимо, они что-то о ней пронюхали, а это в сочетании сходящими обо мне небылицами заставило их полагать, что именно в моей диссертации можно найти панацею от всех бед сегодняшнего дня.

“Василий Лукич,— прервал молчание президент,— а вы собираетесь идти на выборы?”

“Если доживу, то пойду обязательно,”— пообещал я.

“И за кого вы собираетесь голосовать?” — поинтересовался Коржаков.

“За Мавроди,”— ответил я без тени улыбки.

Президент, который только что вручил мне красную коробочку и назвал, как и балерину Плисецкую, «Великой Россией», явно рассчитывал на другой ответ.

“За Мавроди? — переспросил он.— Вы тоже из числа обманутых вкладчиков, которые вложили деньги в эту его «МэМэМэ»?”

“У военных пенсионеров, каковым являюсь я, нет лишних денег, чтобы ими рисковать,— заверил я,— а голосовать я пойду за него, чтобы не голосовать ни за кого другого. Пусть на старости лет Мавроди будет приятно вспомнить, что

на президентских выборах за него хоть кто-то проголосовал. Тем более, что вспоминать об этом ему придется, наверняка, в тюрьме.

“Вот всегда так, понимаешь,— недовольно буркнул президент,— делаешь людям только хорошее, а они все норовят тебя, понимаешь, подкусить и проголосовать либо за Зюганова, либо за еврея этого... Как его?”

“Жириновского?” — подсказал Коржаков.

“Не,— вспомнил президент,— за Явлинского. Или там за Говрухина какого-нибудь. Я понимаю, Василий Лукич, что вы шутите. Но нам-то, понимаешь, не до шуток. До 16 июня совсем мало осталось, чтобы со всеми разобраться.”

“Я не понимаю пока одного,— ответил я,— чем я могу быть вам полезен? Может быть, надо кого-нибудь арестовать?”

“Во! — вскрикнул президент.— Учись, Коржаков! Что значит школа настоящая! Смотри, как мыслят!”

Президент настолько не скрывал своего восхищения, что я не удивился бы, увидев в его руках еще один орден для моей особы.

“Нет,— сказал Ельцин, настроение которого явно повысилось,— никого, дорогой Василий Лукич, арестовывать, конечно, не надо. Пока. Но вот вы, как специалист, не считаете, что в нашей стране в настоящее время имеет место заговор.”

“Вы имеете в виду тех,— поинтересовался я,— кто, объединившись вокруг Зюганова, называют себя коммунистами?”

“Ну, допустим, понимаешь,— уклончиво от-

ветил президент,— допустим, я имею в виду именно их. Как бы вы поступили на моем месте?”

“Без всякого колебания,— ответил я,— запретил бы их и разогнал. А главарей еще раз отправил бы отдышаться в Матросскую тишину.”

Президент вздохнул и покачал головой.

“Вы не демократ, Василий Лукич,— с укоризной сказал он.— Сразу видно, что вся ваша сознательная жизнь пришлась на эпоху самого жестокого тоталитаризма. Ваши методы были хороши тогда, но сейчас они не годятся.”

“Нет,— возразил я,— извините меня, Борис Николаевич, но мы с вами прошли одну школу демократии — школу демократического централизма. А она учит: «если враг не сдается», с ним что делают? Правильно: «уничтожают», как прошлый Верховный Совет. Можно с помощью танков, а можно и без.”

“Ну, вы прямо поэт какой-то,— пробормотал Ельцин,— поэт тоталитаризма. А демократия, между прочим, предусматривает в стране наличие самого широкого политического спектра, понимаешь, от крайне левых до крайне правых. Это и есть демократия. Мне еще президент Буш объяснял.”

“Особенно, когда нет центра,— подсказал я,— и вся демократия состоит из крайне левых и крайне правых, которые, кстати говоря, давно объединились и ждут только своего часа, чтобы с большим удовольствием вздернуть вас на виселице. Это их общая программа, которая, казалось бы, оставляет вам только один выход —

нанести по ним упреждающий удар, пока не поздно. Но вы этого не делаете. Почему?”

“Как я могу это сделать? — развел руками президент, — в условиях нашего демократического общества и рыночной экономики?”

“Как гарант конституции, — подсказал я, — конечно, в виду не имеется наведение по всей стране такого же конституционного порядка, какой, скажем, наводят в Чечне. Вовсе нет. Я вообще предлагаю взглянуть на всю эту проблему иначе. Под другим, так сказать, углом зрения.

Президент хотел что-то ответить, но я остановил его властным движением руки.

Этот жест выработался у меня в течение долгих лет службы, когда мне приходилось прерывать «презентацию невинности» у допрашиваемых. Он подействовал и на президента, поскольку он промолчал.

— В стране существует совершенно легально, — продолжал я, — политическая группировка, именующая себя Коммунистической партией Российской Федерации. В свое время только за робкую попытку создать подобную партию товарищ Сталин безжалостно расстрелял весь ленинградский обком и горком ВКП(б). Все считают, что он сделал это только потому, что был кровавым убийцей и маньяком. Вовсе нет. Он прекрасно понимал, что создание подобной партии будет означать конец ВКП(б) как в с е с о ю з н о й партии и это приведет к распаду страны. Как только ослабили репрессивные меры, эти сепаратисты снова зашевелились. Тон задавала разная партийная мелкота от уровня обкомовских

инструкторов, секретарей разных мелких райкомов до засидевшихся на своих местах инструкторов и заведующих секторами в ЦК.

Создание РКП предоставило им возможность катапультироваться с казенного табурета в каком-нибудь райкоме, а то и в цеховом партбюро, в кресло члена нового Политбюро и ЦК.

Разумеется, эта тенденция была замечена противником и всячески поощрялась. Внутренняя напряженность росла и потому, конечно, что в так называемые «годы застоя» фактически не было никаких перемещений в верхних эшелонах партноменклатуры. Это вам известно, наверное, лучше, чем мне.

Когда последний генсек Горбачев начал свою перестройку, он открыл дорогу не только гласности и демократии. Под шумок размножения, как тогда называли, «демократических неформалов», немедленно возникла и коммунистическая партия России, которой уже никто помешать не мог. Появление этой партии, которую тогдашний премьер Николай Рыжков метко назвал «партией аппаратных люмпенов», настолько ослабило КПСС и усилило компартии союзных республик, набитые сепаратистами, что КПСС рухнула и развалилась вместе с Советским Союзом, а образовавшаяся РКП быстро объявила себя ее правопреемницей.

Вы, конечно, помните, уважаемый Борис Николаевич, как повела себя эта, извините за выражение, «партия», когда вы уже стали президентом? Зюганов открыто поддержал ГКЧП в августе девяносто первого года и отделался легким

испугом, ибо вашим указом была запрещена КПСС, а не РКП. Зюганов со своей компанией стал основным застрельщиком событий девяносто третьего года, ловко используя беспросветную глупость Хазбулатова и Руцкого. После подавления этого путча вы, насколько мне помнится, запретили РКП, но та возникла под названием КПРФ.

Немного отсидевшись по щелям и убедившись, что им ровным счетом ничего не угрожает, «партия» Зюганова приступила к открытой подрывной и антигосударственной деятельности, превращаясь на глазах в национал-социалистическую — даже не партию, а группировку. От старого у нее осталась только атрибутика. В эту партию вошли и остатки амнистированного ГКЧП: генерал Варенников, который, если вы не забыли, отправлял в девяносто первом году по всем каналам директивы, требуя вашего немедленного ареста и расстрела на месте, там же ваш «старый друг» Лукьянов, для которого единственным смыслом жизни осталось только сведение с вами личных счетов. Я уже не говорю, что там пригрелся и Крючков — человек, возможно, и не очень умный, но, согласитесь, великолепно информированный. В тени зюгановской «партии» трутся друг о друга боками и такие генералы, как Макашов, Ачалов, Стерлигов и многие другие, которых вам не надо особо представлять.

Я понимаю, что все это было бы не имеющей большого значения ерундой для такого человека как вы, Борис Николаевич, в руках которого как бы сосредоточена вся государственная власть:

армия, ФСБ, казна и поддержка мощных региональных элит, возглавляемых бывшими секретарями обкомов, смотрящих на Зюганова — никому не известного вчерашнего инструктора ЦК, потолок мышления которого находится на уровне жэковской партиячейки,— со смесью плохо скрываемого презрения и недоумения.

Но суть дела заключается в другом. Система, задействованная в стране после 1917-го года, была, по сути дела, рабовладельческой. И не вдаваясь в подробности, она, как и положено при платоновском социализме, разделила все общество на рабовладельцев, надсмотрщиков и рабов.

Вы, Борис Николаевич, решив создать в России первый раз за тысячу лет свободное общество, уговорили высшую знать в лице секретарей обкомов и горкомов встать под ваши знамена. Но вы не учли огромное количество мелких работорговцев, которые упивались своей властью и легкими хлебами по заводским, армейским, институтским и цеховым парткомам, которые заполняли кабинеты огромных зданий КГБ, партии и комсомола, которые мелкими плантаторами сидели в сельских райкомах и сельсоветах. Эти люди не умеют работать в свободном обществе, они не способны выполнять никакой полезной работы, и для них перемены в нашем обществе означают смерть не только от тоски по прошлому, но и от голода. Поэтому они сделают все возможное, чтобы отбросить Россию назад.

Беда в том, что их много. А потому группировка Зюганова имеет сообщников повсюду: в армии, в службе безопасности, в промышленности,

в сельском хозяйстве, в литературе и искусстве, в прессе. Словом — повсюду, ибо КПСС и КГБ являлись всепроникающими структурами.

Главная задача для них теперь — свалить вас и ваших союзников, захватить власть в стране и — а это произойдет неизбежно, если они победят на выборах,—любыми способами вернуть под себя территории бывшего СССР. А это уничтожит Россию так же, как они уничтожили СССР.

Оглянитесь вокруг себя, уважаемый президент, разве вы не видите заговора, который осуществляется абсолютно открыто.

Сообщник Зюганова генерал Дудаев поднимает мятеж в Чечне. Вы бросаете туда армию, но сообщники Зюганова в Министерстве обороны ведут эту операцию таким образом, чтобы не победить повстанцев, а истребить как можно больше собственных солдат и распахать по карманам как можно больше казенных денег. Сообщники Зюганова в ФСБ сделали армию и страну слепой и глухой. В Чечне они подставляют армию под внезапные удары повстанцев, они сделали открытыми для нападения все города и села России, включая Москву.

Сообщники Зюганова предоставляют вам, Борис Николаевич, вздорную чушь, которую по большому счету даже нельзя назвать дезинформацией, выставляя вас на посмешище всему свету. Вспомните хотя бы знаменитых «38 снайперов» во время событий в Первомайском.

Сообщники Зюганова в армии, ФСБ, среди «красных директоров» в промышленности поставляют Дудаеву новейшую технику, которой

еще нет в войсках, они шлют ему все — от обмундирования до лучших лекарств, названия которых наши военные медики даже не слышали. Те же самые сообщники из «красных директоров» не выплачивают своим рабочим зарплату, крутя деньги в коммерческих структурах или просто прикарманивая.

Это поднимает волну народного возмущения, когда люди готовы идти за кем угодно, чтобы спасти свои семьи от голодной смерти.

В то же самое время государственные каналы телевидения и добрая половина прессы ежедневно раздувают ностальгию по «старым добрым временам», когда водка стоила три рубля и колбаса — не больше, если ее удавалось с боем где-нибудь перехватить.

Разве это не заговор?

Разве может существовать легально партия, которая открыто провозгласила своей задачей свержение существующего в стране политического строя, которая открыто не признает конституции, саботирует все решения правительства, когда даже председатель думского комитета по безопасности, не скрываясь, занимается подрывной деятельностью.

Я всю жизнь прослужил в госбезопасности и могу ручаться, что при зюгановской «партии» уже сейчас действует тайная Чрезвычайная Комиссия, состоящая из бывших парторгов и отставных офицеров КГБ, которые выносят и исполняют смертные приговоры тем, кто в нынешних условиях может продемонстрировать пример успеха в сфере предпринимательства, в банковском

деле, в администрировании новыми структурами и прочем. При этом все списывается на какую-то абстрактную мафию или никому неизвестные преступные группировки.

“А что вы скажете,— спросил Коржаков, который слушал меня, кусая губы,— об их последней выходке с денонсацией Беловежских соглашений? Зачем им это понадобилось?”

“В старые времена,— объяснил я,— когда ловили какого-нибудь поэта при написании знаменитого русского словечка на стене Большого театра, то ему тоже задавали вопрос: зачем он это сделал. А поскольку он, естественно, ответить не мог, то в протоколе обычно писали: «из хулиганских побуждений». Вот и это постановление было принято зюгановцами из хулиганских побуждений. Поскольку бездеятельность властей ежедневно прибавляет им наглости, а ничего полезного они сделать не в состоянии, они начинают хулиганить. Обратите внимание, стоило вам сдвинуть брови, Борис Николаевич, как они немедленно из наглых триумфаторов превратились в оправдывающихся мелких пакостников.

“Но я не могу разогнать Думу до выборов,— мрачно заметил президент,— а Зюганов имеет парламентскую неприкосновенность.”

“Все это делается элементарно просто,— рассмеялся я, хотя понимал, что этого не следовало бы делать.— Даже странно объяснять вам столь простые вещи. Его люди,— я указал на Коржакова,— совершают налет на штаб-квартиру КПРФ в Москве или же в любой провинции,

а можно и там, и там. Уверяю, что вы найдете там массу интересного: расстрельные списки, документы, доказывающие связь с иностранными государствами, вроде Кубы, Северной Кореи или Ирака, криминальные источники финансирования от игорного бизнеса до прямой измены. Все это публикуется, КПРФ запрещается, ее фракция в Думе в силу этого объявляется распущенной. Кстати, вам уже сообщили, что зюгановцы в Думе нацепили значки с надписью «Народный депутат РСФСР». Такого государства сейчас не существует, так что они фактически отрицают свое российское гражданство.

“Они уйдут, понимаешь, в подполье,— буркнул президент,— еще больше мороки будет.”

— Подполье! — я, уже не стесняясь, засмеялся и того пуще.— Какое подполье? Помните, как они сидели в подполье после путча девяносто третьего года? Это подполье легко вычисляется по количеству отвезенной туда мягкой мебели и румынских спальных гарнитуров. Поэтому я могу вам, господа-товарищи, честно сказать: в подполье можно встретить только крыс!

Но мы отвлеклись,— продолжал я в порыве лекторского вдохновения.— Так я хотел бы спросить: почему подобной группировке разрешено легальное существование?”

“Извините, Василий Лукич,— сказал Коржаков, но вы безнадежно отстали от жизни. Мы живем в условиях демократии. Идет нормальный демократический процесс... А то, что вы нам предлагаете, извините, ушло в прошлое.”

“Господа-товарищи,— ответил я,— мне при-

шлось изучать искусство политической интриги у самого Ильича. И товарищ Сталин тоже, поверьте, был не лыком шит. А как раз все, о чем вы говорите, шито белыми нитками. Простите меня, старика, за прямоту, уважаемый президент, но разве не ясно, что не будь Зюганова, ваши шансы быть выбранным на второй срок были бы равны нулю. Вот они с Жириновским и отрабатывают свою бюджетную зарплату, которая, может быть, только им и выплачивается в срок.

Все это так. Но опасайтесь — обстановка может при нынешних обстоятельствах очень легко выйти из-под вашего контроля. Не перехитрите сами себя, как говорил товарищ Менжинский.”

“Эх, ветераны,— проговорил президент, вставая.— Все вам, понимаешь, заговоры мерещатся и перевороты из вашей боевой молодости.”

Он потряс своим здоровенным кулаком: «Вот они у меня все где!»

“Не уроните,”— почтительно заметил я.

“Чего?” — не понял президент, а сообразив, улыбнулся одной из своих знаменитых улыбок, котоую я расшифровал однозначно: «если уроню, то у всех головы отлетят, понимаешь. Я шутить не люблю».

Тут уж по глазам его я понял,— улыбнулся Лукич,— что и у демократии есть положительные стороны. Будь у меня такие права, я бы его самого наградил этим орденом «За личное мужество». Рисковый мужик, я тебе скажу!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

— Василий Лукич,— сказал я, придав своему голосу как можно больше оптимизма,— с вас приходится!

— Что еще случилось? — настороженно осведомился ветеран.

— Нашелся человек,— радостно объявил я,— который согласился опубликовать ваши воспоминания!

— А он не псих? — спросил Лукич.

— Нет,— заверил я,— в годы советской власти он отмотал срок за антисоветскую пропаганду и агитацию. При обыске у него в тайнике нашли стихи Бродского и посадили за это на пять лет. После освобождения из зоны Горбачевым и декларирования свободы печати он решил стать издателем и дал себе слово печатать только мемуары чекистов. От греха подальше. Прочитав рукопись, он пришел в восторг, считая ваши рассказы триумфом возрождающегося соцреализма.

— Конечно,— согласился Василий Лукич,— у меня там только правда, хотя и слегка приукрашенная. Как и положено в соцреализме.

— Однажды,— продолжал ветеран,— писатели пригласили товарища Сталина на свой съезд и попросили у него указаний, как освещать те или иные события. Вождь подумал и сказал: «Пишите правду. Но не всю правду». Это и есть

соцреализм. Если бы я всю правду написал, то даже и ты не поверил бы. А так, как у меня написано, все правдиво, а главное — доходчиво для рядового читателя.

— Издатель слово в слово сказал то же самое, что и вы,— обрадовался я,— он назвал главными достоинствами ваших воспоминаний историческую достоверность в сочетании с красотой литературного изложения. Он сразу обратил внимание на то, что книга предназначена не для эсте­тирующих жлобов, а для рядового человека с улицы. «Этот чекист,— сказал он, — вышел из гоголевской шинели, как и все реалисты. И критические, и социалистические». И предложил выпустить ваши воспоминания под общим названием «Джеймс Бонд из НКВД». Как вы?

— Ну, нет,— запротестовал Василий Лукич,— какой же я Джеймс Бонд? Он только и делал, что людей мочил и спал со всеми девками, что под руку попадались. А я за всю службу ни одного человека не убил и твердо придерживался правила: «не живи, где...»

— Знаю, знаю,— прервал я его,— да, вы правы... Джеймс Бонд — это не совсем удачно. Морально-нравственный уровень у него, конечно, очень низкий.

— И духовности никакой,— добавил Лукич,— нет, придумайте что-нибудь другое.

— Хорошо, а как ты, Лукич, отнесешься,— поинтересовался я,— если мы назовем твою книгу «Д'Артаньян из НКВД»? Годится?

— Д'Артаньян? — недовольно пробормотал Лукич, хотя в его голосе слышалось уже гораздо

меньше протеста,— больно задиристый петушок был, вечно за табельное оружие хватался, в городе хулиганил, с патрулями дрался, взятки брал...

— Но службу знал,— вступился я за знаменитого гасконца.

— Службу знал, конечно,— подтвердил Василий Лукич,— он же в личной охране короля служил. Можно сказать, в службе безопасности главы государства. И в караулах их гноили, и на войне клали, и по тюрьмам-зонам комендантами распихивали, и, если кого взять надо было, тоже их посылали, королевских мушкетеров.

— Вот именно,— возликовал я,— Д'Артаньян за свою службу арестовал не меньше людей, чем ты, Лукич. Помнишь, он уже совсем старенький был, но именно ему король поручил взять и отвезти в СИЗО временного содержания первого министра Фуке? Совсем, как при товарище Сталине. А что касается драк с гвардейцами кардинала, то, скажи Лукич, положи руку на сердце, неужели тебе никогда не приходилось по молодости лет драться в каком-нибудь ресторане с ментами или с амбалами, что охраняют мавзолей?

— Всякое бывало...— признался Лукич,— когда мозгов нет, то чего не случается.

— А за что вы дрались? — полюбопытствовал я.

— Из гонора,— покраснел Лукич,— чья служба важнее, выясняли... Но чаще из-за девиц.

— Видишь,— обрадовался я,— совсем как Д'Артаньян — за честь и за даму.

— Я тебе больше скажу,— засмеялся Лукич,— мне однажды пришлось тайно доставить в

Москву бриллиантовые подвески Галины Брежневой, чтобы избежать страшного скандала на пленуме ЦК. Вся служба Андропова меня ловила вместе со щелоковскими ментами.

— И что? — открыл я рот от изумления.

— Не поймали,— скромно ответил Лукич.

— Почему же ты мне об этом ничего не рассказывал? — почти возмутился я.

— Всею свое время,— успокоил меня Василий Лукич,— придет время —расскажу.

— Ну, так ты вылитый Д'Артаньян,— убежденно заявил я,— подвески возил «принцессе крови», Ленина в зоне стерег, Ким Ир Сена арестовывал. Да ты даже превзошел Д'Артаньяна лихостью. Мы еще с тобой, Лукич, три продолжения книги сделаем, как у Дюма — «Двадцать лет спустя», «Десять лет спустя».

— Я вот только маршалом не стал, как Д'Артаньян,— вздохнул Лукич.

— Зато маршалы перед тобой трепетали, когда ты на их дачах шмон проводил,— напомнил я Лукичу.

— Это точно,— согласился Лукич,— еще как трепетали!

И мы с ним решили назвать книгу «Д'Артаньян из НКВД». Если уж возрождать соцреализм, то только так.

*Санкт-Петербург,
зима-весна 1996 г.*

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Зона особого назначения	9
Брачное свидетельство	19
Рухнувший план	38
Подарок президенту	50
Именной браунинг	67
Завещание Сталина	96
Дело библиофилов	120
Инкарнации товарища Сталина	150
Ленинский юбилей	279
Пьяный диспут	348
Севастопольский взрыв	376
Орден «За личное мужество»	476
Послесловие	506

Игорь Бунич

Д'Артаньян из НКВД

«ОБЛИК»

Лицензия ЛР 040556
от 16 декабря 1992 г.

OCR - Давид Титиевский, февраль 2017 г., Хайфа

Подписано к печати 24.04.96. Формат 84 × 108¹/32.
Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,88. Тираж 20 000 экз. Заказ № 391.

Издательство НПП «Облик». г. Павловск, ул. Люксембург, 1/16.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ордена Трудового Красного Знамени ГП «Техническая книга»
Комитета Российской Федерации по печати.
198052, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29.
OCR - Давид Титиевский, февраль 2017 г., Хайфа

Дворцовые тайны времен кардинала Ришелье, в которые посвящен знаменитый Д'Артаньян — герой романов Александра Дюма, бледнеют в сравнении с загадками и интригами коммунистической верхушки московского Кремля.

Герой новой книги Игоря Бунича по долгу службы в НКВД и КГБ выполняет многие «деликатные» поручения, результаты которых самым неожиданным образом влияют на развитие событий в Советском государстве.

